

Л 2010

23734к

ИПЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН

# ЗОЛОТАЯ ПТИЦА



# СХВАТКА





А 2010/23734к

# ИЛЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН

894.342-3

Е 822

К



## ЗОЛОТАЯ ПТИЦА



## СХВАТКА

ДВА РОМАНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»

Алма-Ата, 1977



---

Сколько времени я, не двигаясь, лежу на спине? Месяц? Год? Вечность? Я знаю: всего двенадцать дней. Но мне все чаще кажется: время прекратило свой бег. Врачи строго предупредили, что мне нельзя шевелиться, и я, добросовестно следуя их предписанию, лежу пластом. И только с глазами ничего не поделаешь. Они шарят по сторонам, стараясь нащупать связь со всем тем, что осталось за стенами больничной палаты. Но мой взгляд скользит по белым крашеным стенам, по белому известковому потолку и, пытаюсь зацепиться за белые занавески, падает вниз, на мою постель. Здесь тоже все белым-бело... Словно подчеркивая белизну палаты, в открытое окно заглядывает зелень молодой березы. Ее листья чуть дрожат на легком ветру. И так каждый день, каждый день...

Так было бы и сегодня, но вдруг за окном, в больничном парке, запел соловей. Это как подарок: днем — соловьиное пенье. Такое бывает редко, он поет будто бы специально для меня. Будто бы зная, что я немножко сентиментален...

Я улыбаюсь. Нет, что ни говори, а жизнь прекрасна. Даже сейчас. «Спасибо тебе, жизнь, спасибо за все,— говорю я мысленно.— Ведь этот день мог бы пройти уже без меня. Без меня бы пел соловей, играла листва на молоденькой березке. Кто бы подумал, что счастье тоже бывает смертельно опасным? Приходит возраст, когда ты похож на идущего по краю пропасти. Один неверный шаг — и ты летишь вниз...»

Да, смерть поставила еще один капкан на моей тропе. Но как ни были остры и крепки зубы капкана, мне удалось вырваться из них.

Я закрываю глаза, и передо мной вновь, минута за минутой, проходит тот день...

...Я пришел к Акбаян. После того как мы расстались, минуло много лет, но ее образ по-прежнему хранился в моем сердце. Кто знает, не он ли, точно талисман, оберегал меня все эти годы...

Волнуясь, словно юноша, пришедший на первое свидание, я нажал на кнопку звонка. Акбаян тотчас открыла дверь. Будто ждала меня, будто слышала мои шаги.

— Это ты?.. Проходи,— сказала Акбаян и торопливо захлопнула за мной дверь.

Ее большие, как у верблюжонка, глаза лихорадочно блестели. Я понял: она до последнего мгновения боялась, что я не приду.

Растерянные, неловкие, мы стояли друг перед другом. Акбаян очнулась первой.

— Пойдем,— шепнула она.

И, взяв меня за руку, повела в глубь квартиры.казалось, ее походка оставалась такой же легкой, плавной, как в те времена, когда мы гуляли в степи, и стан был по-прежнему гибок и строен. Сухая горячая ладонь сжимала мои пальцы.

Мы вошли в гостиную, сели на тахту, покрытую пестрой накидкой. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. Она слабо уперлась ладонью в мою грудь, сопротивляясь мне, словно отдавая последний долг тому, что все еще стояло между нами.

Черные глаза Акбаян затуманились, ее губы на мой поцелуй ответили жадным поцелуем. Я крепко сжал Акбаян в объятиях... И тут мое сердце пронзила острая боль. Словно кто-то неожиданно ударил в него штыком. Комната покачнулась, и стены, и потолок завертелись у меня перед глазами.

Я очнулся уже в больнице, увидев бородатого блондина в очках, склонившегося надо мной. Он дружелюбно смотрел на меня. Лицо врача было неясным, словно слегка размытым. Его окружало белое зыбкое сияние больничной палаты.

Врач подождал, давая мне возможность прийти в себя, и сказал:

— Да, да, вы в больнице. Видно, поволновались больше, чем можно, ведь сердце у вас, сами понимаете, не первой молодости. И вот инфаркт. Считайте, что мы вернули вас с того света... Но все это уже позади. Радуйтесь жизни! Но

вы должны некоторое время сохранять абсолютный покой. Так что, дорогой товарищ, наберитесь терпения.

И врач ободряюще прикоснулся к моей руке. Он, наверное, знал из истории моей болезни, что я почти тридцать лет проработал на шахте и немало пережил на войне. Но вряд ли ему могло прийти в голову, что мое сердце, выдержав столько испытаний, не устояло перед счастливым мгновением... А сам я об этом умолчал.

Здоровые люди, заболевая, обычно впадают в панику, застигнутые недугом врасплох. Наверное, то же должно было случиться и со мной. Но я не думал о мрачном исходе. Я был счастлив, что бы ни говорили врачи, и ждал новой встречи с Акбаян. Болезнь была для меня лишь досадной отсрочкой. Что же до моего сердца, то я надеялся, что теперь оно сумеет перенести избыток счастья...

Спина от неподвижности немеет. Будто это уже и не моя спина, а деревянная доска. Я осторожно кладу руку себе на грудь. Если раньше, бывало, долго шарить ладонью, пока почувствуешь, где бьется сердце,— а оно стучит, не торопясь, как знающий свое дело работник,— то теперь я нахожу его сразу. Это место отмечено болью. Она уже слегка притупилась. Или я притерпелся. Но приступы, когда боль пронизывала сердце, как десяток игл,— такие приступы исчезли, я вижу в этом признак выздоровления.

Я снова и снова щупаю свой пульс, считаю удары. Тук-тук-тук. Раз-два-три. Сердце мое напоминает капризничающие часы. Но все равно я отсчитываю каждый удар. На числе «семнадцать» я сбиваюсь. В коридоре, прямо перед дверью моей палаты, останавливаются чьи-то быстрые шаги. Впрочем, я знаю, кто это: ко мне пришли с уколom. Снимаю не без досады палец с пульса — мне показалось, что сегодня мое сердце работало заметно ровнее, чем вчера.

В палату вошла медицинская сестра Батима с никелированным подносом, на котором рядком лежали ампулы и блестел еще дымящийся паром стерилизатор со шприцами и иглами. У Батимы круглое миловидное личико и чуточку сухощавая тонкая фигура. Хотя ей уже под тридцать, она еще не замужем. По нашим казахским понятиям, Батима — старая дева.

— Вы принимаете? — шутит Батима.

— А что еще остается несчастному узнику? — ворчу я.

— Это вы несчастный?.. — усмехается Батима.

Мы знакомы давно, и до моей болезни у нас, в общем-то, были добрые отношения. Но теперь мне неловко перед ней.

ведь уже ей-то, конечно, известны обстоятельства, при которых меня хватил инфаркт. И она по какой-то причине сердится на меня. Может быть, я ошибаюсь. Но если у нее более обычного получился укол, мне кажется, что это нарочно. И теперь — усмешечка на ее губах.

Батима тоже замечает свой промах и спрашивает официальным тоном:

— Как вы себя чувствуете, больной?

— Хорошо,— говорю.— Вполне сносно.— И невольно улыбаюсь, до того забавно у нее получился переход.

Батима, как бы не замечая моей улыбки, ставит поднос с медицинскими орудиями на тумбочку, проходит к окну и, раздвигая шторы пошире, оповещает словно между прочим:

— Сегодня опять приходила красавица Алжекена.

В ее голосе плохо замаскированное пренебрежение к Акбаян. Батима хорошо ее знает, но я не слышал, чтобы в эти дни она хоть раз назвала ее по имени. Только так: «Красавица Алжекена». Или: «Та, которая разошлась с мужем-директором». Видимо, она хочет подразнить меня.

— Почему же ее не пропустили?— спрашиваю я, еле сдерживая возмущение.

— Михаил Кузьмич не разрешил. Никаких свиданий до полного выздоровления,— докладывает Батима, чуть ли не торжествуя по этому поводу.

— Не слишком ли строго?.. Языком-то мне можно шевелить...

— Можно или нельзя — это лучше известно врачу,— произносит Батима нравоучительным тоном, выговаривая каждое слово чуть ли не по складам.

— Но есть и такие исключительные случаи, о которых может ничего не знать даже самый опытный врач. Может, моя болезнь как раз такой случай?— дипломатично замечаю я.

Говорят, волк узнает чабана по его шапке. Так и Батима — ее не обманывает моя простоватая дипломатия.

— Нет, больной, в вашей болезни ничего таинственного для доктора нет. Одно только пока неясно: как вас вылечить,— многозначительно подчеркивает Батима и, не удержавшись, добавляет:— А пока наберитесь терпения. Та, которая разошлась с директором, никуда от вас не уйдет. И вообще мы с вами заговорились. Ну-ка дайте левую руку.

Она ловко собирает шприц и наполняет его светлой жидкостью из ампулы. Потом засучивает рукав моей пижамы. От бесчисленных уколов вена на сгибе левой руки затверде-



ла, точно мозоль. Я жду, что сейчас Батима проучит за маленький бунт, и готовлюсь к боли. Но сестра вонзает иглу так бережно, будто от этой инъекции зависит ее собственная жизнь.

Пока она медленно давит на поршень шприца, я слежу за ее лицом, глазами. В них боязнь причинить мне новое страдание. Теперь я вижу, что Батима не питает ко мне неприязни. Значит, прохаживаясь по адресу моей любимой, она метит не в меня, а в Акбаян. Но что плохого сделала ей Акбаян?

Мне хочется об этом спросить Батиму, но пока я думаю, как это сделать поделикатней, Батима завершает процедуру и выходит из палаты. Мне ничего не остается, как повременить со своим любопытством.

Да, в общем, сейчас это меня не очень беспокоит. Что странного, если одна из женщин невзлюбила другую, более красивую и удачливую в жизни... Иногда женщины завидуют друг другу и вовсе из-за пустяков. Тут и модное платье служит причиной, и какие-нибудь импортные сапожки. И духи, и прическа, и обворожительная родинка на щеке — э, разве все перечтешь?

Я не сержусь на Батиму. Даже признателен ей. Ведь благодаря Батиме я сейчас счастлив, как никогда. Она сказала, что сегодня опять приходила Акбаян.

Если бы кто-нибудь теперь вошел в палату, то наверняка бы принял меня за свихнувшегося. Больной, можно сказать, только-только выбрался из могилы, а на лице у него совершенно безответственное веселье. А еще говорят, мол, если смерть пришла, то не спрячешься от нее даже в золотом сундуке. Или зря так гозорят? Лично для меня неожиданной была не болезнь, а счастье... «Приходила опять». Кто знает, сколько смысла скрыто для меня в этих словах?.. Она приходит уже в третий раз. Значит, ее сердце тоже болит. За меня...

— Спасибо тебе, золотая птица, — благодарно шепчу я.

Золотая птица? Откуда вдруг явился этот сказочный образ? Он, точно ветер листья, поднял, закрутил в моей памяти давние события. Мне вспомнился тот далекий летний вечер, когда впервые были сказаны эти слова: «Золотая птица...»

Рудник Мысказган в те годы был невелик: пять-шесть шахт, когда-то построенных англичанами, да четыре новых,

появившихся уже в годы Советской власти. Глубина этих шахт, помнится, не превышала ста пятидесяти метров. Мало было и подъемных клетей. Да и народу здесь не так уж много трудилось в то время. Тысяча человек — не больше. Промышленным захламлением считался перед войной наш Мысказган. Гигантские битвы пятилетки, казалось, обходили его стороной. И несметные залежи руды терпеливо ждали своего часа. А пока над ними раскинулась серая степь, поросшая полынью и ковыльным сухостоем. Картина эта не вызвала бы особого восторга у праздного ценителя красот природы. Здесь приживались только люди, преданные своему шахтерскому делу. И, точно стараясь хоть как-то разнообразить окружающий их скудный пейзаж, они поставили вдоль сопки жилые бараки, обмазанные сероватой глиной, в низине возвели здание электростанции и рудный склад. Потом проложили в степи шестьдесят километров узкоколейки, соединившие рудник с медеплавильным заводом в Каскырсае, и по степи забегали маленькие звонкоголосые «Поппели» и «Кукушки», трудолюбиво тащившие за собой составы с рудой...

... В Мысказган мы приехали в тридцатом году. Мы — это отец, мать и я. До этого наша семья жила в Атбасаре, и, насколько я помню, родители не собирались покинуть родные места. Но постепенно события, будоражившие всю страну, захватили моего отца. По вечерам, уложив меня спать, он шептался о чем-то с матерью. Однажды перед тем, как уснуть, я услышал слово «Мысказган».

Когда мы переехали на рудник, отец пошел работать в шахту, а я поступил в здешнюю школу. Первое время мы жили, не зная особых забот, и на семейном совете было решено, что после школы я поеду учиться в институт. Но именно в год окончания школы на нас посыпались беды — одна за другой. Вначале заболела мать, а потом во время аварии отец лишился ноги, и мне, старшему из сыновей, пришлось пойти на работу. Я устроился на ту самую шахту, где до этого трудился отец.

Все это время по соседству со мной жила Акбаян. Она приехала в Мысказган вместе с родителями и братом Садыком на два года раньше нас. Но вскоре отец Акбаян умер. В поселке говорили, что его раскулачили в Баянауле и он не перенес утраты богатства. Ее мать Бибигайша, дородная женщина с суровым властным лицом, водила электровоз и считалась одним из лучших машинистов рудника. С ее братом Садыком мы были закадычные друзья. Вначале учились

в одном классе, потом работали взрывниками на одной шахте. Я часто бывал в семье Акбаян, но почти не обращал на нее внимания, она была моложе меня на четыре года. И если обращал, то лишь потому, что она росла своеобразной девочкой, а Бибигайша и Садык вместо того, чтобы разок отодрать хорошенько ремнем по мягкому месту, баловали ее. Акбаян нужно то, Акбаян нужно это. Ей бант, ей конфеты. Не скучно ли маленькой Акбаян? Можно подумать, два взрослых человека только и работают, чтобы удовлетворить очередную прихоть этой девочки. Да и имя-то ее от рождения было просто Баян. Это Бибигайша звала ее Акбаян, за светлый цвет лица. Но когда девочка подросла, все поняли, до чего у матери острый глаз.

Лично я понял это ранней весной сорок первого года, когда пришел как-то к Садыку и вдруг увидел у него в доме красавицу семнадцати лет. Лицо белее снега. И на нем черные глаза, глубокие, как омут, окруженный бархатистым камышом. Улыбка играет в них, точно солнечный свет. И вся она была стройная и гибкая, как тростник. А талия так тонка, что того и гляди переломится от легкого ветра. Словом, красавица из красавиц. Я, конечно, знал, что это Акбаян, и тем не менее было такое чувство, будто вижу ее впервые.

Садык мне что-то говорил, а я смотрел во все глаза на Акбаян, сидевшую над книгой за столом, и ничего не слышал.

— Ты что?— удивился Садык.— Это же Акбаян.

— Садык, с твоим другом что-то случилось?— сказала Акбаян с лукавой улыбкой.

А со мной и вправду что-то случилось: на меня неожиданно, как солнечный ливень, обрушилась любовь.

Когда мы с Садыком выходили из дома, Акбаян проводила нас до дверей и сказала:

— Сабыр, заходи к нам почаще.

С тех пор не было дня, чтобы я не навещался к Садыку. И в каждый мой приход Акбаян оказывалась дома. Мы обсуждали с ее братом свои дела или просто болтали о том о сем, а она сидела тут же с книгой или с шитьем, и я ловил на себе ее то задумчивый, то смеющийся взгляд. Однажды утром, когда мы встретились по дороге на шахту, Садык сказал, улыбаясь:

— Вскружил ты голову моей сестренке. Только и слышно: «Сабыр, Сабыр. Сабыр на доске почета. Сабыр лучше всех играет в волейбол. И вообще равных Сабыру нет».

Мое лицо польхнуло жаром.

— Ты шутишь?— спросил я с трудом, потому что язык не хотел мне подчиняться.

— Да нет, это правда. А что ты так вдруг разволновался?

— Садык, я люблю Акбаян,— сказал я, собрав всю решимость.

Мы остановились посреди дороги.

— Вот оно что?..— протянул Садык.— Тогда я рад за сестру. По-моему, она тоже тебя любит.

Так возникла наша любовь. И к этому чувству, как понял я позже, нас привело не родство душ — для этого мы слишком плохо знали друг друга,— не трудные испытания, сквозь которые мы прошли бы плечом к плечу. Все случилось проще: она была красива, да и я был видный из себя жигит. Нам казалось, что мы предназначены друг другу. Такая любовь подобна летнему дню, проходящему празднично, без туч и гроз. Акбаян по-прежнему оставалась своейвольной девушкой, а мне нравилось исполнять все ее желания. Между нами не бывало никаких размолвок. Мы встречались каждый вечер, уходили в степь и гуляли вдвоем до полуночи. Так продолжалось почти до середины лета, и я верил, что это на всю жизнь.

Тот вечер был таким же чудесным, как и другие...

...Я закрыл глаза и представил огромное малиновое солнце, наполовину скрытое тупой верхушкой кургана, березовую рожицу на окраине рудника и нас, сидящих рядышком...

В тот вечер она показалась мне особенно красивой. Ее лицо, светлое в предвечерних сумерках, можно было сравнить только с восходящей луной. Роща, окружавшая нас, была полна странных звуков. А точнее — это мою душу переполняла негромкая мелодия кюя — музыки без слов. И слышал ее только я один. Это была музыка моей любви. Я выражаюсь, пожалуй, слишком выпренно. Но такое именно чувство я испытывал в тот вечер, когда мы сидели на скамье в березовой роще.

Я обнял Акбаян, и она положила на мое плечо голову, точно цветок, склонившийся от дуновения ветра.

— Успокойся, Сабыр, успокойся,— сказала Акбаян, а у самой голос так и дрожал.— Знаешь, я иногда думаю, с чем сравнить мою любовь...

Вот тогда я и сказал ради красного словца:

— С золотой птицей.

— С золотой птицей? — удивилась она. — Почему с золотой птицей?..

Акбаян подняла голову и чуть отодвинулась, стараясь разглядеть в сгустившихся сумерках мое лицо.

— Твою любовь так же трудно поймать, — пошутил я, не подозревая, насколько это близко к истине.

Акбаян рассмеялась.

— Но тебе-то незачем ее ловить! Золотая птица в твоих руках.

— Но она может вырваться и улететь, — сказал я, продолжая игру.

— А ты не упусти ее. Держи крепче.

— Этого мало. Тут нужна особая сеть. И тоже, наверное, золотая.

— Разве твоя любовь не крепче?.. Держи меня как следует, Сабыр!

Сказав это, Акбаян опять рассмеялась. А я думаю теперь, только ли шутка была в ее словах?..

...Я открыл глаза. Воспоминания волновали, а это мне сейчас было ни к чему. «Спокойно, спокойно, все уже позади. Лучше побереги сердце, ему и без тебя нелегко», — сказал я себе. Но, видимо, недостаточно убедительно. Воспоминания уже привязали меня к прошлому своими цепями.

«Золотая птица, надо же придумать, — иронизировал я над собой. — Кто меня надоумил?.. А впрочем... Разве, подобно золотой птице, не стала для меня вскоре недостижимой любовь Акбаян? И я ли не раскинул тогда свою золотую сеть, чтобы ее удержать? Я вложил в нее всю страсть, всю свою душу, только улетела Акбаян. Сама ли она улетела? Или ее унесла слепая сила?.. Слепая, безжалостная, точно стихия...».

Но что было потом, в тот вечер?..

... Мы целовались так иступленно, словно чувствовали, что это наше последнее свидание. Мы шептали друг другу жаркие слова, не зная, что в эти минуты к нам приближаются люди, чьи судьбы сейчас неразрывно свяжутся с нашими судьбами. Мы даже не слышали, как они подошли.

— А скептики говорят, будто в наше время разучились любить, — насмешливо произнес мужской голос.

Он будто прозвучал с неба и мигом остудил наш пыл. Мы отшатнулись друг от друга. А виновник нашего испуга стоял в нескольких шагах и беззастенчиво рассматривал нас. Я уже видел его однажды, и, признаться, его внешность произвела на меня впечатление.

Он был высок, широк в плечах. Его смуглое, резко очерченное лицо с небольшим орлиным носом было отмечено, как иногда пишут в книгах, печатью мужественности. Густые вьющиеся волосы на его голове напоминали черную шапку из молодого ягненка.

Жигит был не один. Рядом с ним я увидел тоненькую золотоволосую девушку. В отличие от своего спутника, продолжавшего бесцеремонно разглядывать нас, она чувствовала себя неловко.

— Альжан, идемте. Мы здесь мешаем,— зашептала она жигиту, трогая его за рукав.

— Какая красивая девушка! Смотрите, Таня, такие перид обитают только в наших сказках,— сказал тот, и не думая трогаться с места.

Уж кто-кто, а я-то знал, до чего красива Акбаян, но тут не удержался и взглянул на нее. То ли откровенное восхищение ее красотой, то ли еще что-то подействовало на Акбаян, но в ее глазах зажглось любопытство. Впрочем, оно тут же погасло. И я почувствовал, как ее тонкие длинные пальцы сжали мою руку.

— Идемте, Альжан,— повторила золотоволосая девушка.— Не будем мешать. У молодых людей, может, все лишь начинается. Для них едва наступил рассвет,— сказала она, неумело стараясь придать своей речи восточный колорит. Жигит пошутил:

— По-моему, наоборот, дело идет к ночи...

... Он словно знал все наперед, когда произносил эти слова. В тот самый вечер на смену светлому рассвету нашей любви — да простит меня Таня — пришла черная ночь...

— Я имею в виду не время суток, а чувства... рассвет любви,— смущенно пробормотала Таня.

— Ну, если так, тогда мы в самом деле мешаем,— сказал жигит и впервые заговорил с нами, точно только сейчас заметил, что мы — одушевленные существа.— Прошу прощенья за бестактность, но ваша девушка так хороша, что мы, натуры художественные, не могли пройти мимо.

Он обращался ко мне, а сам не сводил глаз с Акбаян. И когда наконец золотоволосая девушка взяла его под руку и повела прочь, он и тут оглянулся и еще раз посмотрел на Акбаян, словно хотел навеки запомнить ее.

— Кто эта девушка? — спросил он у своей спутницы, не заботясь о том, что мы еще слышим его.

Золотоволосая что-то сказала, понизив голос.

— Я где-то видел этого счастливица. Кто он?— спросила жигит.

Я и на этот раз не слышал, что ответила девушка, но до меня долетел насмешливый возглас:

— И всего-то! Я думал, кавалер у такой красавицы — сказочный батыр, не меньше...

Я знал его спутницу. Она работала в поселковой больнице врачом. Но ей откуда было знать, кто я? В другое время, наверно, это удивило бы меня и даже польстило. Но тогда мне было не до того. В мою душу ворвалось смешанное чувство беспокойства и обиды.

— Кто этот жигит?— спросила Акбаян, глядя вслед уходящей паре.

«Что говорить, этот Альжан — молодец, уже добился многого в жизни. Но и мне-то, в общем, стыдиться нечего»,— подумал я, успокаивая себя, и ответил:

— Наш новый главный инженер Бекенов. Говорят, недавно закончил институт в Москве.

— Такой молодой и уже главный инженер?— удивилась Акбаян.

Я понимал ее изумление. В те годы среди нас, казахов, не так часто встречался и рядовой инженер. А тут — главный, да к тому же молодой и видный из себя жигит.

И еще кое-что лестное слышал я об Альжане. Говорили: раньше он работал на одной из северных шахт и проявил себя человеком энергичным и решительным. А вчера я убедился, что он и в самом деле таков, когда Альжан пришел (вернее, ворвался, точно вихрь) на склад взрывчатки. Как распекал он неповоротливых хозяйственников!

— Темп, темп! Страна живет сейчас новыми темпами!..

Акбаян хмыкнула и сказала:

— Он какой-то необычный. Не такой, как другие.

Новый главный инженер принадлежал к людям, которые неизбежно вызывают у окружающих повышенный интерес. Но интерес Акбаян пробудил у меня тревогу. Смешно, конечно, было ревновать ее к человеку, которого она видела несколько минут. Однако я знал ее характер. За что она полюбила меня? Я ведь тоже казался ей необычным человеком...

Словом, я еще не знал, что беркут нацелился на добычу, но тем не менее уже уподобился зайцу, который мечется по степи, почувствовав над собою тень.

— Сегодня ты какой-то скучный,— заметила Акбаян, смеясь.

Она повернулась ко мне и прикоснулась пальцами к моему затылку. Но в голосе ее мне послышалось безразличие, а прикосновение показалось холодным. Будто она мысленно была где-то, только не рядом со мной.

«Тебе уже мерещится черт знает что,— сказал я себе.— Сейчас же выбрось эту чепуху из головы. Ведь ты же любишь ее, а она любит тебя. И это главное». Я обнял ее за талию и вновь привлек к себе. Акбаян была податлива, точно тряпичная игрушка. Я поцеловал ее в губы, но она не ответила мне.

— Может, пойдем домой? — спросил я, сердясь и стараясь пробудить в ней чувство раскаяния.

Я надеялся, она поймет, что сегодня была со мной недостаточно ласкова, и скажет, что еще рано, ей хочется побыть со мной. Но она охотно согласилась:

— Пойдем.

Еще ни разу мы не возвращались домой так рано, чтобы на улицах было еще светло. Я успокаивал себя, внушал, что Акбаян сегодня устала. И пытался найти следы утомления на ее лице. Но Акбаян вначале оживленно болтала, несла всякую чепуху. Будто ее лихорадило. Потом вдруг умолкла, и на ее губах заиграла блуждающая улыбка, свойственная человеку, когда он мечтает.

О чем она мечтала в тихие летние сумерки, когда мы возвращались в поселок? Чему задумчиво улыбалась? Мне и сейчас хочется думать, что тогда она еще думала обо мне, мечтала о нашем будущем...

Но когда мы подошли к дому вдовы Бибигайши, я решил одним махом покончить со своими сомнениями и, взяв Акбаян за руку, спросил напрямик:

— Акбаян, скажи, ты по-прежнему меня любишь?

— Конечно,— рассеянно ответила Акбаян.— Ну, я пойду. Мама, наверно, ждет,— и, высвободив свою руку, ушла в дом.

А я принялся бродить по поселку, словно это могло мне помочь. Меня уже точила ревность. Я убеждал себя, что это неблагоприятное, постыдное чувство, что оно оскорбляет нашу любовь. Стоит появиться недоверию, и все рухнет между нами. Не будет прежней чистоты, ясности. Но дурное предчувствие подтачивало веру, которой я хотел обмануть самого себя...

На улицы, на крыши домов постепенно опустилась вечерняя темнота, потем вышла луна и резко подслепила мир на черное и белое. На улицах, кажется, не осталось никого,



кроме меня и бездомных собак, а я все еще метался по обезлюдевшей территории поселка.

Блуждания привели меня к больнице. Я был занят своими мыслями, и потому не сразу заметил, что уже некоторое время до меня доносятся чьи-то голоса.

На ступеньках больничного крыльца стояли мужчина и женщина. Их освещала луна, и я без труда узнал говоривших. Это были Альжан и Таня. Я стоял на черной половине улицы, и они не видели меня.

— Нет, нет, мне пора. Хочу посмотреть, как новый больной, — сказала Таня.

— Ничего не случится с вашим больным. Вы сами сказали: кризис уже позади, — возразил Альжан и попытался взять Таню за руку. — Подождите еще хоть десять минут, — в его голосе прозвучали властные ноты.

— Даже час ничего не изменит. И потом вам нравится другая, — лукаво сказала девушка, отступая к перилам крыльца.

— Вы правы, — смеясь, согласился Альжан. — Одно только не укладывается в моей голове. Что она могла найти в простом взрывнике? Не верю я что-то в такую любовь.

— Альжан, Альжан, подумайте, что вы говорите, — одернула его Таня. — Разве любят за должность?.. Любят совсем за другое, тут постороннему часто и не понять. Она, может быть, единственная на свете знает, какой он на самом деле. Вы бы поняли все, сумей взглянуть на него ее глазами. Но этого вам не дано. Ну, а я, может быть...

Не знаю, что еще хотела она сказать обо мне, о нашей любви. Я ушел, сгорая от стыда. Ведь волей-неволей получалось, будто мною намеренно подслушан их разговор. Именно по этой причине я и потом не решался спросить у Тани, что же еще она говорила Альжану.

Я быстро, чуть не бегом, шел по улице и мысленно спорил с Альжаном. «Почему красавица Акбаян не может любить простого рабочего парня? Раз я не пара Акбаян, значит, не смею ее любить? Так ты считаешь? А что мне делать со своим сердцем? Оно-то верит в любовь...»

Теперь-то, с расстояния в двадцать пять лет, я со спокойной сдержанностью смотрю на события того дня. Они доставили мне немало горечи. И все же это было прекрасное время, когда душа горела, рвалась к прекрасному, жаждала любви. И будь любовь настоящей, ее не разрушил бы никакой третий из пресловутого «треугольника». А если ее не было? Говорят: голого не разденет и тысяча грабителей.

лей. И, может, Альжан прав: не было у Акбаян ко мне настоящей любви? И, может, я сам не доверял чувствам своей любимой? И оттого всполошился так, стоило Акбаян проявить легкий интерес к Альжану. Ведь пока, по крайней мере в тот вечер, еще ничего не произошло...

...На другое утро, придя на шахту, я сразу же столкнулся с главным инженером. Мы встретились на подземной площадке. На нем были брезентовый костюм и каска. Мы стояли в отдалении от электрической лампы, на наших лицах лежала плотная тень, и потому мы не сразу узнали друг друга.

Потом Альжан поднял свою карбидную лампу и осветил мое лицо.

— Это вы вчера сидели с красивой девушкой? — спросил он, не здороваясь.

Я поправил висевший за спиной ранец со взрывчаткой и ответил, глядя ему прямо в глаза:

— Если с красивой, то это был я. Вы угадали.

— Да, девушка очень красивая. Как ее зовут? — Он не спрашивал, он требовал.

— Акбаян.

— И имя под стать, — удовлетворенно заметил Альжан.

Я понял, что он уже считает ее своей. Что он уверен: мир принадлежит энергичным, решительным, таким, как он. А я не имею права ни на что. В том числе — и на Акбаян. Ведь у меня не хватало воли, чтобы подняться в этой стремительной жизни выше простенькой должности рабочего. Впрочем, вряд ли он рассуждал так длинно. Просто он сразу же, проходя, отметил, что я ему не соперник.

Вернее, я это понимаю сейчас, а тогда ошетинился, еле сдержал себя:

— Значит, вы уверены, просто-таки убеждены, что я недостойн?

Он удивленно посмотрел на меня и спокойно сказал:

— Хорошо, что вы это понимаете сами.

— А я этого не понимаю! — закричал я.

В глазах его мелькнуло что-то похожее на жалость. Так смотрят на раздавленного червя.

— Напрасно, — сказал он. — У русских есть поговорка: не берись за гуж, если не дюж.

— Это не про меня, — отпарировал я.

Тут нас разъединил электровоз с рудой. Мимо меня промелькнуло сосредоточенное лицо Бибилайши. Когда электро-

воз прошел, я увидел удаляющегося Альжана. Он считал, что нам говорить больше не о чем.

Теперь Альжан мне определенно не нравился. И не потому, что вызвал накануне глупейший приступ ревности. Я считал, что не может хороший человек высокомерно относиться к другому только за то, что тот простой рабочий. А что до ревности, то сейчас я был спокоен. Такой тип не завоюет сердце Акбаян. Если он попытается испытать судьбу, Акбаян ему сразу покажет на дверь.

Я решил, что и так слишком много мыслей уделил этому человеку, и отправился на поиски парторга Акшалова. Акшалов работал рядовым шахтером со дня основания рудника, был награжден за это время двумя орденами Трудового Красного Знамени. Но главным его достоинством была теплота, с какой он относился к людям, поэтому к нему шел за советом народ и с других шахт. Вот и я, придумав новый ранец для взрывчатки, хотел прежде всего показать его Акшалову.

Но парторг уехал на совещание в райком, а через три дня началась война и меня призвали в армию.

По закону я был освобожден от мобилизации как единственный кормилец старых и больных родителей, и потому повестка, присланная из военкомата, явилась для меня некоторой неожиданностью. В тот же вечер к нам прибежала знакомая женщина, про которую говорили, что «она все про всех знает», и сказала, что главный инженер вписал меня в список рабочих, не подлежащих брони. Женщина призывала небо и Советскую власть покарать Альжана и говорила, что мне следует взять справку в поселковом Совете, показать ее работникам военкомата. Когда она умолкла, мой отец сказал:

— Спасибо за совет. Но Сабыр поедет на фронт. Он не хуже других.— Затем повернулся ко мне и добавил:— Ты должен исполнить свой долг. А за нас, стариков, не беспокойся. На свете много добрых людей. Ты согласна со мной, мать?

И мать, не сводившая с меня глаз, тихо произнесла:

— Сынок, твой отец верно сказал.

Слова родителей сняли с моей души огромную тяжесть. Я считал, что мое место сейчас только на фронте. И меня беспокоило, что это место занимает кто-то другой.

Остаток дня ушел на сборы. Я, как и многие, считал тогда, что мы в короткие сроки разобьем фашизм, закончим войну в Берлине, и потому испытывал необычайный

мне загадочным и лучистым, потому что бабушка при этом вся озарилась мягким, добрым светом. Видя, как заулыбалось ее лицо, я подумал, что речь идет об очень дорогом для нее человеке. «Не иначе, как это ее любимый родственник», — подумал я и, когда бабушка осталась одна, спросил:

— Бабушка, а кто он — Ленин?

— Ленин — вождь неимущих, свет всего человечества, — ответила бабушка и ласково провела по моему лицу теплой шершавой ладонью.

Кто они такие — неимущие, этого я тогда не знал, но что такое свет и что он значит для людей, это мне было известно.

— И он большой? Свет? Как наша лампа?

Бабушка засмеялась.

— Как звезда. Разве лампа может светить всему человечеству?.. Но смерть погасила звезду, когда ты только еще начинал ходить. Видишь, как бывает: звезды нет, а свет ее все освещает путь людям. И долго будет светить. Всегда!

— Бабушка, разве может звезда светить, если ее погасили? — Мне показалось, что она что-то напутала.

— «Не говори, что умер человек. если оставил он бессмертное дело», — отвечала бабушка стихами. — Это сказал Абай. Я тебе о нем говорила.

Вместо того чтобы ответить на мой вопрос, она задала мне еще одну загадку. Как может быть дело бессмертным, если сам человек умер? И разве может дело жить без человека?

Видя, что я запутался вконец, бабушка опять засмеялась и сказала:

— Иди, родной, поиграй. Мал ты еще. Будешь учиться в школе, тогда все и поймешь. И кто такой Ленин, и что такое — бессмертное дело.

Но однажды, уже накануне нашего отъезда в Мысказган, я не удержался и, не дожидаясь своего срока, отправился в школу сам. Я подошел к новенькому зданию, сложенному из кирпича и крытому шифером, смело перешагнул порог и увидел напротив входа изображение человека с бородкой и веселым прищуром глаз, нарисованного в полный рост. На нем было черное пальто с бархатным воротником, наброшенное на плечи, и красный бант на груди. Сжав в одной руке кепку, человек весь подался вперед и другой рукой указывал путь людям. Над картиной висело

красное полотно, на котором было что-то написано белыми буквами.

Чуть в стороне сидела старуха и пила чай.

— Кто это? — спросил я и показал пальцем на картину.

Старуха опустила пиалу с чаем на стол и важно пояснила:

— Ленин. Он сказал, что нужно учиться. Три раза сказал.

Как я потом понял, это был известный призыв Ленина, обращенный к нашей молодежи: «Учиться, учиться и еще раз учиться».

Человек с бородкой будто говорил, обращаясь ко мне: «Сынок, я твоя опора. Иди по жизни смело и гордо!» С тех пор я видел много других портретов Ленина, но этот стал для меня самым дорогим...

Впрочем, ещё одно изображение вождя вошло в мою память на всю жизнь. Это была скульптура Ленина, отлитая из бронзы, и увидел я ее в один из самых горячих дней войны.

Это было в городе, из которого наши части отошли после неожиданного контрудара, нанесенного противником. На другой день меня и еще двух жигитов из нашей роты вызвал начальник разведки полка и приказал проникнуть в город. Старшим он назначил моего товарища — уроженца этого города. Когда мы ночью переходили линию фронта, нас окружала такая тьма, что я ничего не видел на расстоянии вытянутой руки. Но стоило нам выбраться на городскую окраину, как вышла луна, яркая, точно фснар, и осветила улицы и дома. Она усложнила наш путь и вместе с тем благодаря ей мы увидели то, что я не могу забыть до сих пор.

Это был мой первый выход в разведку, и, признаться, мне стало не по себе от мысли, что мы в самом логове врага, что вокруг нас солдаты противника.

Но старший уверенно вел нас по глухим переулкам. Мы пересекали проходные дворы, перебегали через улицы и растворялись в тени домов и заборов. Спокойные расчетливые действия нашего командира вскоре вернули нам уверенность в себе. И я уже без суеты повторял его движения.

По внешнему виду домов, по тому, как исчезли кривые переулки и стали шире улицы, я понял, что мы приближаемся к центру города. И точно — вскоре наш вожак остановился и шепнул:

— Осталось обойти городскую площадь. Будьте еще осторожней. Здесь у них должен быть штаб, а значит, и патрули на каждом шагу. Попробуем пройти через сквер.

Он нашел дыру в чугунной ограде, и мы проникли в сквер. Крались мимо деревьев, мимо кустарника. Вдруг старший остановился, я едва не налетел на него.

— Слышишь? — спросил он.

Впереди затарахтел мотор. Потом его треск умолк, до нас донеслись слова немецких команд.

— Что они там делают? — удивился наш проводник.— Там памятник Ленину... Неужели, сволочи...

Он не договорил, кивнул нам, мол, следуйте за мной, и бесшумно, словно барс, наметивший добычу, двинулся вперед. После серии перебежек мы выглянули из кустов и увидели площадку, залитую светом прожекторов.

Посреди возвышалась бронзовая фигура Ленина. Ильич стоял, задумчиво заложив большой палец за край жилета, а у его ног суетились солдаты во главе с высоким худым фельдфебелем. Фельдфебель что-то выкрикивал резким недовольным голосом, а солдаты крепили вокруг пьедестала трос, ведущий к двум танкеткам. Потом солдаты разбежались в стороны, фельдфебель махнул рукой, будто только и ждал нашего появления.

Танкетки взревели моторами и рванулись в сторону широкой аллеи.

Мои руки невольно схватились за автомат.

— Отставить! — шепнул старший, угадав в темноте мое движение.— Сорвешь боевую задачу.

— Разрешите, — взмолился я.— Не могу смотреть...

— Нет, смотри. Запоминай. Если ставить памятник, то так, чтобы навеки.

И в самом деле, танкетки сдвинулись только на длину троса. Моторы надсадно ревели. Танкетки походили на собак, привязанных накрепко к столбу и воющих от бессильной ярости. А памятник непоколебимо стоял на месте. Ильич словно говорил врагу: «Как ни старайтесь, вам все равно не одолеть».

— Пошли, — шепнул старший.

На следующий день оккупанты были выбиты из города. Когда затихли уличные бои, я побежал в городской сквер.

Памятник стоял на прежнем месте. Только зазубрины на пьедестале напоминали о том, что здесь происходило минувшей ночью. С тех пор бронзовый памятник Ленину

стал для меня символом нашей непобедимости на все годы войны.

... Из школы я побежал прямо домой и бросился бабушке на шею.

— Бабушка, я только что видел Ленина!

— Где же ты его видел? — улыбнулась бабушка.

— В школе. У него на груди большой красный бант. Он сказал, чтобы я учился. Три раза сказал.

Бабушка догадалась, что я имею в виду портрет, находящийся в школе. Она поцеловала меня в лоб.

— Он хорошо сказал. Ты выполнишь его наказ?

— Конечно, выполню. Хочешь — клятву дам? — и я поклялся: — Ол-лахи-беллахи!

Бабушка хохотала до слез.

— Нет, родной, если уж давать клятву, то надо не по-старому, а по-новому.

— А как по-новому?

Она снова поцеловала меня в лоб.

— По-новому говорят: «Клянусь именем Ленина». — Она прижала меня к груди. — Придет время, и ты дашь эту клятву. Станешь пионером, потом комсомольцем... А пока я только одного хочу от тебя.

— Чего?

— У нас, казахов, говорят: учи ребенка с детства. Слушай меня. Я хочу, родной, чтобы ты всегда держал свое слово, как дедушка Ленин, и боролся за счастье народа, как он. Если его дело станет делом твоей жизни, когда ты вырастешь, то большего ничего твоей старой бабушке и не надо.

Ее слова не раз вспоминались мне в трудные моменты жизни. Они поддерживали меня, помогали сберечь в чистоте честь мою и совесть.

Моя славная добрая бабушка будто знала, что ее внуку придется пройти не одно тяжкое испытание, и заранее готовила к ним.

Но об этом после, испытания ждали меня впереди. А пока поезд мчал нас на войну...

Наш эшелон спешит, несется на запад. Телеграфные столбы исчезают где-то позади вагона, будто падают одни за другим. На одной из станций, пока меняют паровоз, пожилой железнодорожник говорит, что мы уже оставили за собой половину пути. Половину, если считать до государственной границы. Мимо нашей теплушки мелькают

русские леса, извилистые речки и деревни, так непохожие на наши степные аулы. Опаляющий жар войны еще не докатился сюда. Перед нами мелькают картины мирной жизни. Вот на берегу узенькой речушки словно дремлет над удочкой рыбак, вот за плавным ее поворотом женщина стирает белье, и тут же плещутся верткие, уже успевшие загореть мальчишки. А вот вдоль полотна растянулась толпа, впереди парень с гармошкой. Он так рвет меха, словно собирается раздрать их в клочья. Из толпы вырывается женщина с платочком и, что-то выкрикивая, приплясывает перед парнем. Я замечаю на спине гармониста мешок, и все становится ясно: парень тоже идет на войну.

А иногда, увидев с поля наш поезд, бросая тяпки или вилы, к железной дороге бегут девушки. Они срывают с голов платки, машут нам, что-то кричат. Наверное, им кажется, что в наших теплушках едут их суженые, и они бегут, бегут, чтобы еще раз послать свое прощальное слово.

В такие минуты мне становится горько, ведь моя любимая не пришла проводить меня. Мои товарищи по оружию поют бравые красноармейские песни, разученные еще в первый день дороги, а я, забравшись на верхние нары, думаю о том, как это важно, чтобы тебе, когда ты собираешься в опасную дорогу, самый любимый человек сказал: «Возвращайся скорее». Я догадываюсь, кто украл у меня даже тот день. Я сжимаю кулаки и мысленно по-мальчишески угрожаю Альжану: «Ну, погоди, вернусь с войны, покажу тебе, как говорит старшина, где раки зимуют». А впрочем, что же я сделаю с ним?..

Нет, я не трону Альжана и пальцем, не скажу даже злого слова. Хозяину известен норов его коня, а я хорошо знаю свой отходчивый характер. Уже бывало не раз, когда мне наносили обиду, а я потом легко доказывал себе, что все вышло случайно, мой обидчик не имел злого умысла. И я гоню мысли об Акбаян, твержу себе, что личные чувства должны отступить перед таким событием, как война. Но как забыть песню, которая рвется из твоего горла? Уж так устроен человек, стоит запретить себе какие-то мысли, как они тут же начинают назойливо лезть в голову. Акбаян все время маячила перед моим внутренним взором...

— О чем ты все вздыхаешь, парень? — спрашивает однажды старшина, главный человек в теплушке.

Наш старшина — человек бывалый, он воспитывает нас по-своему, рассказывает о боях на Халхин-Голе, в которых ему приходилось участвовать.



И вот теперь, заметив мое состояние, он прерывает свою очередную историю.

— А ему, товарищ старшина, зазноба сказала: мол, вернешься без ордена — не пушу на порог, — отвечает за меня щуплый блондин, главный вагонный шутник.

Вагон сотрясается от хохота. Я ищу глазами Садыка, он смеется вместе со всеми.

— А что, зазноба у Сабыра с характером, — выдавливают он сквозь смех. — Уж я-то ее знаю.

— Знаешь? — недоверчиво переспрашивает блондин.

— Конечно, она же моя родная сестра, — небрежно бросает Садык.

Это известие добавляет в веселье огня. Еще немного — и вагон, кажется, сойдет с рельсов.

Я тоже смеюсь. У всех за плечами тоже нелегкая разлука, и все веселятся для того, чтобы снять с сердца тревогу.

Один старшина остается серьезным.

— Вот что, парень, если у тебя на сердце горечь, выбрось ее, оставь на мирной земле, — говорит он, переживая взрыв веселья. — Горе на войне — плохой помощник. Оно мешает драться бойцу. Враг не горя твоего боится, а твоей ярости. Ты кончай полировать нары боками, спускайся к нам. Да послушай, что я расскажу. Может, когда и мой опят тебе пригодится.

Я слезаю вниз и присаживаюсь рядом с Садыком на пустой ящик из-под сухого пайка. В конце концов, жигит я или нет? — мысленно стыжу я себя. Довольно раскисать из-за какой-то вздорной девчонки!

— И что же дальше, товарищ старшина? — жадно спрашивает блондин.

— Не спеши: добрый рассказ торопливых не любит, — наставительно говорит ему старшина.

После войны я встречал таких вот бывалых рассказчиков, усатых, с красными, задубевшими от солнца и ветра лицами, на экранах кино и полотнах художников. И как те рассказчики, наш старшина прежде всего доставал из расшитого цветами мешочка махорку, не торопясь, закатывал ее в клочок газеты и, зажав ее между неровными крепкими зубами, выжидающе смотрел на блондина. Тот торопливо достает из кармана спичечный коробок и, ломая от усердия спички, подносит огонек к кончику самокрутки. Старшина со вкусом затягивается, выпускает в сторону открытой двери клубы дыма и задумчиво говорит, будто начиная новый рассказ:

— В то время мы даже не знали, что такое автомат. Винтовка, штык да несколько приемов самбо, пригодных для рукопашного боя.

— А разве этого мало? В рукопашной ведь как? Кто сильней, за тем и победа. А наших на силу не взять,— перебивает кто-то.

— Да нет, на войне голой силой не возьмешь,— чуть улыбается старшина.— На войне кулаки — дело второе. Тут куда важней ум и хитрость. И то, что самообладанием называют. Был у нас один разведчик. Между прочим, Сабыр, твой земляк, казах. Звали его Хасеном. А фамилия Бекежанов. Высокий был такой, смуглый парень. Ну и хитер, ну и смекалист, доложу я вам, ребята. Помню, послали нас в разведку. Прошли километра три-четыре и наткнулись на населенный пункт. Есть там японцы? Нет? Только гадай, на улицах ни души не видно. И ждать нельзя — на разведку короткое время отпущено. Тогда Хасен попросил у командира разрешения посмотреть на деревеньку вблизи.

А место перед ним открытое: поле, и только перед крайним домишком низенький кустарник. Ну и потопал наш Хасен в открытую. Дошел до кустов — тут на него выскочило трое японцев. Нарвался на боевое охранение, значит. Выбили из рук винтовку, окружили, чтобы в штаб свой, японский, свести. Думаем, попался Хасен, пропала бедовая голова. А наш друг задрал голову к небу, тычет пальцем вверх и что-то говорит при этом, мол, гляньте туда. Японцы тоже подбородки к небу подняли, бдительность ослабили. Их, мол, трое, а пленный один, и тот безоружный. Словом, сила на их стороне... И вот, пока они ловили ворон, Хасен одного двинул ногой в живот, другого — кулаком под дых, третьего в скулу. Да выхватил винтовку свою и начал действовать, как на ученье. Одного прикладом, другого штыком. А третий добровольно грохнулся наземь. А Хасен к нам в овражек во весь дух.

Перебивая друг друга, мы обсуждаем рассказанное. Сейчас-то мне кажется, что старшина привирал кое-что в педагогических целях. Но мы тогда все принимали за чистую монету.

— Сабыр, ну-ка встань,— говорит Садык.

Я поднимаюсь, и Садык пытается показать, как бы действовал он на месте Хасена, но летит сам на нижние нары. Знать бы мне в эти минуты, что пройдет месяца два, и я сам попаду в положение, в котором очутился Хасен!

Наше возбуждение не проходит долго. Один, интеллигентного вида парень, извлекает из чемодана скрипку и энергично играет марш. А мы горланим во всю мочь:

Под пули бросаться вместе!  
Нет, тем не страшно в бой идти,  
Кто чувство справедливой мести  
Несет сейчас в своей груди!<sup>1</sup>

Я слышу, как ворчит старшина:

— Почему не страшно? Всегда страшно в бой идти. Но надо. Да и под пули бросаться зачем? Это у кого головы нет под самые пули лезет. Или вот такие мальцы. А человек бывалый, он обойдет, проползет на брюхе, где можно. Сохранит себя и врага победит. Пацаны еще, пацаны. А как-то они будут там? Война-то ведь не игрушка.

И словно в поддержку старшине, тревожно кричит паровоз, бегущий в голове состава.

Но мы уже пьяны ощущением своей удали. Я смотрю на лица парней, и мне кажется: выпусти нас сейчас на врага — наша горстка призывников тотчас разметет все на пути и дойдет до Берлина. Так я впервые начинаю ощущать силу воинского братства. И мне становится стыдно за то, что я все время думал о своем личном горе.

Солнце в зените. За дверью вагона мелькают станционные постройки. Колеса гремят на стыках у стрелок...

— С добрым утром,— так приветствует меня Батима, входя в палату.— Как вы спали?

— Спал как убитый. Признаться, мне уже надоело лежать. Никогда не предполагал, до чего это утомительное занятие. Раньше, бывало, к концу смены только и думаешь: вот бы в постель да на бочок. А теперь — нет уж, лучше вторую смену отстоять.

Батима рассмеялась.

— Это потому, что вы трудовой человек. Раньше вам не приходилось так долго в кровати лежать. Да у вас и времени не было.

— Времени не было, а лежать приходилось. В госпитале.

— Ну, тогда другое было время. Война. И рана давала знать о себе. А сейчас вам кажется, будто вы абсолютно здоровый человек.

<sup>1</sup> Перевод В. Савельева.

— Не кажется. И доктор сказал, как только я буду здоров, он не продержит меня в больнице и дня.

Батима поставила мне термометр и после этого посмотрела на меня с недоверчивой улыбкой. Видимо, она уже привыкла к моей дисциплинированности, маленький бунт удивил ее.

— Значит, доктор считает, что вы еще далеко не здоровы,— назидательно сказала Батима.— Кстати, он опять не позволил пустить к вам Акбаян.

— Она приходила?

— Вчера, после ужина. За месяц, что вы у нас, это ее шестая попытка,— возмущенно сказала Батима.

Я не удержался, заулыбался во весь рот. Она рвется ко мне. Я ей нужен. Не зря говорят: «Одежда лучше новая, а друг — старый». И что там ни случилось за все эти годы, я самый старый ее друг. Да что говорить: кроме меня, сейчас у нее, пожалуй, никого нет.

Но до чего же Батима не любит Акбаян! Увидев меня, нахмурила брови. А я готов ее расцеловать. Если бы она знала, что значит для меня каждое такое известие! По всему видно, что она опять хочет сказать про Акбаян что-то нехорошее. Нет, Батима, все равно не поверю, что бы ты ни говорила. Ах, женщины, почему вы так редко любите друг друга?..

Батима, наверное, заметила упрямое выражение на моем лице, сдержалась. Только, пожав плечами, как-то неопределенно произнесла:

— Что ж, у каждого своя мечта.

Может быть, ей хотелось сказать, что каждый борется по-своему. Так и я, например, не нашел ничего лучшего, как влюбиться в Акбаян...

Мне захотелось подразнить Батиму, и я сказал:

— А о чем, по-вашему, мечтаю я?

— Откуда мне знать? — Батима вновь передернула плечами.

— А все-таки?

— Наверное, каждый мечтает о чем-то своем, недостижимом,— задумчиво сказала Батима.— Так горбун мечтает хотя бы разок полежать на спине.

Я понял, что Батима говорила о себе. Что-то у нее не получалось в жизни, как хотелось.

— И почему все-таки доктор не пускает ко мне Акбаян?

— Наверное, на то есть причина,— сухо ответила Батима.

— Какая может быть причина?

— Доктор знает, что делает, на то он и доктор.

Батима вдруг засмеялась.

— Вспомнили что-то смешное? — спросил я.

— Да нет, скорее грустное.

— Что-то я не видел, чтобы смеялись над грустным,— казал я, невольно улыбаясь.

— Почему же? Бывает и такое. Когда и плачешь, и смеешься в одно и то же время.

— Смех сквозь слезы. Верно, такое бывает,— согласился я.

— Ну, конечно. И разве не смешно, когда умный, все повидавший мужчина не может отличить настоящую любовь от фальшивой.

— Это вы обо мне? Намек?

— Ага, как говорят русские, на воре шапка горит? Значит, вы влюбились?

— Я этого не говорил,— поспешно сказал я, уклоняясь от ответа.

— А покраснели,— строго заметила Батима.

Это я чувствовал и сам.

— Не беспокойтесь, я не о вас. Вспомнила случай, который рассказывал один жигит из четвертой палаты.

— А вы расскажите мне. Может, чему-нибудь научусь,— попросил я, дурачась.

Сегодня у меня было превосходное настроение, и я с собой ничего не мог поделать.

— Сомневаюсь,— сказала Батима.— Это старая, как мир, история. Но, к сожалению, она мало кого научила умуразуму. Впрочем, к вам она не имеет отношения. Вы идете своей дорогой.

В ее голосе я уловил иронию. Как будто она что-то знала. Откуда? Ну, покраснел, но это еще не факт. Я никому не говорил о своих чувствах к Акбайи.

— И все-таки я слушаю,— сказал я, стараясь не выдать смущения.

— В общем, один почтенный пожилой мужчина полюбил свою секретаршу. Она была моложе его лет на тридцать. Словом, очень молоденькая. Но будто бы тоже полюбила его. И будто бы длится это уже много лет. У него семья, больная жена, и потому он не может развестись и

жениться на секретарше. А она не в обиде... Я в эту сказку не верю.

— А что же здесь невероятного? С возрастом у мужчин постоянство становится крепче.

— Я не о них. Я не верю в любовь молоденькой к пожилому. По-моему, она попросту водит его за нос. Выгодно ей, вот и водит. Тут какой-то расчет.

— Ну, а если это настоящая любовь?

Она пренебрежительно фыркнула.

— Батима, значит, вы ни за что бы не смогли полюбить мужчину, который гораздо старше вас?

— Мне хоть старый, хоть молодой — никто не нужен. Ой, я опять с вами заговорила, — спохватилась она и взяла у меня термометр. — Как приду в вашу палату, так обязательно дискуссия. Температура сегодня нормальная. Тридцать шесть и шесть, лучше не придумай.

— Вы это скажите врачу! — воскликнул я, торжествуя.

Но Батима уже вышла из комнаты.

Кажется, она не очень-то верит в любовь. Наверное, однажды обманулась в ком-то, и теперь ей у каждого мерещится злой умысел. А главное, она не верит, что могла бы полюбить... Но если не любит Батима, разве это значит, что не может любить Акбаян?

Нет, нет, сказал я мысленно вслед Батиме, люди могут и должны любить. Это любовь сделала человека добрым и благородным. Если бы не она, человек, возможно, до сих пор по нраву ничем не отличался бы от хищных зверей. Да и кто знает: дожил бы он до наших дней без любви к близкой женщине, к матери, к племени, которое вырастило его? Бывает и так, Батима, что любовь складывается не просто. Путь к ней иногда измерен годами испытаний. Как случилось у нас с Акбаян...

«А кем же тогда была для тебя Татьяна?» — неожиданно спросил я себя. — Почему же ты женился на ней, и вы прожили вместе немалый срок, как говорят, душа в душу? Что скажешь, Сабыр? Ведь сердце не дастархан — его перед каждой женщиной не расстелишь. А ты отдал его, сгорающее от неутоленной любви к Акбаян, отдал Татьяне — чтобы она врачевала его, излечила от этой болезни. Было же время, когда ты считал непроходящее чувство к Акбаян тяжелой болезнью, верно, Сабыр? И Татьяна казалась тебе нужным, близким человеком, который поможет тебе переболеть. Ты и Татьяна дорожили друг другом, а потом ты и вовсе решил, что с болезнью покончено, и между тобой и

женой возникла она, единственная настоящая любовь. Так ты считал многие годы, до тех пор, пока не встретился снова с Акбаян. С глазу на глаз.

Это был мягкий солнечный день, какие редко случаются в летнюю пору. С востока дул прохладный ветер, остужая, успокаивая раскаленный город. Да-да, наш поселок Мысказган превратился в большой индустриальный город с большими четырехэтажными домами и прямыми асфальтированными улицами вместо бараков и кривых переулков. Обычно в это время у нас дуют ветры. Их словно гонят невидимые меха из гигантской топки где-то в глубинах степи. Раскаляются и асфальт, и стены зданий, и сопки, окружающие город со всех сторон. В такую жару горожане спасаются на берегу искусственного озера, которое возникло после того, как перекрыли реку Ондир. Вода в озере прозрачная, точно слеза, голубая, словно небо Арки. Пологий берег строители засыпали желтым песком. В воскресные дни на озеро перебирался весь город — и пляж, и водная гладь превращались в огромный цветник из ярких купальных костюмов.

При жизни Татьяны мы тоже проводили свой выходной на озере. Вставали рано утром и, собрав в сумку еду и купальные принадлежности, переселялись на пляж на весь день. Искупавшись, я располагался на песке, дремал или читал книгу, а Татьяну невозможно было вытащить из воды. Ее белая кожа не поддавалась загару, только розовела от солнца. И я благоденствовал на махровом полотенце, просторном, точно ковер, слышал ее звонкий смех, а стоило поднять голову, и я сразу находил ее, розовую среди загорелых купальщиков. После смерти жены я ни разу до этого дня не был на озере. Здесь все было связано с памятью о Татьяне. Одно упоминание об озере вызывало в моей душе боль.

Но однажды в воскресное утро я подумал, что сама Таня вряд ли одобрила бы мое затворничество, сел в загородный автобус и через полчаса брел вдоль берега, увязая по щиколотку в песке. Здесь было по-прежнему многолюдно, и хотя мне казалось это странным, но после смерти Тани жизнь ни на минуту не остановила свой вечный праздник. Точно так же у меня под ногами бежали голопузые ребятишки, спортивные парни и девушки подбрасывали по кругу волейбольный мяч, кто-то кого-то звал, кто-то

сталкивал в воду кого-то, визжащего от наигранного испуга. Вокруг сверкали все те же веселые краски, блестели брызги воды.

Я долго выбирал укромное место. Но всюду мелькали загорелые молодые тела, вспыхивали белозубые улыбки, я почему-то застенялся своего возраста. Казалось, мое присутствие нарушит гармонию пляжа.

Заметив мою неуверенность, рыжеватая девушка, лежавшая на животе, подняла голову и озорно крикнула:

— Дядечка, не стесняйтесь! Здесь всем места хватит. И даже останется еще!

На меня уставились ее подруги, разметавшиеся на песке, — славные доверчивые девушки. Но ведь кто-нибудь завистливый и готовый подозревать всех и вся, непременно сочтет, что я старый донжуан, затесавшийся в компанию невинных девиц. Даже поговорка есть на этот случай: если в стадо молодняка забрел старый вол, то не жди от него ничего хорошего.

Я свернул на аллею и направился в павильон, где торговали водой и мороженым.

Впереди шла молодая женщина в пестром сарафане. Ее открытые смуглые плечи и руки еще хранили прохладу воды. На спине свободно лежали две толстые черные косы, длинные, достающие до бедер. Я уже привык к современным прическам, похожим на лохматые папахи или подвязанные конские хвосты, и потому эти прекрасные в своей естественной простоте косы показались мне чудом. Казахи говорят: «Птица красива крыльями, женщина — волосами». Мне вдруг захотелось взглянуть в лицо этой женщины. Так уж заведено в природе: и глубокое озеро имеет дно, и у высоких гор вершина служит пределом. Так и горе — как бы ни было оно тяжело, все же и ему даны границы.

Женщина шла не спеша, покачивая в такт своему шагу небольшим черным чемоданчиком. Точно в таком же чемоданчике моя Татьяна держала лекарства и медицинский инструмент, когда отправлялась на дом к больным. И хотя женщина вышла с пляжа и с нею-то скорее всего были купальник и полотенце, мне подумалось, что она тоже имеет отношение к врачебному делу.

Я прибавил шаг.

«А может, эти косы куплены в магазине? Теперь не разберешь: свои волосы носит женщина или парик. А я-то разлетелся, как Тулеген на караван Кыз-Жибек», — сказал я себе с усмешкой.



Я поравнялся с женщиной, и она, как бы чувствуя мое любопытство, тоже взглянула на меня. Нет, она не была красива, но в смуглом лице этой казанки было что-то столь привлекательное, что я не смог сразу отвести глаза. Она спокойно выдержала мой взгляд:

— Приветствую вас, сестричка,— сказал я, следуя нашему обычаю.

— Я вас тоже приветствую, Сабыр-агай,— доброжелательно ответила женщина.

Откуда она знает мое имя? Лично я видел ее впервые...

— Я, наверно, не узнал вас? — спросил я дипломатично.

— И неудивительно. Вы никогда не видели меня. Зато я вас видела. И не раз.— Незнакомка рассмеялась.

— Где же? — спросил я, ничего не понимая.

— Пока у нас в городе только один Герой Социалистического Труда. И зовут его Сабыром Шакировым, верно? — сказала женщина с улыбкой.— В Мысказгане нет ни одной доски Почета, где бы не висел ваш портрет.

— Ах, вот оно что! — Я тоже засмеялся, но, признаться, ее слова породили во мне разные чувства. Я бы солгал, сказав, что они мне не польстили. Но с другой стороны, я почувствовал в них легкую (и справедливую) иронию. За свои заслуги я уже получил награду, о которой только может мечтать трудящийся человек. Нужно ли так отделять меня от других, тоже добросовестных людей, ставить на какое-то особое место? Плохо быть одному, когда тебя казнят, но и когда награждают, тоже, наверно, лучше быть вместе со своими товарищами.

— Но я и помимо этого знаю вас,— сказала знакомка, беззлобно забавляясь моим замешательством.

— Чем же еще я вам известен? — спросил я, не зная, чего от нее ждать.

— Я работаю в больнице скорой помощи. Мы дружили с вашей женой. Да, может быть, она и рассказывала вам обо мне. Меня зовут Батима. Не слышали?

— Нет. Во всяком случае, не помню, чтобы Таня говорила о вас.

Некоторое время мы шли молча, и я уже собирался покинуть ее, но она задумчиво произнесла:

— Когда-то мне было очень трудно, и она заботилась обо мне, точно мать.

— Таня редко рассказывала о чужих делах.

— Женщины обычно советуются с любимым человеком.

А я ей, наверное, доставила немало хлопот... Вас она очень любила.

— Она вам это говорила сама? — При всей своей общительности Татьяна стеснялась говорить о своих чувствах даже мне.

— Что вы! Это она держала в себе. Но если вы хотите узнать что-нибудь о женщине, спросите про нее другую женщину.

Однако я и сам знал, что Татьяна любила меня всю нашу совместную жизнь.

— Ваша жена была особенный человек, — продолжала Батима. — Она могла любить так глубоко, как мало кому дано. Люди выдают за любовь все, что угодно, иногда самое пустяковое увлечение.

С таким выводом можно было поспорить. Но я был признателен Батиме за теплые слова о Татьяне и спросил совсем о другом:

— Значит, вы тоже врач?

— Не угадали. Медсестра. Здесь у нас отделение скорой помощи. У меня скоро дежурство.

Впереди показался разноцветный полог летнего ресторана. Я предложил:

— Может, посидим, перекусим? Потом-то у вас вряд ли будет время.

Батима взглянула на свои часики.

— Пожалуй. Только недолго, хорошо?

Время обеда еще не наступило, купальщикам пока вполне хватало солнца, воздуха и воды, и потому в ресторане сидело лишь несколько парочек.

Одна из них мне была знакома. Он работал в моем тресте, она была его женой. Краем глаза я заметил, как они переглянулись, словно говоря: «Видел? Недолго же он убивался. Кажется, и года не прошло. А она, пожалуй, пойдет ему в дочери».

Мы выбрали столик в дальнем углу, и получилось так, что Батима села лицом, а я спиной к залу.

К нам нехотя приблизилась пожилая официантка. Она с усилием подавила зевок и спросила, неодобрительно косясь на Батиму:

— Что будем заказывать?

Я подал Батиме меню.

— Из горячего только лангет, — не без злорадства упредила нас официантка. Она положительно не одобряла наш альянс.

Мы смиренно заказали лангеты, салат и чай.

— Пить будем? — почти ультимативно осведомилась официантка, оставляя нам последний шанс, чтобы оправдаться в ее глазах.

Это развеселило меня.

— Бутылку белого сухого. Так, Батима?

— Мне нельзя. Скоро на работу. Да и вам бы не следовало, наверно? Жара, — заметила она характерным тоном медицинского работника.

— Ничего, я выпью. Признаться, сегодня у меня хорошее настроение. Принесите двести граммов сухого, — сказал я официантке.

Она бросила на Батиму уничтожающий взгляд и ушла на кухню.

— Вы поняли, в чем дело? Она решила, будто мы с вами любовники, — сказал я Батиме.

— Ну, что вы, — не поверила моя собеседница, — у нас такая разница в возрасте.

Хотя я и не помышлял о флирте, напоминание о моем возрасте задело меня. Досадуя на себя за это, я пошутил:

— Ну, если это так заметно, значит, ваш муж не будет ревновать, хотя бы о нашей встрече говорил весь город.

Батима небрежно передернула плечами, — как я потом заметил, она всегда так выражала свое неприятие чего-то, — и сказала:

— А я не боюсь этого. Да и ревновать меня некому.

— Не может быть! Чтобы никто не ревновал? Таковую симпатичную женщину? — удивился я, тут же сообразив, что совершил бестактность, добавил: — Извините, я, наверно, затронул что-то для вас неприятное. — Вновь это небрежное движение плеч. И добродушный смешок.

— Безразличный разлюбивший муж? Или развод с любимым мужем? Да нет же! Ни то, ни это. Слава аллаху, я никогда не была замужем. Да и сейчас не стремлюсь.

— Не может быть! — повторил я.

— Только мертвые не воскресают, а так в нашей жизни бывает все, — спокойно заметила Батима. — Правда, было время, когда я хотела выйти замуж. Но, к счастью, помешала умница-судьба. Я тогда не понимала этого, извелась, как последняя дурочка, слезами. И если бы не ваша жена, не знаю, что бы сделала с собой, натворила бы глупостей...

Теперь я все вспомнил. Татьяна как-то рассказала мне об одной своей подружке.

«Бедная женщина, — озабоченно говорила Татьяна. — Ей уже далеко за двадцать, а она все еще не замужем. А ведь и собой мила, и душой добра. Наверное, любой холостяк счел бы за счастье иметь такую жену. Так поди же, ни на кого не хочет смотреть. Живет, как монашка».

«Значит, ненормальная, вот и все», — помнится, бросил я, мои мысли были заняты предстоящим совещанием в тресте.

«Она такая же нормальная, как и мы с тобой. Только обижена на весь белый свет. А виной тому случай, вроде того, что был у тебя с Акбаян. У многих в молодости это бывает. И у многих, как и у тебя, со временем разочарование проходит. А Батима потеряла веру в чистоту человеческих чувств», — сказала Татьяна, думая, что от моей любви к Акбаян давно не осталось и следа. Она простодушно считала эту историю всего лишь клиническим случаем. Да и я сам был недалек от этого.

Словом, Татьяна рассказала, что Батима, учась в медицинском училище, полюбила своего однокурсника. Тот будто бы тоже не мог жить без Батимы. Жигит и девушка были неразлучны. Однажды по курсу разнеслась весть, что они решили после окончания училища вступить в брак. Перед свадьбой жених уехал в родной аул за благословением родителей. Прошла неделя, месяц, минуло лето, Батима устроилась на работу в больницу, а жених не возвращался. Исчез, будто его и не было. А зимой ей сказали, что Абдрахман женился на другой у себя в ауле. Батима долго не верила. Но в больницу привезли больного из того аула, и он подтвердил, что Абдрахман в самом деле женат. Батима хотела наложить на себя руки, и вот тогда-то моя жена взяла ее под свою опеку. Девушка смирилась с бедой. Но сердце ее окаменело. За три года, что она работала в больнице, к ней подступал не один жигит, но Батима ни на кого не смотрела.

«Я говорю: ты что, всю жизнь собираешься старой девой прожить?» — рассказывала Татьяна. — А она: «А зачем выходить замуж? Чтобы на второй день проклинать себя? Все люди обманщики. Даже Абдрахман — и тот... Нет любви. Это придумали, будто она есть».

И теперь эта девушка сидела со мной за столом. А мне-то она казалась такой уверенной в себе. Человеком, у которого есть все, что ему нужно. Не о ней ли пословица: «Девушка — ларец, от которого потерян ключ». А что в ларце, никому не известно. Кто найдет ключ от ларца? Кто

отогреет сердце Батимы? И если кто-то найдет, какое сокровище ожидает этого жигига?.. Пока есть любящее сердце, не исчезает надежда. Но найдется ли такое упорное сердце, чтобы вернуло Батиму к жизни?

Нас сближало одиночество. Я готов был сказать Батиме слова утешения — обычные, пустые слова о том, что все прекрасное еще впереди. Но какое значение имели для нее эти слова?..

— Что пишет Аида? На каком она курсе? Наверное, уже на втором? — спросила Батима.

Аида — наша единственная с Татьяной дочь. После десятилетки ей удалось, выдержав конкуренцию с такими же, как она, абитуриентами, поступить в Алма-Атинский институт иностранных языков, теперь она в самом деле училась на втором курсе. Я был тронут тем, что Батима вспомнила о моей дочери.

— На втором! — подтвердил я. — Недавно прислала письмо. Пишет, что учится хорошо, здорова, успевает играть в драматическом кружке.

— Наверное, в мать. На Татьяну, бывало, тоже навалит массу общественных нагрузок. Ну, думаешь, пропала женщина. А она, смотришь, и то сделала, и это. И еще из магазина идет с полными сумками. А сама спрашивает: «Тебе, Батима, не помочь?»

Да, Татьяна была мастерица на все руки. И то, что Батима отметила это, мне тоже пришлось по душе.

— Татьяна рассказывала, какая у вас дружная семья, — продолжала Батима:

— Мы бы еще сто лет прожили и не соскучились, — подтвердил я.

Странное дело: воспоминания вызывали у меня не грусть, а легкую радость.

— Вам повезло. Но чаще бывает наоборот.

Мой возраст и то, что я был мужем Татьяны, внушали ей почти дочернее доверие ко мне. И я вполне по-отечески возразил:

— Ну-ну, вам обобщать рановато. Для этого вы еще слишком молоды.

— Молодость бывает долгой, когда у человека все хорошо. А к другому рано пришла беда, и смотришь — он уже старик-стариком.

— Ясно, у вас была беда. И все-таки рано зачеркивать всю свою жизнь. Не судите по одному человеку обо всех людях.

Батима поняла, что я все о ней знаю.

— Бывает, что мудрецу, повидавшему жизнь, трудно почувствовать даже маленькую беду другого человека...

— Значит, чтобы вас понять, каждый должен побыть, извините, в вашей шкуре?— спросил я и едва не признался, что уж кто-кто, а я ее понимаю.

Батима улыбнулась:

— Знаете, что говорил плохой портной?

— «Если бы я продавал свои тюбетейки, то люди, наверное, предпочли бы родиться без головы». Так что, будь я судьей, многим бы не поздоровилось.

— И мне?— пошутил я.

— А вам есть чего бояться?— вдруг насторожилась Батима.

Вот заноза! Крепко же ее обидела судьба, если она все время настороже.

— Все мы немного грешны. И перед другими, а больше, может быть, перед собой,— ответил я как можно беспечней.

И почувствовал вдруг беспокойство, будто вправду был в чем-то виноват. Но, к счастью, подошла запропавшая было в недрах кухни официантка и с демонстративным шумом поставила на стол наш заказ: салаты и графинчик с вином.

Я налил вина в бокал и поднял его, намереваясь выпить за здоровье Батимы. И вот тут-то она сказала, глядя в зал через мое плечо:

— Что-то тетя Акбаян все время смотрит на вас.

Я обернулся и обвел взглядом зал. Акбаян сидела неподалеку от входа вместе с каким-то смуглым жигитом. Она сидела лицом ко мне и смотрела на меня. Я не видел ее со дня похорон Татьяны, но она не изменилась за эти полгода.

Встретив мой взгляд, она приветливо улыбнулась. Я кивнул ей, словно мы были едва знакомы, и отвернулся. Но сердце мое вдруг бешено заколотилось в груди.

— Наверное, смотрит просто так. От скуки. А кто вместе с ней?— спросил я.

Ведь все давно кончено. Я сотни раз говорил себе, что совершенно остыл к Акбаян. И вдруг это волнение. Неужели ей достаточно появиться передо мной, чтобы вся моя глубоко эшелонированная оборона, в течение всех этих лет тщательно сооружаемая, дала трещину?..

— Кто с ней? Не знаю. На такой цветок всегда слетаются бабочки,— усмехнулась Батима.

Это точно. Акбаян — яркий цветок. Хотя ей уже немало лет, а коже ее лица позавидует девушка. И станом она по-

прежнему стройна. И гибка в движениях, точно золотистая рыбка, мелькающая в камышах. Да, какой бабочке устоять перед таким цветком?

— Вы правы, Акбаян — красивая женщина, — с деланным бесстрастием согласился я.

— Такие женщины думают только о себе. А эта особенно, — сказала Батима с откровенной неприязнью.

— Вы так хорошо ее знаете?

— Признаться, не очень. Виделись несколько раз. Но иногда достаточно всего лишь одного поступка, и сразу видно, что это расчетливый, эгоистичный человек.

— Но что же такого сделала Акбаян?

— Бросила мужа в беде. Пока он занимал высокие посты, была любовь — водой не разольешь. А стоило ему оступиться — и на тебе: больше не нужен. Теперь она ищет мишень покрупней.

Я знал, что произошло с Альжаном. Он быстро поднялся вверх по служебной лестнице и до последнего времени руководил трестом. Но постепенно Альжан закалился, стал препятствовать внедрению современной технологии, недавно его сняли с должности, и он уехал на другой рудник рядовым инженером. Словом, такое могло произойти с любым из нас, стоило отстать от требований времени.

— Акбаян ушла от Альжана? — спросил я, не веря своим ушам.

— Вот уже неделя, как об этом судачит весь город.

Обида на Акбаян до сих пор жила в моем сердце. Я мог бы ее даже возненавидеть за то, что она когда-то так бессердечно обошлась со мной. Но ее ли вина, что она полюбила кого-то больше меня? Чувствам не прикажешь. А тому, что Акбаян могла бросить мужа из-за меркантильных расчетов, я не мог поверить.

— Вы ошибаетесь, Батима. Акбаян не такой человек. Тут не расчет, тут что-то другое.

— А вы знаете, с кем она сюда пришла? — ядовито усмехнулась Батима. — Да это же...

Ей не дали договорить. В ресторан влетел коренастый жигит в выгоревшей тельняшке и подбежал к нашему столу. Час назад я видел его в лодке дежурного спасателя с мегафоном в руках.

— Апай, мне сказали, что вы здесь, — затараторил он, переводя дыхание. Один тип заплыл за буй, а потом судорога...

— Расскажешь по дороге,— перебила его Батима, резко поднимаясь из-за стола.

Она схватила свой чемоданчик и, не попрощавшись со мной, выбежала следом за спасателем из ресторана. С тех пор я ни разу не видел ее. До того самого дня, когда она привезла меня из дома Акбаян в больницу...

Сегодня у Батимы дежурство. После ужина она приносит мне лекарства, которые я должен выпить на ночь. На лице ее, вместо обычной самоуверенности, грусть. Она кладет на мой лоб прохладную ладонь и говорит:

— Небольшая температура. И глаза блестят. Наверное, все думаете, думаете. Возбуждаете себя. Вам сейчас это совсем ни к чему. А сердце беспокоит?

— Ну, эта штука меня беспокоит всю жизнь,— отшучиваюсь я.

Но сегодня Батима не улавливает юмора, вздыхает и говорит:

— И не мудрено: прожить такую жизнь. Работа на шахте. Война. Да и на войне-то вам, говорят, пришлось тяжелей, чем многим...

Медицинский работник она неопытный. В общем-то, девчонка еще. Спорит, забыв, что она медик, а я больной, которому всякое волнение противопоказано. Вот и сейчас она забывает о собственных наставлениях и просит:

— Сабыр Шакирович, расскажите, как вы воевали.

Пожалуй, об этом лучше и здоровому не вспоминать, не то что после инфаркта. А впрочем, разве это воспоминания? Вспоминаю о том, что прошло. А тут тяжкий груз все лежит на душе. Когда рассказываешь, словно избавляешься от части этого груза — жаль только, нет ему конца.

— Присаживайтесь,— говорю я.

— Я только нянечке скажу, что я здесь, ладно?— обрадованно просит Батима.— И сразу вернусь. Мне хочется знать про вас все!— вырывается у нее.

В первый же день после прибытия в полк нас с Садыком разлучили, направив в разные батальоны, и мы потеряли друг друга из виду.

Наш батальон присоединили к танковому полку, который потерял в боях с превосходящими силами врага все танки



и теперь лишь назывался танковым. Его бойцы, пробиваясь из окружения, обзавелись стрелковым оружием, и от пехоты их отличали только шлемы да обгоревшие комбинезоны. Всех, кто уцелел, направили для переформирования в тыл. Здесь-то мы и поступили в полк в качестве пополнения. Было это под станцией Лычково, между Новгородом и Старой Руссой.

Сержанты и лейтенанты, такая же, как и мы, желторотая молодежь, наскоро закончившая училища и курсы, учили нас окапываться, стрелять из винтовок, бросать гранаты и бутылки с горючей смесью. То, чему бойцов учили в мирное время месяцами, мы проходили за считанные дни. Но нам казалось, что подготовка тянется нестерпимо долго, что с фашистами до нас воевали слишком нерешительные люди и стоит нам оказаться на передовой, как враг тотчас покажется назад. Так щенок, глядя на свою огромную тень, мнит себя львом. Ветераны покачивали головой, слушая наши речи. Они-то знали, что война нас отрезвит. Тех, кто уцелеет в первом бою.

И наконец мы дождались. Свой первый бой мы приняли недалеко от той же станции Лычково. Это было второго сентября сорок первого года на Северо-Западном фронте. К моему стыду, я не совершил ничего героического, только бестолково палил из винтовки в ту сторону, где находился противник. Я расстрелял весь запас патронов, который мне выдал старшина. Рядом со мной палили мои новые товарищи. Нам думалось, что нанесли своим огнем большой урон. И какова же была наша растерянность, когда нам сказали, что враг обошел нас с флангов, нужно уходить, пока полк вновь не оказался в окружении.

За три дня человек может привыкнуть и к своей могиле, говорят у казахов. Вскоре я научился зарываться в землю и пережидать вражеский артобстрел. Во время атаки фашистов я уже не спешил выпустить в белый свет свой боевой запас, а искал цель и старался бить наверняка.

Но через две недели война приняла для меня неожиданный оборот.

Некоторое время нам удавалось сдерживать натиск немцев на нашем участке фронта. Потом противник перебросил к поселку Сухой Лог, возле которого наш батальон держал оборону, свежие силы. Свое новое наступление он начал с массированного минометного и артиллерийского огня. Командир взвода выдвинул меня вперед наблюдателем, я сидел на дне своего одинокого окопчика и пытался предста-

вить, что же творится сейчас в траншеях и блиндажах нашей роты. На меня падали комья тяжелой глинны. Земля содрогалась так, будто фашисты направили сюда все орудия, сколько ни было их в армии. Они месили наши позиции часа два. Я настолько оглох от грохота, что не услышал надвигающегося рокота моторов. А когда поднялся в полный рост, мотая головой и стараясь избавиться от шума в ушах, немецкие танки уже ползли мимо меня к нашим окопам, а за ними бежали цепи автоматчиков. Я выбрался из окопчика. Мне хотелось крикнуть: «За Родину!..» Но из моего горла вырвался неразборчивый хрип. Уже потом я понял, что меня контузило взрывной волной. В то время я этого не знал и не знал, что рота моя уже отошла назад. Видя, что перед ним уже не вояка, солдат, на которого я направил штык, не стал даже тратить на меня пулю, просто ткнул меня стволом автомата в грудь. Я упал на спину и потерял сознание. Мне чудилось: надо мной пронесется табуна лошадей. Стальные копыта били меня в грудь, бока.

Придя в себя, я услышал немецкую речь и увидел, что лежу на носилках, которые тащат пожилые мужчины в зеленых мундирах — солдаты похоронной команды.

В моем родном ауле Атбасаре жило несколько немецких семей. Это были славные, добрые люди. Они частенько баловали меня, я играл с их детьми и потому довольно сносно усвоил немецкий язык. Теперь я пытаюсь разобрать, о чем говорили несшие меня солдаты.

— Зачем нам это чучело? — сердито сказал один. — Разве у нас нет других забот? Дай бог к вечеру закопать наших собственных ребят. А этот пусть бы подыхал на своей проклятой земле.

— Ты плохой хозяин, Карл, — возразил ему напарник. — Тебе только стрелять и стрелять. А кто будет работать на русских полях и заводах, когда они станут нашими, а?

— От твоего азиата все равно будет мало проку, — пробрюзжал тот, кого называли Карлом. — Он скоро отправится на тот свет, вот что я тебе скажу. Он долго не протянет.

— Ничего, хороший кнут излечит любую болезнь. Крепкий кнут лучше доктора...

Два месяца я находился в лагере для военнопленных. И хотя голод, унижения, обида на судьбу, стыд перед теми, кто в это время сражался с оружием в руках, могли лишь

подорвать остатки здоровья, все же молодой организм преодолел все недуги. Он словно понимал, что еще не все потеряно, что мне еще понадобятся силы для борьбы. И через месяц с небольшим я начал ходить. А потом всех, кто, по мнению лагерного начальства, был физически годен для каторжных работ на благо рейха, погрузили в вагоны и привезли в небольшой городок Куплермен, расположенный на востоке Германии. Когда нас вытолкали из вагонов, я увидел макушки терриконов, торчавшие из-за станционных крыш, и понял, что здесь добывают каменный уголь. В этом я тоже увидел насмешку судьбы. Мне нравилась профессия шахтера. Мы, бывало, радовались каждой тонне добытой сверх плана руды. И вот теперь я должен снабжать углем нашего заклятого врага!..

Нас привели на территорию шахты и загнали по пятьдесят — шестьдесят человек в длинные приземистые бараки. Они были сыры, мрачны, лишены даже таких примитивных удобств, как нары. Вдоль стены лежала прелая солома, на которой нам предстояло спать в самые лютые холода. Я занял место возле дверей — здесь дуло, но сквозняк служил подобием вентиляции — и оглядел товарищей по несчастью, с которыми мне предстояло делить все муки фашистской каторги и, может быть, бороться с врагом. Первое впечатление оказалось малоутешительным. В основном это были или подростки, или старики, вывезенные гитлеровцами из оккупированных районов. И лишь десяток военнопленных, таких, как я. Но мы тоже представляли жалкое зрелище. Обмундирование наше превратилось в лохмотья. Кое-кто еще носил грязные бинты.

Вскоре после нашего новоселья в бараке появились толстый рыжеусый обер-лейтенант и переводчик — тщедушный человек неопределенного возраста с испуганными бегающими глазами, они объявили, что из барака мы можем выходить только по нужде или за водой. Остальная территория шахты для нас закрыта. «Те, кто нарушит порядок, будут расстреляны без предупреждения! Тут же, на месте!» — сказал офицер.

Его угрозу подтверждал грозный вид сторожевых вышек и часовых, которые торчали за пулеметами, точно каменные идолы.

Начало зимы сорок второго года выдалось бесснежным. Почти непрерывно дул пронзительный ветер с дождем. Холод не щадит голодных людей. Мы ходили на овец после жута.

Через несколько дней гитлеровцы пригнали новую партию. В тот же вечер возле цистерны с водой я встретил Садыка. Встретить в беде знакомого человека — все равно что встретить брата родного. А Садык и вовсе был моим другом! Мы обнялись. В двух шагах от нас стоял солдат и механически твердил «шнель, шнель», то есть «быстрее, быстрее». Поэтому нам удалось только переброситься несколькими словами: когда и где попал в плен? Какие последние вести были из Мысказгана?..

Садык провоевал всего на месяц больше, чем я, и попал в окружение. Патроны кончились, и вот... Садык отвел глаза в сторону.

— Сабыр, мать написала мне про Акбаян. Будто бы Альжан хочет на ней жениться... Но ты не думай об этом. Только бы разбить фашистов — и все будет хорошо. Вы встретитесь... И все будет хорошо, — повторил он, похлопывая меня по плечу.

Известие, принесенное Садыком, оглушило меня. Но каторжная жизнь в лагере не позволяла распускаться. Нельзя думать только о своих страданиях, когда вокруг столько чужого горя.

На другой день после встречи с Сабыром, едва забрезжил рассвет, нас подняли с наших подстилок, плеснули в миски мутной жижи, выдали по пятьдесят граммов глиноподобного черного хлеба и выгнали на плац. Я еще не видел на территории лагеря такого количества солдат и конвоиров с овчарками. Солдаты держали наготове автоматы. Собаки яростно лаяли, готовые разорвать в клочья каждого из нас. Я еще никогда не встречал таких свирепых собак. Даже шерсть у них была не серая, как у наших овчарок, а с красноватым отливом.

Нас построили в две шеренги по всему периметру плаца. Тысяча человек — униженных, тощих, одетых в рвань, обуток в сбитые сапоги или дырявые ботинки... Я едва не заплакал, когда подумал, что недавно это были сильные, исполненные достоинства мужчины. Перед строем прохаживался толстый обер-лейтенант с рыжими короткими усами. Он то и дело поглядывал на ручные часы и нетерпеливо постукивал по голенищу тонким хлыстом. За ним, точно домашняя собачка у хозяйской ноги, бегал переводчик. По его озабоченному виду я понял, что мы ждем какое-то важное лицо.

И вот, когда уже рассвело, в широко распахнувшиеся ворота, в узкий коридор, ограниченный колючей проволо-

кой, въехал странный кортеж. Впереди не спеша катил «мерседес», за ним следовал конный экипаж — красивая белая лошадь, впряженная в элегантную пролетку.

Обер-лейтенант вытянулся и прокаркал команды на своем языке.

— Смирно! Равнение направо! — пропищал перепуганный переводчик.

Кортеж выехал на середину плаца и остановился. Из машины выскочил молодой офицер в черной форме СС и услужливо распахнул дверцу. Из машины вылез высокий сухощавый эсэсовец чином постарше. Лагерный обер-лейтенант отрапортовал приехавшим, и офицеры направились к пролетке. К этому времени кучер развернул экипаж, и я увидел в нем молодую женщину. Старший эсэсовец подал ей руку, и она сошла на землю. На ней был белый пуховый платок, открывающий золотистые локоны, короткая беленькая шубка и узкие голубые брюки. Стоявший рядом со мной пленный ткнул меня локтем:

— Гляди, баба в мужицких штанах.

Еще не так давно женские брюки мы воспринимали точно диковинку, что уж говорить о начале войны... Но дело не в этом. Просто было странно видеть женщину — да еще и красивую — посреди бараков, окружающих нас, среди колючей проволоки, сторожевых вышек, автоматов...

Офицеры поочередно приложились к ручке белокурой красавицы и только после этого вспомнили о нас. Посреди плаца стоял деревянный помост — нечто среднее между трибуной и эшафотом. Четверка поднялась на помост, и обер-лейтенант произнес:

— Итак, сегодня у вас большой день! Сегодня вы начинаете работать на шахте верного сына рейха графа Вантера. Господин Вантер соизволил лично приехать к нам и тем самым оказал вам честь. А вы, в свою очередь, должны отблагодарить его честным добросовестным трудом!

Он отступил в сторону, почтительно уступив место старшему эсэсовцу. Этому человеку было лет около шестидесяти. Морщины, бледная, вялая кожа... Говорил он ровным, спокойным голосом, не рычал на манер нашего обер-лейтенанта. И вроде бы даже жалел нас — правда, как людей второго сорта. В отличие от других выходило, что нам еще повезло: мы имеем возможность трудиться на благо тысячелетнего рейха... В заключение Вантер сказал, что борьба с врагами Германии требует его возвращения в действующую армию, и потому делами шахты будет заниматься его

жена, графиня Хуасси Вантер, а мы обязаны выполнять ее распоряжения. За малейшееслушание — расстрел.

Наша хозяйка тут же решила нам показать, что она человек дела.

Она спустилась с подмостков и пошла вдоль нашего строя, говоря:

— Я знаю русский язык, мне переводчик не нужен. Я буду сама иметь дело с теми, кто станет работать плохо, без души. Я жила в России и знаю характер вашего народа. Вы упрямы, но у нас достаточно силы, чтобы сломить любое упрямство. Работать будете в две смены. Каждая по двенадцать часов. Горе тому, кто будет трудиться спустя рукава и саботировать распоряжения администрации. Эти пусть пеняют на себя. Итак, будем считать, что вы готовы к сотрудничеству. А пока мне нужен опытный конюх. Кто умеет смотреть за лошадьми, пускай выйдет из строя.

Длинная лента заключенных не шелохнулась.

— Выходит, мне повезло? — насмешливо произнесла графиня. — Среди такого скопища мужиков из крестьянской страны нет ни одного, который имел бы дело с лошадьми?

Она не спеша двинулась вдоль строя, оглядывая людей, точно товар. С помоста сбежал обер-лейтенант и пошел рядом с ней, угрожающе помахивая тростью.

Над плацем повисла тягостная тишина. Даже псы — и те перестали рычать и греметь цепями.

— Ты кто? — услышал я вопрос графини.

— Садык Ашимов.

— Это меня не интересует. Я вижу, что ты азиат, и спрашиваю: ты кто?

— Казах, — спокойно ответил Садык.

— И ты, дикий табунщик, хочешь меня обмануть? Ты думаешь, я не знаю, что вы всю жизнь имеете дело с лошадьми? Или работа конюха слишком грязна для тебя?

Она сказала по-немецки обер-лейтенанту, чтобы тот доставил «этого азиата» на конюшню. Негромко щелкнул хлыст. Из строя, потирая плечо, вышел Садык.

Но графиня продолжала подбирать работников для своего дома.

— Ты любишь собак? — спросила она у кого-то из соседей Садыка.

— Смотря каких. Собаки разные бывают, — растерянно прозвучал старческий голос.

— Это я знаю. Ты, например, из худшей породы.

Она перевела офицерам свою остроту, те рассмеялись.

— Выходи, будешь моим псарем. Надеюсь, ты не обидишь своих собратьев?..

Вышел из строя и присоединился к Садыку седоголовый человек.

— А ты кто? С Кавказа? — продолжала графиня. Судя по всему, ей нравилась эта игра, в которой она вела роль знатока этнографии и психолога.

— Я еврей! — вызывающе ответил гортанный голос.

Я не видел отвечавшего, но по его характерному акценту понял, что графиня не теряла зря времени, когда жила в нашей стране. Она говорила на таком чистом русском языке, что ее произношению могли бы позавидовать и я, и Садык, и этот парень с гор, назвавший себя евреем.

— Врешь! — торжествующе возразила графиня. — Будь ты еврей, ты бы сказал, что ты грузин или кто там еще. Чтобы спасти свою жизнь.

— Такой ценой спасают свою жизнь только трусливые шакалы!..

— Я вижу, ты торопишься умереть? — зловеще засмеялась графиня. — Мы охотно поможем. Но прежде ты поработаешь на шахте. У вас говорят: как миленький!

На этом наше знакомство закончилось. Нас разделили на две смены. И уже в этот день мы почувствовали собственной шкурой, что такое фашистская каторга.

Если это гиблое место, расположенное на глубине в шестьсот метров, называлось шахтой, то как же выглядит ад? Труд горняка опасен сам по себе. Это единоборство с природой, и тут всего не учтешь, даже при очень высоком обеспечении безопасности. На шахте же Вантера само слово «безопасность» звучало горькой иронией. Потолок в забоях мог обрушиться в любую секунду. Старые деревянные опоры трещали под напором пластов земли, в забоях там и сям виднелись следы обвалов. По низким полузасыпанным проходам мы передвигались почти на четвереньках, на манер собаки, вползающей в конуру. Да и коричневатый уголь был не лучшего качества, давал больше золы, чем тепла.

Здесь мы работали, согнувшись, а то и сидя. С потолка и по стенам лили грунтовые воды. Под ногами хлюпали лужи, мокрый уголь, который мы бросали в вагонетки, ничем не отличался от грязи.

После двенадцатичасовых мучений нас кормили вонючей жижей, в которой иногда попадался кусочек брюквы или протухший рыбий плавник.

И по сей день я спрашиваю себя, как мы выжили в этих условиях. Казалось бы, здесь должен погибнуть даже самый здоровый человеческий организм. Но мы держались. Потому что надеялись вернуться в отчие края. Если кто-то начинал сдавать, каждый из нас выделял ему часть своего жалкого рациона. Есть присказка: один мальчик спросил у своего отца-бедняка: «Отец, сколько еще нам придется страдать?» И тот ответил сыну: «Сорок дней». — «А что будет потом?» — спросил мальчик. «Потом мы привыкнем»... Нет, мы не привыкли к издевательствам, тяжкому труду и голоду. Мы научились терпеть. Беречь силы. Надеяться. И — ждать.

Как ни хитро устроен замок, всегда найдется ключ, чтобы его открыть. Но мы не имели права сидеть сложа руки, пока кто-то добудет для нас этот спасительный ключ. Да и некому было в то время прийти к нам на помощь. Мы были далеко в тылу у врага, и надеяться приходилось прежде всего на собственные силы. Но чтобы произошел обвал, кто-то должен забраться на вершину горы и столкнуть первый камень.

Теперь я все время думал, как это сделать. Что нужно для того, чтобы сдвинуть с места лавину? И оказалось, что об этом думали и другие узники лагеря. Я вдруг стал замечать в их глазах живые огоньки. Те самые, без которых человек подобен больному, покорившемуся безысходной судьбе. В его глазах отчаянная тоска или, еще хуже, тусклое равнодушие. У моих братьев по несчастью тоже были запавшие глаза, обведенные темными кругами. Но в них светилась надежда.

Однако все молчали, и, если я начинал заговаривать об этом сам, мои собеседники уходили от разговора. И все же мне временами казалось, что на шахте уже существует какая-то тайна, объединяющая людей. Я мучился догадками, но расспросы только вызывали бы подозрение.

Как выяснилось потом, интуиция не обманула меня. Но узнал я об этом от человека, который, на мой взгляд, не имел ничего общего с подпольным движением.

Он жил в нашем бараке, звали его Андреем. Это был еще юный парень, рыжий, точно залитый огнем. В плен он попал в Латвии, в бою за порт Либаву: вроде бы после разрыва бомбы его засыпало обломками дома. И будто бы с того времени в его голове сместились все шарики-ролики. Так ли это было или не так, только с его синеватых тонких губ почти никогда не сходила простодушная улыбка, даже



тогда его подгонял прикладом конвоир или отводил душу на нем свой же ошалевший собрат-заключенный. Мы считали его дурачком, называли «чокнутым». Вскоре к такому же имени пришли сами тюремщики и перестали обращать внимание на Андрея. И он, пользуясь этим, ходил по всей территории лагеря, куда вздумается. Слонялся из барака в барак.

Трудно было понять, когда он спит. Вернувшись после смены, мы валились на свои жалкие подстилки, а «чокнутый» куда-то уходил, возвращался и снова уходил и, если кому-то становилось плохо, первым оказывался возле больного. Его тонкое, жилистое тело, казалось, не знало усталости, а доброта предела. И если бы при этом у него было все в порядке с головой...

Так вот, этот дурачок однажды подошел ко мне после смены и спросил:

— Что, браток, устал?

Задать такой вопрос человеку, который еле держался на ногах, мог лишь в самом деле только слабоумный. Но мне не хотелось обижать его, ведь он сам только что вернулся из забоя... И я сказал:

— Устал — не то слово, — и, забыв, что имею дело с чокнутым, с горечью добавил: — Лучше бы скорее подохнуть.

— Не спеши, подохнуть всегда успеешь. Не так ли говорила наша прекрасная графиня? — напомнил Андрей, улыбаясь своей глуповатой сияющей улыбкой. — Бог дал тебе жизнь, он и заберет, когда понадобится, — он подмигнул мне, словно бог был нашим общим приятелем. — Только свое время-то надо прожить с пользой. И если прекрасная графиня имеет в виду пользу свою, то мы свою, а? И надо, чтобы худо стало ее пользе и всей проклятой фашистской нечисти?..

Тут я заметил, что несет он свою обычную чушь, а глаза у него вроде бы нормальные, и в этом его бреде таится нечто здоровое.

— Что можно сделать, если ноги и руки в цепях? — сказал я.

— Но цепи перепилит напильник.

— А где его взять?

— Это узнаешь в свое время. А пока — завтра, через час после начала смены, приходи в третий штрек.

Уже впоследствии я понял, что Андрей долго приглядывался, прежде чем завязать этот разговор. Но у него не бы-

ле возможности предварительно проверить меня, и он пошел на риск.

Третий штрек был почти затоплен и считался непригодным для работы. Крепления здесь подгнили, конвоиры боялись совать сюда нос.

Когда я пришел в штрек в назначенное время, тут уже собралось около двадцати человек. К моему появлению они отнеслись спокойно, значит, уже знали меня в лицо. Андрей поднял карбидную лампу, как бы проверяя, все ли в сборе, и сказал:

— Товарищи, сегодня к нам пришел еще один товарищ. Он — казах, и, я думаю, с его помощью нам будет легче работать среди заключенных, говорящих по-тюркски. Кроме того, он бывший шахтер. А чтобы вести саботаж с умом, нужно знать горное дело... Теперь вернемся к главному. Шахта Вантера когда-то была заброшена — это ясно любому. Почему же ее открыли вновь? Появились рабы, почти бесплатная рабочая сила? Нет, все гораздо серьезней. Эта шахта обеспечивает топливом ТЭЦ, которая питает электроэнергией важные военные заводы. Теперь вы понимаете, товарищи, что значит в этих условиях сорвать плановую добычу угля?

Так вот он каков, этот «чокнутый»... — дивился я. И мы, и наши тюремщики считали его дурачком, а Андрей, оказывается, был решительным вожаком и умелым конспиратором.

— И среди вас не было ни одного предателя? — спросила Батима, точно очнувшись.

Она сидела на стуле, у меня в ногах, и заворуженно слушала мою историю.

Почему я рассказывал ей о войне, о плене? Ведь ею руководило одно любопытство. Разве я стал бы лишь ради этого ворошить свое прошлое? Конечно, нет. Я рассказывал как бы самому себе...

— Предатель? — повторил я. — Ядовитую змею узнаешь сразу, а человека, если он затаился...

Из коридора донеслось:

— Сестра, сестра!

— Наверное, это Нуржан, — подхватила Батима. — Опять бедняга не может заснуть. — Она выбежала в коридор.

Нуржан лежал в соседней палате. Я никогда не видел его, слышал только, что он молод и был хорошим шофером. Да слишком понадеялся на свою молодость, на высокий шоферский класс и сел пьяным за руль. Других жертв, слава богу, не было. Пострадал только он сам. И теперь там, за стеной, корчится от боли, а над ним хлопочет Батима...

Почему человек чаще всего начинает дорожить жизнью, когда она уже уходит от него?..

Я незаметно заснул, ожидая Батиму.

Поговорить с ней мне удалось только дня через два. В отделении заболела одна из сестер, Батиме пришлось взять на себя и ее больных. Теперь у нее не было ни одной лишней минуты. Выдав лекарство или поставив термометр, она тотчас исчезала из палаты.

Но на третий день Батима задержалась, чтобы сказать:

— Поздравляю, ваша последняя электрокардиограмма выглядит значительно лучше. Денек-другой, и доктор позволит вам ходить.

— А вы, видно, очень устали?— сказал я.

Лицо ее вправду осунулось за эти дни.

Батима недоверчиво взглянула на меня, словно, по ее мнению, я не способен на сочувствие.

— Да уж пришлось побегать. Я, можно сказать, одна на все отделение.

— Батима, а она в эти дни не приходила?— спросил я, будто невзначай.

— Акбаян?— Батима усмехнулась. Наверное, подумала: «Тоже мне, дипломат». — Нет, не приходила,— почти торжествуя, ответила она.

На моем лице, видимо, появилось такое разочарование, что медсестра сочла своим долгом подбодрить больного.

— Не волнуйтесь, больной. Никуда не денется ваша Акбаян. Скоро придет. А если ее не было эти дни, значит, была занята.— И не удержалась, добавила:— Акбаян теперь свободна, как лебедь в полете.

Что точно, то точно. Акбаян свободна теперь, как птица. И, как птица, вольна лететь куда угодно и к кому угодно.

В моей душе потихоньку закопошилась ревность.

Казалось бы, в наш просвещенный век каждому ясно: нельзя винить человека, если он полюбил другого. И в самом деле, не убивал же я когда-то изменившую мне Акбаян, не кончил свою жизнь самоубийством, как Ромео, потеряв-

ний Джульетту, или Кобы-Корнеш, лишившись Баян. Все обошлось... Какое же право у меня теперь подозревать Акбаян? Я не видел ее со дня нашей последней встречи. О чем она думает, чем живет?.. Но как бы там ни было, только что это за любовь, Сабыр Шакиров, если ты не веришь любимому человеку? А ведь она тебя любит. Разумеется, любит. Разве об этом она не сказала тебе сама?..

— Сабыр-ага, — вмешалась в мои мысли Батима. — А что стало с вашим другом Садыком?

Она помянула имя Садыка, и снова передо мной возник давний вопрос: кем он был, кем стал он для меня, Акбаян? Вечным укором совести?..

Садыка я увидел спустя несколько дней после встречи с подпольщиками.

К этому времени мне уже было известно, что наша группа — всего лишь одна из ячеек разветвленной, хорошо законспирированной организации. Во главе ее стоял целый штаб, но рядовые подпольщики знали только товарищей из своей ячейки, даже командиру, через которого шла связь ячейки со штабом, был известен лишь один из штабистов. Такая структура предохраняла организацию от разгрома в случае провала какой-нибудь ячейки.

Поначалу главная цель подпольщиков ограничивалась подготовкой побега военнопленных и саботажем на шахте. Но потом было решено взорвать электростанцию и тем самым вывести из строя военный завод, производящий фаустпатроны. Кроме того, взрыв электростанции вызовет среди наших тюремщиков панику, при которой легче будет осуществить массовый побег.

Цель соблазнительная, что и говорить. Но как профессиональный взрывник, я понимал, насколько сложна задача. Одной жажды мщения тут мало. Нужны аммонит или динамит. И в большом количестве. Но где их возьмешь, если все взрывные работы в забоях и штреках ведут сами немцы? Но, положим, случится чудо, и взрывчатка окажется в наших руках. Тогда возникнет другое препятствие: как пронести ее на территорию электростанции, окруженную колючей проволокой, каждый квадратный метр которой по ночам освещен лучами прожекторов?

Так думал я, пока Андрей разъяснял нашей ячейке решение штаба. Мы собрались, как всегда, в заброшенном третьем штреке.

— На сегодня, товарищи, все. И будьте осторожны, как

бы вас не хватилась охрана,— сказал Андрей, закончив со-  
звучание.— А ты, Сабыр, задержись. Есть разговор.

Мы стояли друг против друга. Наши лица скрывала  
гень. Но я чувствовал, что Андрей как бы заново прицени-  
вается ко мне.

— На территорию станции нам не пройти,— сказал он,  
подтверждая мои мысли.— Придется рубить забой. Выйдем  
к станции из-под земли. Как черти из преисподней,— он не  
удержался от смешка.— Начнем отсюда. Дело трудное,  
вести его придется тебе и твоим землякам. Для охраны вы-  
делить каждый раз по три человека. Ну а за них, естествен-  
но, придется гнать норму остальным. Чтобы не было подо-  
зрений, понял?

— Не совсем,— признался я.— Отсюда до электростан-  
ции метров шестьсот. Рубить породу будет один, двое но-  
сить в штрек. Значит, придется копать пять месяцев. Не  
много ли, Андрей?

— Много,— спокойно согласился Андрей.— Но игра  
стоит свеч.

— А как взрывчатка? Где ее взять?

— Это главное, о чем я хотел с тобой поговорить,— он  
положил руку на мое плечо.— Сабыр, ты должен работать  
у немцев взрывником. Пока у нас нет другого пути к взрыв-  
чатке. Подумай, как войти к ним в доверие. Ты не младе-  
нец и понимаешь сам: это опасно. Это даже трудней, чем  
вырыть тоннель!..

Он сжал мое плечо и ушел в темноту. Под его ногами  
захлюпала вода. И тогда я подумал о Садыке.

А после смены, проходя мимо здания, в котором разме-  
щалась администрация шахты, я увидел конный экипаж  
графини Вантер. Около белого жеребца спиной ко мне  
стоял высокий статный мужчина в ливрее. Это был Садык.

Я бы не сказал, что последнее время ничего не слышал  
о его судьбе. Ходили слухи, будто Садыка за усердный  
уход за лошадьми перевели из конюхов в кучера, и живет он  
теперь не на конюшне, а в комнатах для прислуги в самом  
графском доме. Но я не верил, что мой товарищ мог пре-  
вратиться во вражеского прихлебателя. Но слухи повторя-  
лись, потом появились свидетели, видевшие Садыка воссе-  
давшим на облучке... Я пытался объяснить себе, что случи-  
лось с Садыком. И запало мне в голову, что он сам пошел  
в услужение к врагу. Разве не был он сыном раскулачен-  
ного богача? Вот ему теперь и представился случай ото-

мстить за отца. Я гнал от себя эти мысли, но не мог придумать ничего такого, что бы прояснило поведение Садыка.

И теперь, проходя мимо экипажа графини, я знал, что человек в ливрее — мой бывший друг, ставший хозяйским холоум.

— Сабыр, остановись,— услышал я за собой шепот.

Я словно не слышал.

— Сабыр!

В его голосе было что-то такое, отчего я не смог не откликнуться на его зов. Мне бы придумать что-нибудь, чтобы не привлекать внимания охраны,— ну, скажем, поправить сапог. А я стоял точно столб, разглядывая Садыка и тщетно пытаюсь найти хоть что-нибудь, что бы помогло опровергнуть позорные слухи.

Но на нем были куртка, отороченная галунами, шапка из незнакомого мне добротного меха и черные хромовые сапоги. Округлившееся лицо свидетельствовало о сытной жизни. Только тревожный блеск в глазах говорил, что совесть его слегка встревожилась при встрече со старым другом...

— Сабыр,— поспешно сказал он, стоя ко мне вполоборота и поправляя с деланным усердием сбрую на жеребце.— Я тебя все объясню... потом... А пока ты должен мне верить. Слышишь, Сабыр?..

Меня передернуло. Я тут же хотел уйти, но вспомнил о задании Андрея.

— Послушай, Садык. Чем оправдываться, ты бы помог своему товарищу,— сказал я с усмешкой.

— Сабыр, да я для тебя...

— Тогда замолви за меня словечко,— сказал я.

— О чем ты?— не понял Садык. Или притворился, что не понял.

— Скажи, кому надо,— мол, Сабыр Шакиров — хороший взрывник. Ведь им тут нужны хорошие взрывники, а? Вот ты и скажи.— И я подмигнул.

— Сабыр, что ты говоришь?— ужаснулся Садык.

«Артист,— мысленно усмехнулся я.— Но если нужно, я тоже буду артистом. И сыграю не хуже».

— А что тут такого? Мне надоело горб на шахте гнуть и хлебать дерьмо из брюквы! Хочу жить в тепле и по-человечески жрать. Ну, что уставился? Не бойся, у тебя кусок хлеба не отниму. У них на таких, как мы с тобой, хватит!

— Уходи,— прошипел Садык и повернулся ко мне спиной.

В тот же вечер я нашел Андрея. Выслушав мой рассказ, и задумчиво потер переносицу и произнес:

— Сабыр, а знаешь, мне кажется, не так-то прост твой приятель, а? В его поведении кое-что не ясно. Почему Садыку важно, чтобы ты по-прежнему верил ему? Потому что вы дружили столько лет? Это, конечно, тоже причина. Но теперь, когда он служит им, ты для него, может, не только друг? Для всех он прислужник фашистов, и Садык понимает — мы ему не поверим. А ты в этом случае... — Прерывая свои рассуждения, он решительно сказал: — Я сам с ним поговорю.

— Стоит ли? — возразил я, в то же время стыдясь, что должен предостеречь от некогда близкого человека.

Однако ни на второй, ни на третий день ему так и не удалось поговорить с Садыком. Во время приездов графини на шахту ее кучер торчал в тепле, в домике шахтоуправления или вертелся около солдат охраны, подбирая оброненные сигареты и угодливо подавал огоньку — прикурить.

Не раз, проходя мимо этой компании, я пытался перехватить взгляд Садыка, но он отводил глаза. Вдобавок ко всему из графского дома просачивались слухи, что Садык особенно усердно выслуживается перед госпожой Вантер, словом, он стал среди гитлеровцев своим человеком.

Мы поняли, что нельзя рассчитывать на его содействие. Как-то во время смены я подошел к немцу-маркшейдеру и, мобилизовав свои знания немецкого языка, сказал, что в таком-то месте хорошо бы заложить шурф и рвануть породу направленным взрывом. Маркшейдер удивленно посмотрел на меня и спросил, не имел ли я дела со взрывчаткой, и записал мою фамилию. На другой день за мной явился конвоир и отвел в управление шахты. Так я снова начал работать взрывником.

Но напрасно мы надеялись, что теперь нам удастся раздобыть аммонит, да еще в необходимом количестве. При мне неотлучно находились два конвоира с автоматами. Они не сводили с меня цепких глаз. И когда я получал на складе взрывчатку, и когда закладывал ее в шурфы... Тут не то, что припрятать часть и без того отпущенного норма в норму аммонита — руку невозможно было сунуть в карман.

К тому же на территории склада взрывчатки начал появляться Садык. Он по-прежнему избегал моего взгляда, но проходя мимо него со своим эскортом, я ощущал, что Садык словно взвешивает на глаз мой ранец с полученным

аммонитом, присматривается к моей рваной шинели — не оттопыривается ли она в карманах и на груди.

Мои товарищи в это время вели подкоп, метр за метром приближаясь к цели. А мне все не удавалось добыть ни грамма взрывчатки.

Я решил, что без прямого риска не обойтись, и, получая в очередной раз взрывчатку, заявил пожилому унтер-офицеру, отпускаяшему аммонит, что прежними зарядами не обойдусь.

— Что ты несешь? Раньше тебе хватало того, что дают? — нахмурился унтер-офицер.

— Твердые породы, господин унтер-офицер, — доложил я, преданно глядя ему в глаза.

— Откуда взялись эти чертовы породы? — растерянно выругался унтер-офицер, потому что по инструкции, определявшей норму взрывчатки, иным породам в этом месте быть не полагалось.

Он потянулся к телефонной трубке, видимо, собираясь запросить управление шахты, и я понял, что попался.

— Господин унтер-офицер, сколько аммонита получал этот человек? — слышался за моей спиной знакомый голос.

И точно: на пороге стояли Садык и переводчик коменданта лагеря.

— И сколько он просит теперь? — продолжал Садык, глядя на унтер-офицера.

В другое время старый служака не стал бы обсуждать служебные дела с военнопленным, пусть даже вошедшим в доверие охраны администрации шахты. Но теперь он был несколько выбит из колеи и потому назвал Садыку цифры.

— Что ж, — сказал Садык. — Этот человек, наверное, не врёт, ему в самом деле необходимо такое количество взрывчатки. Он плохой взрывник. Хорошему всегда хватает меньшего заряда.

Переводчик залопотал по-немецки, а Садык впервые после нашего разговора посмотрел на меня. Прямо в глаза. С откровенной насмешкой.

— А ты откуда это знаешь, черт возьми? — грубо спросил унтер-офицер.

— Я тоже взрывник. Мы работали вместе на шахте в Мысказгане. То есть работал я, а он к нам пришел новичком перед самой войной. Он, конечно, старается, но ничего в сущности не умеет. Отправьте его в шахту, господин офицер. Единственная его вина в том, что он излишне усерден.



И потому же ему надоело хлебать баланду, а здесь, он думал, его станут кормить в офицерской столовой.

Снова — откровенная насмешка.

— У нас каждый взрывник на счету; — нахмурился унтер-офицер.

И больше того, я недавно узнал, что администрации нужны взрывники из пленных. Под землей лежали опасные участки, где взрывники-немцы отказывались работать. Я очень рассчитывал на такой участок. Туда бы меня волею судьбы пустили одного. Без дотошных конвоиров.

Но Садык вмешался в мои планы. Он разрушал их, будто зная мои мысли.

— Его место займу я, — говорил Садык. — Хотя моя госпожа и великая женщина, но не мужское дело — сидеть с кнутом на облучке. Вы, господин офицер, настоящий мужчина, вы меня поймете.

Унтер-офицер довольно хохотнул и сказал переводчику:

— Лично я согласен, скажи штатским господам из управления. Если рвется, пусть работает. А этого пусть отправят в шахту, — и немец кивнул в мою сторону..

— Господин унтер-офицер! — отчаянно закричал я. — Я лучше знаю работу, чем он! Я сам учил его взрывному делу.

— Уведите его. Пусть рубит уголь, — приказал унтер-офицер конвоирам, будто навсегда вычеркивал меня из жизни.

Вот теперь я попытался ответить Садыку прямым взглядом, но он отводил глаза, смотрел куда-то поверх моего плеча.

— Предатель, — сказал я ему по-казахски и зашагал впереди солдат.

И в тот раз я не успел довести свою историю до конца.

Батима мягко прикоснулась к моей руке:

— Все это очень интересно, Сабыр-ага. Но вы начали волноваться. Если бы я знала, что в вашей жизни были такие ужасы...

— Ничего, Батима. Мне становится легче, когда я об этом говорю. Иначе это лежит здесь камнем, — и я показал на грудь, где, как уж принято считать, находится эфемерная субстанция, которую мы называем душой.

— И все же вам нужно поспать. А доскажете... когда-нибудь потом.

Она шагнула к дверям и не утерпела, обернулась:

— Япырмай! Неужели Садык догадался о ваших делах?..

Я уже привык к Батиме и, когда у нее бывал выходной день, чувствовал, что мне недостает ее ворчливого голоса. Она ворчала на всех и все, но за этим скрывалось добрейшее сердце. Чтобы убедиться, стоит только посмотреть на ее лицо, когда она спешит на зов больного. И, может, она и сварлива оттого, что судьба обделила Батиму человеком, которому ее сердце смогло бы отдать все свои богатейшие запасы добра.

Батима тоже привязалась ко мне. Помнится, после двухдневного отсутствия она вошла в палату со словами.

— Ну, как вы тут без меня? А я уже соскучилась без вас.

А как она радовалась, когда врач разрешил мне сидеть! Взбивая подушки, она не удержалась, чтобы не сказать, что на месте врача еще повременила бы с таким разрешением. Но лицо ее так и светилось неподдельной радостью.

В этот день ко мне пропустили посетителей. Первыми в палату пришли старые друзья, вместе с которыми я двадцать пять лет добывал руду в уже ставшем родным для меня и для них Мысказгане. Младший из них, Кайсар, был мой ровесник. Остальные считались ветеранами, когда мы с Кайсаром и Садыком еще только пришли на шахту. А старейшим среди них был Акшалов. Когда-то он гнул подковы, отбойный молоток в его могучих руках входил в породу, будто нож в масло. Но вот уже пятнадцать лет, как бывший шахтер и парторг на пенсии. И казалось бы, старость взяла свое — иссушила кожу Акшалова, притупила зрение, согнула дугой позвоночник. Но перед душой его она осталась бессильна. И когда наступают минуты и на ум приходят невеселые мысли о подошедшей старости, я стараюсь думать о своем старшем друге.

Что таить греха, хоть и пользуется старость у нас почетом — об этом даже в песнях поется, — но все равно это время немощи человека. Остатки костра, в котором еле-еле тлеет последний уголек. Сколько ни уважай старика, ему ничто не вернет ловкость и гибкость козленка, прыгающего с камня на камень над пропастью. Горько знать, что ты уже не в силах принести людям пользу. Но вот Акшалов... Я утешаю себя тем, что, может, и я буду таким же в старости, как Акшалов.

Я обрадовался, когда он появился в дверях палаты и утлаиво спросил:

— Ну-ка, где этот юнец, притворяющийся больным?

За ним вошел мой друг Кайсар, смуглый крепыш с железными торчащими, точно иглы ежа, волосами. Вернее, е вошел, а ворвался, точно вихрь. В нем что-то есть г Ходжи Насреддина. Уж если ему встретится бюрорат, купец или лентяй, Кайсар не упустит случая, чтобы го не проучить. О себе он говорит так: «Один начальник лахты боится уволить меня с работы, другой— взять на работу». Но с теми, кто честен и добр, нет душевнее человека, чем мой друг Кайсар. Когда он впервые появился в Мысказгане и устроился в транспортную контору, об этом сразу же узнал весь город. То есть люди узнали, что в Мысказгане появился упрямый чудак или чудаковатый упрямец.

Был, помнится, такой случай.

Кайсару поручили отвезти воз сена по одному адресу. Кайсар прикрикнул на свою кобыленку и выехал со двора. На улицах лежал снег, и молодой извозчик направил сани по трамвайным рельсам, где снег был расчищен специальной машиной. Не проехал Кайсар и сотни метров, как навстречу ему попался пустой трамвай, только что вышедший из депо. Вожатый трамвая подал сигнал, требуя освободить дорогу. Но Кайсар продолжал катить ему навстречу. Вожатый остановил трамвай, вышел и обрушил на голову Кайсара ругательства. На шум сбежались прохожие и обступили место происшествия. Кайсар спокойно выслушал вожатого и сказал: «И не стыдно тебе скандалить? Посмотри, сколько людей ты оторвал от дела. А между тем я еду с важным грузом, твоя же арба совершенно пустая. Так кто кому должен уступать дорогу, а?»

Кайсар трудолюбив, как слон, и у него золотые руки. И он же, как никто другой, может развеселить людей, уставших после работы. Он знает массу смешных историй, иногда и сам не прочь присочинить что-нибудь свое, совершенно невероятное.

Вот и сейчас, войдя в палату, он наполнил ее смехом. А следом появились еще четыре моих товарища, и узкая палата, рассчитанная на одного больного, словно раздвинула свои стены.

— Дорогой,— сказал, добродушно смеясь, Кайсар.— Раньше ты был крепок, как сталь, которой можно было бурить любую породу. Но как только ты повесил около сердца Золотую Звезду, оно стало у тебя болеть. Не выдержи-

лэ славы, а? Но что ты будешь делать, если тебя наградят второй Звездой? Ладно, как твой друг, я возьму ее себе. Пусть лучше буду болеть я, а не ты!

Мы посмеялись, потом разговор перешел в другое русло. Уж так заведено у людей: когда встречаются охотники, речь заходит об охоте, у рыбаков — о рыбалке. А шахтеры говорят первым делом о своей шахте. Так получилось и у нас. И зачинщиком стал все тот же Кайсар.

— Да что такое шестьдесят лет?.. Лишь теперь я понял, что наконец-то способен достать с неба луну. Я придумал новый метод прохождения забоя. Осталось кое-что уточнить, и вы ахнете, когда увидите, как все легко и просто...

— Смотри, чтобы не вышло, как в прошлом году, когда ты поймал мешок зайцев и одного серого волка, — напомнил ему с улыбкой Акшалов.

Его замечание вызвало у нас новое веселье.

Прошлой зимой Кайсар отправился на охоту. Два дня он бродил по заснеженной степи и вернулся с пустыми руками. Но когда его спрашивали про добычу, Кайсар, не моргнув глазом, отвечал:

— Да ничего особенного. Поймал мешок зайцев и одного серого волка.

— Как же тебе удалось такое? — дивились простаки. — Неужели ловил простым капканом?

— Капкан — это уже старо! У меня свой способ, — загадочно говорил Кайсар.

— Кайсар, расскажи. Не жмись, — просили простаки.

Поломавшись для вида, чтобы пуще растравить любопытство слушателей, Кайсар начинал:

— Придумать такое, конечно, мог только я. Вынес в поле шесть обожженных красных кирпичиков. Разложил их на снегу так, чтобы лучше было видно, и посыпал красным перцем. Зайцы, конечно, приняли издали кирпичи за морковку и бегом к моей приманке. Прибежали, попробовали на зуб: что за черт, твердо, не куснешь. И давай нюхать кирпичи. А перед, конечно, в ноздри. И зайцы начали чихать. И пока они чихали, я брал их за уши и бросал в мешок.

— А как ты волка поймал? Неужели на кирпичи?

— Нет, волк не такой простак, — говорил Кайсар, намекая на простодушие слушателей. — К волку нужен хитрый подход. Для него я вырезал из фанеры силуэт телянка и покрасил в бурый цвет. Поставил его на снегу, а сам залег за макетом. Лежу, жду. Наконец появился голодный волк и

так вцепился в фанеру, что мне пришлось тащить его домой вместе с макетом.

После этого простачки, сообразив, что Кайсар водил их за нос, смеялись, или, обидевшись, ругали последними словами его...

— Нет,— ответил Кайсар Акшалову,— на этот раз я не шучу. Стыдно будет, проработав на шахте четверть века, уйти и не оставить ничего после себя.

— А разве руды, что ты нарубил за двадцать с лишним лет, мало, чтобы люди помнили тебя?— возразил я Кайсару.

— Так-то оно так. И все равно, Сабыр, хочется сделать что-нибудь особенное. Чтобы долго еще говорили: «А, это придумал Кайсар, чтобы нам легче было работать. Ох, и голова был человек!»

— Что ж, попробуй, сынок. Может, у тебя и выйдет что. Только смотри, чтобы не получилось, как с «арбой Жакипова»,— снова засмеялся Акшалов.

Мы хорошо помнили эту историю. Однажды на шахту приехал некий ученый по фамилии Жакипов. Он привез идею «каретки» для бурения пород. При первом же испытании выяснилось, что «каретка» только усложняет работу. «Каретку» прозвали «арбой» и отказались от услуг Жакипова. А вскоре в Мысказган пришли слухи, что этот авантюрист уже побывал на нескольких шахтах, пытаясь внедрить в горное дело свою «идею», но каждый раз его «арба» не выдерживала даже первой проверки. Словом, Жакипов напомнил нам анекдот, в котором городская женщина, попав впервые в аул и увидев маленького верблюжонка, сказала: «Бедняга, он наверно, так хотел стать верблюдом, да не смог вырасти». Жакипову очень хотелось стать изобретателем, но он только вынуждал людей тратить на его бесплодную затею время и деньги. С тех пор у нас так и повелось: если кто-нибудь выдвигал авантюрное предложение, мы называли его «арбой Жакипова».

— Нет, Нуреке, я долго работаю над своей идеей,— возразил Кайсар без обиды. — Впрочем, довольно горбить над ней одному. Может, как раз вы мне и поможете. А то я, признаться, немного забуксовал.

Его идея показалась нам интересной, мы ушли с головой в ее обсуждение. Наша импровизированная конференция носила сугубо технический характер, и вряд ли стоит пересказывать здесь все, о чем говорилось в прениях. Достаточно сказать, что вошедшая в палату Батима не могла по-

пять, о чем мы спорим, горячась и перебивая друг друга. Она долго стояла у дверей, не замеченная нами, а потом с улыбкой сказала:

— Товарищи посетители, а не пора ли Сабыру-ага отдохнуть?

— В переводе с медицинского это означает: а ну-ка выметайтесь отсюда,— весело прокомментировал Кайсар.

— Я так не говорила,— смутилась Батима.

— Деточка, Кайсара надо знать,— ласково сказал Акшалов.— Но ты права. Нам тоже дорого здоровье Сабыра-ага.

Мои друзья стали прощаться:

— Быстрее выздоравливай, Сабыр. И вообще пошевеливайся, поменьше лежи.

— Будешь лежать, никогда не станешь здоровым.

— И не думай о болезни. Болезни придумали врачи.

Мои славные товарищи говорили мне это от души. Все они были еще физически здоровые люди, откуда им знать, что моя болезнь как раз требовала покоя. Даже Акшалов еще не имел дела с больницей.

Последним ушел Кайсар. Прежде чем оставить палату, он сказал Батиме:

— Дорогая Батеш, смотри: ухаживай за Сабыром как следует. Если быстро поставишь его на ноги, отдадим его тебе в мужья. Он — еще крепкий жигит. И видный к тому же. Любая красавица пойдет за такого.

Лицо Батимы вдруг залилось алой краской. Да и мне почему-то стало немного не по себе. Может, потому, что я знал, как неудачно сложилась личная жизнь Батимы.

Не зря говорят, что казашка понимает толк в шутке. Умеет отличить, где злой намек, а где добродушный юмор. И если шутка уместна, то, по обычаю, она может ответить тем же даже человеку, который намного старше ее.

Так и Батима, поняв, что в шутке Кайсара нет злого умысла, быстро нашлась и сказала:

— Кайсар-ага, вы не сможете отдать мне в мужья вашего друга, как бы я ни старалась, ни ходила за ним. Его сердце уже занято красавицей Акбаян.

— Вот как?— изумленно воскликнул Кайсар.— Это какая Акбаян? Уж не про бывшую ли жену Альжана ты говоришь?

Кайсар не притворялся. Оказывается, он ничего не слышал о моих отношениях с Акбаян. А я-то считал, что об этом знает весь город. О том же, что было когда-то у нас с

Акбаян, я не рассказал Кайсару. Он любил людей с сильным характером, которые если нужно, решительно рвут все связи. Конечно, он бы высмеял мою многолетнюю любовь, сочтя ее проявлением слабости.

— Ну, если это та самая Акбаян, тебе, Батеш, нечего бояться. Разве может разведенная соперничать с такой красавицей, как ты? Так что не теряй надежды. Вылечи его поскорей. А об остальном позабочусь я сам!

Кайсар попрощался и вышел.

— Вот и женили вас, даже не спросив,— сказала Батима.

Она хотела пошутить, но голос ее прозвучал как-то неловко. Я хотел смягчить эту почему-то возникшую неловкость, но ответил не лучшим образом:

— Ничего, Батеш, я не боюсь.

Батиме вдруг понадобилось занять себя.

— Разнесли стулья по всей палате,— пробормотала она.

Она поставила стулья: один к стенке, другой возле моей постели. Приоткрыла пошире окно и, придумав для себя что-то еще, вышла из палаты с самым озабоченным видом.

«Да, Кайсар — не советчик, он меня не поймет»,— подумал я. Разве может понять боль другого человека тот, кто не болен сам?

И вдруг во мне уже в который раз заворошилась эта гадкая, скользкая, как змея, ревность. Почему Акбаян не приходила в последние дни? Почему ее не было сегодня, когда ко мне разрешили пускать посетителей? Причину я узнал потом, когда выписался из больницы... А сейчас это мучило меня: «Почему? Что случилось?» А может, она приходила, но, узнав, что у меня товарищи, постеснялась и ушла? Об этом я мог бы спросить у Батимы, но когда она теперь зайдет в палату? И дернул же черт Кайсара пошутить над ней... Неудачней шутки нельзя придумать.

Настроение мое, прояснившееся с приходом друзей, начало тускнеть.

Батима пришла только перед ужином. Принесла, как всегда, лекарства.

— Ну как? Надеюсь, отдохнули после нашествия друзей? С непривычки это утомляет,— сказала она, положив на тумбочку вечернюю дозу лекарств.

— Все в порядке. Я чувствую себя хорошо, Батеш-жан,— сказал я, удивляясь самому себе.

Раньше я называл ее «сестренка» или «Батеш», а теперь вот лгтивно прибавил почтительное «жан».

— Батешжан,— опять начала я.— А больше никто... Знаете что, заходите ко мне после ужина. Ну, когда освободитесь от процедур. Я вам еще что-нибудь расскажу.

— Если не трудно, ту историю, про Садыка.

«Неужели Садык догадался о ваших целях?» — предположила Батима.

Мы тоже подумали об этом, когда я доложил Андрею о попытке подобраться к запасам аммонита. Уж слишком подозрительны были встречи с Садыком у склада взрывчатки. И если их еще можно было отнести на счет случайных совпадений, то вмешательство Садыка в мой разговор с унтер-офицером уничтожало последние сомнения. Он выслеживал меня, чтобы обезвредить. И своего добился.

Но Садык — я так и сказал Андрею — мог без особого напряжения догадаться, что за мной стоит подпольная организация. Кто знает, как поведет себя он дальше. Может, выжидает, надеясь получить более веские доказательства существования подполья?.. Словом, Садык опасен, я так и сказал Андрею. И добавил, что мы должны уни... уби... в общем — убрать предателя, это обязан сделать я. Пусть Андрей так и передаст руководству подполья.

— Почему — ты? И почему — обязан? — удивился Андрей.

— Да потому что я вызвал его подозрения! Мне бы действовать постепенно. Вначале попроситься на кухню, копышню, и уж потом... А я решил взять быка за рога: «Помоги устроиться взрывником». Кто же ищет легкой жизни на взрывных работах? Вот он и понял, что тут что-то не так.

Я бы мог добавить, что Садык поправ законы степей, бросил тень на честь своей сестры. И потому отомстить ему должен я — казах и человек, кому честь Акбаян дороже всего на свете...

— И все же не будем спешить, — сказал Андрей. — Жаль, что мне так и не удалось поговорить с этим парнем. В его поведении есть какая-то нарочитость. Открытый, почти мальчишеский вызов нам. Предатель, собиравшийся выявить подполье, играет в скрытую игру. Подождем, у нас есть время. К тому же казнь Садыка взбудоражит охрану, она поймет, что в лагере неладно. Но тебе, Сабыр, придется



быть вдвойне настоroje. И на время прервать с нами контакты.

А что же Садык? Поначалу и он таскал взрывчатку под присмотром конвоира. Но вскоре доверие, которым он пользовался у хозяев, сыграло свою роль, и комендант разрешил ему работать без конвоя.

Теперь я видел Садыка еще реже и только издалека. При этом все во мне закипало от бешеной ярости. Но запрет командира и солдата охраны, не сводящих с нас глаз, делали его недосыгаемым для моей мести.

К середине лета подкоп был доведен до конца. Но у нас по-прежнему не хватало взрывчатки. Кое-кто из нашей ячейки стал поговаривать: нельзя ли использовать подкоп для бегства из лагеря, если нельзя уничтожить ТЭЦ. Но Андрей, узнав об этом, собрал нас и доказал, что без взрыва электростанции нам все равно не удастся бежать — территория охраняется большим числом солдат. Словом, все опять упиралось во взрывчатку.

Сейчас трудно сказать, чем бы кончились наши попытки достать аммонит. Вскоре после того, как меня вернули в забой, произошло событие, изменившее в течение часа судьбы всех заключенных.

В этот день нам вдруг приказали прервать работу за несколько часов до конца смены и погнали наверх, на лагерьный плац. Здесь уже были выстроены те, кому предстояло спускаться в шахту в ночь. И снова, как в один из первых дней, я увидел солдат с собаками, начальство лагеря и шахты во главе с полковником Вантером и понял, что произошло нечто важное.

Охрана кричала на нас, грозила автоматами, лаяли осатаневшие псы. В ноздри била раскаленная от зноя пыль, поднятая нашими подошвами и уже невидимая в сгущающихся сумерках. Потом к Вантеру подошел один из младших офицеров и что-то доложил. Вантер махнул рукой, и вдруг все затихло. Головы немцев повернулись в левый угол плаца.

Оттуда показалась зловеющая процессия: четверо солдат вели человека, босого, в разорванной рубашке и галифе. Это был Садык. Уже ничего не осталось от вчерашнего красавца-жигита. Смуглое матовое лицо его было в кровоподтеках. Сквозь рваную рубашку проглядывали алые рубцы. И в отличие от вчерашнего Садыка, человека с неуверенным бегущим взглядом, этот гордо нес голову, смело глядя в глаза друзьям и врагам.

Садыка подвели к Вантеру, здесь процессия остановилась. Я стоял близко от них и потому увидел, как скрестились взгляды Вантера и Садыка. Эсэсовец не выдержал, повернулся к переводчику и раздраженно заговорил.

Это был град ругательств, взрыв бессильной злобы. В более-менее упорядоченном виде речь Вантера, обращенная к нам, выглядела так:

— Вы — неблагоприятные свиньи! Я взял вас, мерзавцев, на шахту и тем спас от голодной смерти в концлагере. Но вы ответили черной неблагоприятностью. Саботажем и диверсиями. Каждая тонная угля на две трети состояла из камня. Это лишнее доказательство, что вы представители низшей расы, и вас нужно стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Вы не достойны жить в цивилизованном мире. Потому что вы дикари! Вы хотите взорвать шахту, создание инженерной мысли! Этот азиат,— здесь Вантер указал на Садыка,— которому мы оказали свое высшее доверие, украд двести килограммов аммонита и купил у ротозея, который не достоин высокого звания немца и будет строго наказан, мину замедленного действия. Он скрывает, где спрятан заряд. Он отказался назвать сообщников. Поэтому я предупреждаю: если взорвется шахта, в ней прежде всего погибнут ваши товарищи. На этот случай мы оставили в шахте часть смены.

Вантер не запугивал, он говорил правду. Когда нас выстраивали на плацу, я заметил, что с нами нет некоторых наших товарищей.

— Послушайте, вы, негодяи!— продолжал между тем Вантер. — Вы скажете нам, где спрятаны взрывчатка и мина, или мы его расстреляем на ваших глазах. На размышление — пять минут!

К этому времени сумерки сгустились до черноты, над лагерем вспыхнули прожекторы, залили все мертвым белым светом.

Отпущенные нам минуты прошли при нашем гробовом молчании. Слышно было только, как переговариваются немецкие офицеры.

Я жадно вглядывался в лицо Садыка, стараясь понять, что же произошло. Почему я так ошибся, не поверил в человека, которому должен был верить до конца? И почему он скрыл от меня свои истинные цели? Но лицо Садыка было бесстрастно. Только больше обычного блестели глаза.

— Пять минут истекло,— сказал Вантер, под его серой сухой кожей возле губ вздулись желваки.— Что ж, я тоже

люблю поиграть в игру «кто кого пересилит». Теперь мы все сделаем наоборот. Послушай, азнат, новое условие игры. Тебе я тоже даю пять минут. Если ты не скажешь, где заряд, не назовешь сообщников, мы расстреляем десять твоих товарищей. Потом я дам тебе полторы минуты, и мы расстреляем еще десятерых. Не правда ли, остроумно придумано? А теперь выбирай!

Он поднял руку с часами. Обер-лейтенант подал команду, и солдаты, стоявшие против нашего правого фланга, подняли автоматы. Садык ничего не сказал. Лишь скосил глаза к часам полковника. Словно слушал заворуженно, как уютно постукивает механизм, скрытый в часах. Но потом Садык медленно провел по лицу рукой, точно снимая невидимую маску. Мне этот жест был знаком едва ли не с детства.

Рука Садыка соскользнула с подбородка, и почти одновременно с этим, словно он подал знак, там, за колючей проволокой, где стояла теплоцентраль, прогремел могучий взрыв.

Под ногами дрогнула брусчатка, где-то рядом прозвело стекло, выбитое взрывной волной. Лагерь погрузился в темноту.

Охрана, состоявшая из тыловиков, заметалась впопыхах.

— Товарищи! По мере разоружайте охрану! Уходите группами, по нашему плану! — послышался чей-то властный голос.

Да, каждая ячейка знала, как и когда уходить после взрыва электростанции. Только никто не думал, что этот момент наступит так скоро и так неожиданно.

Андрей тронул меня за локоть:

— Пошли!

Но мое внимание было приковано к центру плаца, скрытому сейчас темнотой. Я уловил среди криков, лая и топота несколько одиночных выстрелов, раздавшихся там, где я в последних лучах прожекторов видел Садыка.

— Меня не жди, уходи, — бросил я Андрею.

Я кинулся в темноту и наткнулся на Садыка. Он лежал на боку, скрючившись. Видимо, пуля попала ему в живот. Я встал перед ним на колени, осторожно перевернул на спину.

— Садык! Ты слышишь меня? — позвал я его.

— Сабыр, это ты? — откликнулся он сквозь сжатые от нестерпимой боли зубы.

— Я тебя унесу. На свободу. Ты только потерпи,— говорил я, приподнимая его за плечи.

— Не надо, Сабыр. Мне уже крышка. Беги, не теряй времени,— шептал Садык.— Вернешься домой, передай привет... Передай маме, сестре, что я сделал все, как нужно.

Было темно, но я чувствовал, что он слабо улыбается.

— Почему же ты нам ничего не сказал? — спросил я, едва не плача.

— Боялся, что мне вы не поверите. Сын бывшего бая на службе у врага... Надо было сразу все сказать, в самом начале. Потом было поздно. Даже ты мне не поверил... Теперь все позади... Беги, Сабыр... Тебе надо жить. Тебя ждет Акбаян!.. А я...

Садык хотел еще что-то сказать, но в горле у него застряло, и он замолк навсегда.

... Мы бежали среди суматохи, беспорядочной пальбы. Перелезли через проволочные ограждения, ставшие безопасными после того, как отключился электрический ток, и ушли в лес, расположенный в трех километрах от города.

Всю ночь мы шли через лес, петляли по ручьям, чтобы оторваться от погони и сбить со следа собак. И только днем, когда мы прятались в глубоком, заросшем кустами овраге, я вернулся к мыслям о Садыке. Рядом лежали в тяжелом полуобморочном сне мои товарищи, а я думал о том, что Садык поступал логично, когда брал на себя мою задачу. Ему было легче совершить то, что для меня пока оставалось невозможным. Я представлял, какое отчаянье, наверное, охватывало его временами, ведь ему пришлось бороться в одиночку...

Не буду рассказывать, как наша маленькая группа по ночам пробиралась в сторону Польши. Это был долгий опасный путь, который требует особого рассказа. В конце концов мы, потеряв две трети своих товарищей, оказались на польской земле. Здешние патриоты помогли нам добраться до района, где действовал отряд партизан. То, что нам удалось совершить, называли чудом. Когда нас привели в землянку бородатого партизанского командира, нашей радости не было предела. И все же рядом с радостью на моем сердце лежал тяжелый груз — моя вина перед Садыком...

— Сабыр-ага! — сказала Батима. — Не мучайте себя. Тут ошибиться мог каждый. Это же были особые обстоятельства. Голод, отчаяние, непроходящая угроза смерти.

— Но он-то мне верил! — с горечью возразил я.

Батима решила меня отвлечь от грустных размышлений.

— А что было дальше?

— Спасибо, Батеш. Впоследствии я воевал в рядах регулярной армии, вместе с Андреем — плечом к плечу. Командование не раз награждало нас боевыми орденами. А мы и вправду воевали, не жалея себя. Хотелось отомстить за Садыка, за многих наших товарищей. Мы прямо-таки мечтали встретиться с Вантером, чтобы собственноручно передать его в руки правосудия. Но война, точно океан без конца и края, захлестнула народы и страны, где тут найти одного человека... А потом я был тяжело ранен. Меня отвезли в тыловой госпиталь. Балансировал я, можно сказать, на веревочке между жизнью и смертью. А моим врачом была Татьяна.

— Так вот как вы познакомились!

— Мало сказать — познакомились. Она спасла меня, подарила жизнь. Не на блюдечке, конечно, с голубой каемочкой. Ей здорово пришлось повозиться со мной, прежде чем она вернула меня с того света на этот...

— Значит, вас связывала не только любовь, — задумчиво произнесла Батима.

— Да, не только, — подтвердил я.

Батима умолкла, видимо стараясь понять, что же соединяло Таню и меня. И я тоже погрузился в размышления. Что делать человеку, прикованному к постели, как не анализировать то, что он делал, когда мог свободно двигаться по земле?..

Да, Таня вернула меня к жизни. А что такое жизнь? Форма существования белка? Что еще? Таня над этим не думала. Она была врачом и боролась за мою жизнь. И победила — я живу! А сколько я проживу еще? Этого никто не знает. Да это и не имеет значения. Важно не «сколько», а «как». Может быть, в наше время ученые придумают чудодейственный препарат, и я проживу тысячу лет. Но будет ли тысяча лет равноценна коротенькой двадцатилетней жизни Садыка? Вот в чем вопрос, Сабыр Шакиров!

Каких только мы не встречаем в жизни людей: и хороших, и плохих! Многих мы потом забываем. И лишь немногие остаются в нашей памяти навсегда. Облик таких людей точно отлит из золота. И не потому, что золото — драгоценный металл, а потому, что оно не тускнеет. Оно теплое,

точно живое... Таким стал для меня Садык. И когда мне предстоит принять трудное решение, я думаю: «А как бы на моем месте поступил он?» Закрою глаза, и передо мной, как в юности, встает образ Садыка: высокого, статного очень похожего на Акбаян, но с мужественными чертами лица. И звучат в ушах его последние слова: «Вернешься на родину, передай привет...»

Я знал, кому он хотел передать свой привет. Среди дорогих Садыку людей была и девушка по имени Сакупжамал. Или Сакиш, как ласково звал ее Садык, — темноликая девушка с полными губами и смеющимися глазами.

Я уже говорил, что Садык подтрунивал над моей пылкой любовью к его сестре. И за Сакиш он ухаживал будто бы шутя. Но любому было ясно, что она бесконечно дорога ему. Однажды, задетый его шутками, я сказал:

— Садык, признайся, ведь и ты влюблен по уши.

— Это в кого же? — притворился удивленным Садык.

— В Сакиш.

— Ну, что ты, Сабыр? Любовь проявляется только в испытаниях. Разве это любовь, если в жизни все легко и просто?

Мой гордый самолюбивый друг, видно, считал, что настоящему жигиту не следует выдавать свои чувства. А Сакиш никогда не скрывала своей любви к Садыку. Ее глаза, улыбка говорили всем: «Да, я люблю его. Смотрите, как я счастлива». Перед нашим отъездом на фронт она сказала:

— Сабыр, если с ним что-нибудь случится я, наверное, не проживу и дня.

И лежа в госпитале, в Караганде, я не раз думал: как живет Сакиш? Достоянна ли она памяти Садыка?

Когда после лечения я приехал в Мысказган, Сакиш пришла ко мне, и я рассказал, как ее жигит пожертвовал жизнью, чтобы помочь своим товарищам и отомстить врагу. Сакиш рыдала, закрыв лицо руками. Пошатываясь, выходила она из моего дома. Я не задерживал девушку, первые минуты горя человеку надо пережить наедине с собой. Но потом я спохватился, вспомнил, как Сакиш говорила, что не переживет смерть Садыка...

К счастью, Сакиш ничего не сделала с собой. Только стала тихой, молчаливой. А через несколько дней уехала из Мысказгана. Куда, я толком так и не узнал. И со временем забыл о Сакиш, как забывают о потухшей звезде. Она и вправду была звездой, светившей Садыку. Казалось, не стало Садыка — погасла и его звезда.

И только в прошлом году мне снова и совершенно случайно пришлось увидеть Сакиш. Это было в Алма-Ате, куда я приехал по делам своего греста. Я отсидел на долгом совещании и решил пройтись до гостиницы пешком, подышать свежим воздухом. И тогда-то на улице меня окликнул Сарсен, с которым я когда-то учился в школе и которого уже не видел бог знает сколько лет. Даже с первого взгляда было заметно, что мой бывший одноклассник преуспел в жизни. На нем были отличный серый костюм, модные туфли, очки в золотой оправе. А руку Сарсена оттягивал роскошный толстый портфель из крокодиловой кожи. Но главным свидетелем его благополучия было выражение спокойствия, излучаемое, кажется, каждой клеточкой его лица.

Нас никогда, в общем-то, ничего не связывало, но мы все равно обрадовались встрече. Сарсен пригласил меня к себе домой. По дороге он коротко рассказал о себе, о том, что после школы закончил политехнический институт, а недавно защитил докторскую диссертацию. Я попытался вспомнить, слышал ли его фамилию в связи с последними научными достижениями, но не вспомнил и пожалел, что мало слежу за развитием науки.

А Сарсен уже рассказывал о своей семье.

— Жена, между прочим, наша, мысказганская,— заметил он, понимая, что для меня это будет суюнши — приятная весть.

И он принялся расхваливать жену.

Мы остановились около многоэтажного дома, окруженного газоном, тополями и березами.

— А здесь я живу,— возбужденно сообщил Сарсен.— Между прочим, этот дом построили по спецпроекту. И горсовет выделил четыре квартиры для Академии наук. А одна из них, как видишь, досталась твоему покорному слуге.

На наш шум в прихожую вышла миловидная моложавая женщина. Лицо ее показалось мне знакомым.

— А это и есть моя Сакиш,— сказал Сарсен.

И имя ее напомнило мне что-то давнее, полузабытое. Я было вознамерился спросить, где же мы виделись, но Сарсен уже под руку вел меня по квартире, где падал блистал такой чистотой, точно его только что тщательно вылизали кошки.

Хозяин вел меня из комнаты в комнату, точно экскурсовод, обращая мое внимание на импортную мебель и ковры ручной работы. Из кухни доносился аромат свежего молодого мяса, приготовленного в духовке.

Когда мы добрались до столовой, нас ожидал накрытый стол и улыбающаяся хозяйка.

«Сакиш, Сакиш», — я мысленно перебирал имена в картотеке своей памяти. Кого же мне напоминают это имя и эти, казалось, вечно смеющиеся глаза?

— Ой-бой, Сабыр-ага, вы не узнали меня?

Теперь я узнал ее. Но она была так непохожа на ту далекую девушку, которая когда-то горько рыдала, услышав о гибели Садыка... И время, и семейное счастье изменили Сакиш. А мне почему-то казалось, что все свои годы она должна провести в печали.

«Ну что же, — заметил я себе философски, — жизнь должна идти своим чередом».

Меня усадили за стол. Я попытался вновь расспросить Сарсена о его научных делах, но тот по-прежнему отмахивался от серьезного разговора и с упоением болтал о дефицитном тряпье, которое где-то можно достать, о связях в торговом мире... Я понял, что рядом со мной сидит типичный обыватель, для которого вещи стали смыслом жизни. Может быть, там, в своем исследовательском институте, он и вел полезную, нужную работу, но ближе, родней ему был этот мир сервантов, сервисов и дефицитных тряпок.

Я присматривался к Сакиш. Она была счастлива. Мир мужа был и ее миром. Когда он в упоении разворачивал передо мной свои убогие житейские планы, ее глаза возбужденно блестели. Именно она, Сакиш, с гордостью сообщила мне, что еще немного, и они купят автомобиль.

Я отказался от второй чашки чая — он казался мне теперь ядом, — распрощался с хозяевами и, сославшись на занятость, ушел.

— Вот как в жизни бывает: война, тяжелое ранение. А в результате вы познакомились с чудесным человеком. С Татьяной, — задумчиво произнесла Батима.

— Тут вы ошиблись. Я знал ее раньше. Еще до войны, — сказал я и улыбнулся, увидев удивление Батимы.

Бог ты мой, как легко заинтриговать женщину! Только опусти полог палатки, и она сразу решит, что за пологом спрятали тайну.

Я поднялся и побежал через улицу. Слева и справа от меня тяжело топали солдаты нашего взвода. Мне нужно бы-



ло только добежать до развалин дома и там залечь. Но немедкий пулеметчик успел. Он полоснул по улице из своего МГ и подсек мне обе ноги. Но все равно я бы мог считать себя везунком, потому что кости остались целы. Если бы в раны не попала грязь и не началась гангрена. Обнаружилось это уже в санитарном поезде...

От сильного жара я был в бессознательном состоянии и не помнил, как меня везли со станции в госпиталь, несли на носилках по коридору, укладывали на кровать. Долго я ничего не помнил, ничего не понимал. А когда пришел в себя и начал соображать, увидел склонившуюся надо мной молодую белокурую женщину. На который это было день — на второй, третий, десятый — не знаю.

— Здравствуй, Сабыр. Ну, самое страшное позади. Будешь ходить на собственных ногах,— сказала женщина, счастливо смеясь, как будто речь шла о ней самой.

Я еще тогда не знал, что хирурги собирались ампутировать у меня обе ноги, но Татьяна настояла на консервативном лечении.

— Вы меня, конечно, не узнаете. Впрочем, вам сейчас не до того,— сказала она, поправляя мою подушку.

Голова у меня была тяжелой, точно ее отлили из чугуна.

— Почему же, я вас узнал,— сказал я, еле ворочая языком,— вы Татьянажан, Таня, Танюша.

«Татьянажан, Таня, Танюша»,— так на все лады звали молодого врача за ее мягкий добрый характер у нас, в Мысказгане. Но у меня, кроме того, были и личные причины, заставившие вспомнить ее. Это она, Таня, была вместе с Альжаном, когда он заинтересовался Акбаян. И все, что было в тот роковой для меня вечер, запомнилось мне до самых мелочей.

— Значит, ноги целы? Спасибо. А где я? Какой это город?— спросил я, пытаюсь оторвать голову от подушки и осмотреться.

— Лежите, лежите. Вы в Караганде,— ответила Татьяна, положив на мой лоб прохладную ладонь.

Я молча закрыл глаза. Вот я и дома. Там, в Германии, не было у меня большей мечты, как поцеловать горсть степной земли. На нашей планете все края хороши, но нет для человека краше его родного края, пусть он даже на вид суровый и неприветливый. Не было, наверно, у нас в палате в этот момент человека счастливей меня!

И голова моя уже не чугунная, не чужая! Будто я обрел заново жизнь.

— Когда вас привезли, я написала в Мысказган. И сегодня уже приходили ваши земляки. Справлялись о вашем здоровье.

Мне казалось, что голос ее доносится откуда-то с небес, куда некогда принято было помещать добрых ангелов, настолько я одурел от радости.

— Кто же это был? — спросил я, уже не удивляясь очередному сюрпризу.

— Ваша старая знакомая Акбаян вместе с мужем.

Я таял, точно сахарный. Столько радости за один день: ноги, Караганда и вот теперь Акбаян. Так и спятить недолго!

— Вы говорите — с мужем? — спохватился я.

— Его зовут Альжан Бекенов. Может, вы его помните? Он был главным инженером на шахте, когда вы уезжали на фронт. Альжан просил передать вам самый сердечный привет.

Значит, произошло то, чего я боялся: она вышла замуж. И оттого, что я все время этого с тревогой ждал, сам факт не произвел на меня особого впечатления. Все годы войны я жил надеждой на то, что произошло недоразумение, что на самом деле моя золотая птица ждет меня. Надежда жила во мне, я за нее цеплялся, как за спасательный круг. И она спасала меня. Но теперь, когда я оказался вне опасности и будто бы исчезла необходимость в ней, она растворилась, точно мираж.

— Акбаян обещала вам написать, — сказала Татьяна.

О чем она может теперь написать? Или она разочаровалась в Альжане? Но почему они приходили вместе, и с какой стати тогда он шлет мне сердечный привет?

Все последующие дни я уговаривал себя, что Акбаян мне уже безразлична, и в то же время тайно ждал письма.

Оно пришло недвоя через две, когда я уже встал с постели и ходил в столовую сам, без чужой помощи.

«Сабыр, — писала Акбаян. — Недавно заходила к тебе вместе с мужем, с моим ерем...»

Стоп! Что она пишет? Ведь ерем называют седло. Если Альжан — седло, значит, она, Акбаян, ходит под седлом. Что это — жалоба или самоунижение?

Но тут же я горько усмехнулся, подумав, что слово «ер» может обозначать и мужество, смелость. И Акбаян хотела сказать, что муж ее именно такой удалец.

«Я получала письма, которые ты писал с фронта, — продолжала Акбаян. — Но не могла ответить тебе. Не хотела

причинять тебе боль. На фронте и без того тяжело. Но теперь ты, наверное, успокоился, и я решила тебе написать. Что у меня нового? Я вышла замуж за Альжана Бекенова, ты, возможно, помнишь его. Он был главным инженером на вашей шахте. Мы с ним живем хорошо. В Мысказгане за эти годы многое изменилось. Недавно у нас созданы три треста, Альжана назначили управляющим одного из них. Я так и не поступила в институт. Не до этого было. У мужа ответственная работа, и мой долг сделать дома все, чтобы он мог как следует отдохнуть. Да, признаться, и не очень хотелось учиться. Жизнь коротка, и какой смысл просиживать ее за учебниками, если диплом мне вряд ли понадобится? Пока жив Альжан, у меня будет все, что нужно. О твоих друзьях, которые ушли на фронт, мне ничего не известно. Остальные так и работают простыми рабочими на шахтах. В общем, звезд с неба не хватают. Приедешь, увидишь сам.

Вот и все. Мы с Альжаном желаем тебе скорого выздоровления.

Акбаян».

Я перечитывал письмо раз за разом, пытаюсь найти между строк хоть искорку тепла. Но письмо напоминало официальное уведомление. Акбаян понимала, что должна многое мне объяснить, и выбрала самую безопасную (для себя, конечно) форму. После этого письма я не спал всю ночь. Даже пустил, как говорят, скупую мужскую слезу. И хорошо, что никто не видел, как плачет мужчина, не раз встречавшийся на фронте со смертью. А все дело в том, что лишь теперь я понял, что потерял Акбаян. Нет, наверное, ничего хуже сознания, что ты обманывал эти годы сам себя. Любил придуманного тобой человека. Моя золотая птица просто-напросто оказалась черной вороной, жаждущей мяса. В моей душе хранилось много слов, точно сотканых из жемчуга и бриллиантов. Но теперь не было той, которой бы я мог их отдать.

Утром, совершая обход раненых, Татьяна заметила, что со мной не все ладно. Она посмотрела на температурный лист, проверила пульс.

— Сегодня вы не нравитесь мне. Что-нибудь случилось, Сабыр?— спросила она, вглядываясь в мое лицо.

Я ответил на ее вопрос вопросом:

— Скажите, Таня, что за человек Альжан?

— Не имею представления. Я встречалась с ним только

по нашим больничным делам. Но как работник он энергичен. Что еще?.. Говорят, инженер неплохой...

— Я думал, вы знаете его ближе.

И тогда на лице Татьяны появилось выражение «ах, вот вы о чем». Она вспомнила тот вечер, когда они с Альжаном увидели нас с Акбаян.

— Вы решили, что у меня с ним было свидание? Нет, мы говорили о чем-то, связанном с шефством. Ваша шахта шефствовала тогда над нами.

— И все-таки не может быть, чтобы Альжан не пытался за вами ухаживать,— сказал я, чуть ли не торжествуя.

В моем представлении он рисовался таким опытным соблазнителем.

— Не пытался.

— Не может быть! — повторил я.

— Мы просто погуляли по поселку, разговаривали о делах. А в остальном... Просто мы слишком разные люди. Он мне еще при первой встрече пришелся как-то не по душе. Ведь говорят же у вас, что верблюда не спрячешь под ковром, плохого человека можно узнать за один вечер. С первого взгляда рождается не только любовь, но и неприязнь тоже. Он, кажется, почувствовал это.

— Вот видите. Вы сразу раскусили, что он плохой человек.

— Я этого не говорила. Я имела в виду неприязнь,— поправила меня Татьяна.

— А Акбаян этого не видит! — с горечью сказал я.

Татьяна вновь бросила на меня пристальный взгляд.

— Но, может, Акбаян попросту не хочет этого видеть? Ведь недаром говорят, что мы, женщины, созданы, полные загадок,— пошутила она.— Одни доступны для зубов, как спелое яблоко. Другие тверды, как орех. И чаще кажется, что женщина — яблоко, а на самом деле она — крепкий орешек... И потом, каждый человек смотрит по-своему на любовь, ищет в ней то, что нужно именно ему...

— Да, это так. Каждый на свой лад трактует такое понятие, как любовь.

— Сабыр, вы, наверное, любите Акбаян? Если бы я знала, что вы... — смутилась Татьяна.

— Ничего подобного. Для меня она просто сестра моего погибшего друга.

Этим я, наверное, убедил ее только в обратном.

— Тогда перестанем говорить об Альжане. Это слиш-

ком волнует вас. Лучше будем радоваться, что у вас все идет хорошо.

И вот тут у меня сдали нервы. Выплеснулось все, что накопилось за эти годы: и плен, и война, и неудачная любовь.

— А я не хочу, чтобы шло хорошо! И на кой черт мне теперь ноги? Зря вы старались, доктор! Зря старались!

Не помню, долго ли еще я нес этот бред. Впоследствии мы с Татьяной никогда не говорили об этой вспышке, буд-то ее не было. Но тогда я утратил над собой контроль. А в роли мишени оказалась ни в чем не повинная Таня.

— Успокойтесь, Сабыр, успокойтесь,— мягко уговаривала она.— У вас что-то случилось, и вы сами не отдадите отчета в своих словах.

— Нет, это вы!.. Откуда у вас право вмешиваться в мою жизнь? — кричал я, но уже в глубине души понимал, что говорю обидные, несправедливые слова человеку, никак не заслужившему их.

— Хорошо, Сабыр, я уйду. Только не нервничайте так,— сказала Татьяна, слегка побледнев.

Она круто повернулась и вышла из палаты.

И надо же, чтобы все произошло на глазах у моего соседа! Этот добродушный украинец ждал выписки и почти все время проводил в коридоре в обществе выздоравливающих ребят. А тут он, точно специально, пришел к концу нашего разговора.

— Эх, ты! Обругал душевную женщину, а она так для тебя старалась. Какой же ты шахтер без ног? Ведь она сама колола тебя как его... этим пенициллином...

А мне и без его упреков уже стало стыдно. Я молчал, отвернувшись лицом к стене.

То ли Татьяна обиделась, то ли не хотела раздражать меня, а может, у нее и вовсе были служебные причины, только она не появлялась в нашей палате около десяти дней и вместо нее к нам приходил другой врач. Какими словами я не обзывал себя! Мысленно говорил: «У тебя беда, но какое ты имел право оскорблять человека? Сейчас идет война, и сколько таких, как мы, бедолаг в одном только нашем госпитале? У одного — одно, у другого — другое, и если каждый начнет срывать свое горе на врача?..»

Я спросил у медсестер, почему нас лечит новый врач, и те отвечали, что Татьяне сейчас приходится много работать в операционной,— в госпитале не хватает хирургов, а поток раненых растет. Да и каждому, кто следил за собы-

тиями на фронте, становилось ясно, что наши армии ведут крупные наступательные операции. А где наступление — там и жертвы. Это закон войны.

Я попытался подкараулить Татьяну в коридоре, неподалеку от операционной. Но каждый раз она проходила мимо такая усталая, что у меня не поворачивался язык, чтобы ее остановить. Я понимал, что лучшее сейчас для нее, — добраться до постели и заснуть. И чем чаще я думал о ней, тем больше росла у меня симпатия к этой славной девушке.

Наверное, так часто бывает: когда много думаешь о приятном тебе человеке, симпатия перерастает в более глубокое чувство. Так получилось и у меня с Татьяной. Я стал чувствовать, что она мне нужна. Я думал о ней, мысленно воскрешал ее образ, улыбку, поворот головы. Я обидел ее, ранил, и это заставляло, кроме чувства вины, испытывать к ней и нежность, нежность к существу, которое, как мне казалось, и защитить-то некому.

А потом наступил день, когда Татьяна вошла в нашу палату. Она переходила от одной койки к другой, расспрашивала раненых, прослушивала их через стетоскоп, измеряла давление. А я ждал, когда же наступит мой черед. И вот Татьяна передо мной.

— Здравствуйте, Сабыр. Как вы себя чувствуете?

В ее голосе не было и тени обиды.

— Таня, — взмолился я. — Простите меня, ради бога. Я понимаю, чего вам стоило поставить меня на ноги. А я вместо того, чтобы сказать спасибо, повел себя, как последний... последний...

Пока я подыскивал подходящее слово, Татьяна перебила меня:

— Обо мне не думайте, Сабыр, — улыбнулась она, — вам ведь нелегко было тогда, верно? Но с отчаянием нужно бороться. От того, что вас мучает, вы должны излечиться сами. Тут медицина бессильна.

Она догадалась, что моя истерика связана с приходом Акбаян. С моей любовью к этой женщине.

— Вы думаете, от этого можно излечиться? — недоверчиво спросил я.

— Не знаю, — чистосердечно призналась Татьяна. — Но вы молоды, полны сил. А молодость может избавить человека от многих болезней. Только надо помнить, что жизнь еще только начинается. Она вся впереди.

— Доктор, а что у него? — вмешался мой не в меру любознательный сосед.

— Как вам сказать. Медицина еще не нашла этому объяснения, — пошутила Татьяна.

— А-а, — уважительно протянул он.

Татьяна была права. Стрдание — это серая змея, которая прячется внутри тебя и грызет, грызет. Избавиться от нее можно только вместе с причиной, приносящей горе. А если сделать этого нельзя? Тогда человек привыкает к своему страданию. Оно точит и точит, но ты притворяешься, ты не хочешь замечать его. И порой так оно и кажется на самом деле, будто у тебя все хорошо. Пока змея вдруг снова не напомнит о себе...

Так было и со мной. Я заставлял себя забыть Акбаян. Даже самое имя ее. И все чаще, словно для самозащиты, произносил другое — Татьяна, Таня, Танюша... «Что с тобой? — спрашивал я себя. — Не ты ли считал, что любовь вечна? Неужели ты перестал любить Акбаян? И так скоро полюбил другую?» — «Акбаян умерла для меня, — отвечал я себе. — И я не теленок, которого можно обмануть, показав вместо телки свернутый тулуп. Моя жизнь начинается заново».

А начинать новую жизнь — значит и полюбить заново, потому что нет жизни без любви. Мне тогда и вправду казалось, что благодарность к Татьяне, желание видеть ее — это и есть любовь. И даже не верилось, что мне так повезло...

Конечно, новая любовь (пока я буду называть ее так) не сжигала меня огнем, как это было с Акбаян. Она была ровной, спокойной. Я объяснял разницу тем, что раньше был горячим юнцом, а теперь стал умудренным жизнью солдатом, испытавшим и опасность атак, и муки плена, и женское коварство. То есть человеком, понимающим, что есть что.

Для жигита, не раз побывавшего в объятиях смерти и принесшего раны с войны, нет лучшего лекарства, чем любовь. Мои дела быстро шли на поправку. Я просил выписать меня раньше времени и отправить на фронт. Но медсестра сказала, что, по мнению врачей, мне еще нужно недельку полечиться. Мол, последствия гангрены дают себя знать.

Я не поверил и отправился с жалобой к Татьяне.

Она сидела в ординаторской одна, заполняя очередную историю болезни. Вид у нее был до того усталый, что у меня даже сердце оборвалось.

Но я пришел уговорить ее, чтобы она помогла мне отправиться на фронт. У меня еще было много счетов к фашистам, я не имел права сидеть в палате за партией шахмат или гулять по аллее госпитального парка.

Татьяна выслушала мою горячую речь и, не поднимая головы, сказала:

— Сабыр, ты еще вчера должен был выписаться из госпиталя. Но я настояла, чтобы тебя оставили еще на неделю.

Мне показалось, что я ослышался. Врачи считали, что с моим здоровьем уже все в порядке, а Татьяна, именно Татьяна, задержала меня на целых семь дней! И это когда я рвался на фронт, а в госпитале раненые лежали не только в палатах, их койки стояли даже в коридорах второго и третьего этажа!

— Почему вы это сделали? — спросил я, ничего не понимая.

Вот теперь она взглянула на меня и просто сказала:

— Да потому, что я очень дорожу вашим здоровьем.

Это прозвучало как объяснение в любви. Я растерялся, но затем моя рука невольно, сама собой, прикоснулась к ее волосам, погладила их.

— Какие мягкие волосы!

Она взяла меня за руку и прижалась к ней горячей щекой. Я наклонился над ней, повернул ее лицом к себе и поцеловал в губы. Она слабо ответила мне. Потом я прижал ее голову к своей груди.

— Как бьется у тебя сердце, — сказала она. — То быстро-быстро, то будто его совсем нет.

— Доктор, это плохо? — спросил я, изображая тревогу.

— Вообще-то да. Тем не менее за этот случай, больной, я почему-то спокойна, — ответила она шуткой. — Но будет лучше, если вы сядете на этот свободный стул.

Позже она признается мне, что я понравился ей еще перед началом войны, когда она приехала в Мысказган, а я по поручению комитета комсомола пришел попросить ее выступить с лекцией перед нашей молодежью. Но об этом она расскажет потом, а пока мы сидели друг перед другом — врач и пациент, пришедший на прием, — и молчали.

— Я должен выписаться как можно скорее, — сказал я, поднимаясь.

— Хоть завтра. Но на фронт тебя все равно не пустят. Пока. Придется месяц-другой побыть у родных. Как видишь, моя вина не так велика, — сказала она с грустной улыбкой.



Так оно и получилось. Прямо из госпиталя я отправился в военкомат. Просил, стучал кулаком по столу. Но мне твердили, что здесь люди ничем не хуже меня, тоже рвутся на фронт, но если нельзя, так нельзя, и с моими документами один только путь — на отдых к родителям. Вот поправлю здоровье, тогда будет другой разговор.

В тот же день Татьяна проводила меня на вокзал, я сел на поезд и приехал в Мысказган. Как описать радость родителей, чей единственный сын вернулся с фронта живым?.. Счастливой их суеде не было конца, они выставили на дастархан все запасы и позвали гостей.

Наверное, каждый представит, как проходил наш семейный праздник, что говорилось за дастарханом, сколько счастливых слез было пролито.

Я сидел на почетном месте и поглядывал на дверь, ожидая, что вот-вот войдут мать Садыка Бибигайша и Акбаян. Весь путь от Караганды до Мысказгана меня мучила мысль: как рассказать им о гибели их сына и брата. Эта печальная обязанность тайно от других точила меня, омрачала радость встречи с родными и близкими. Но они все не появлялись, хотя весть о моем возвращении уже облетела всех наших знакомых. И гости шли один за другим. Не было только Бибигайши и Акбаян.

Мать заметила мое состояние и тихонько спросила, что меня беспокоит. Когда я признался, она вздохнула:

— Не жди их, сынок. Мать Садыка умерла еще в прошлом году. А сестра его... Она вряд ли придет в дом простого шахтера. Она теперь очень важная дама. Еще бы: ее муж руководит целым трестом.

Я не поверил, чтобы именно такая причина удержала Акбаян. Скорее всего, она считала, что у нас с ней все в прошлом и теперешние наши отношения не требуют спешки. К тому же откуда ей знать, что я был свидетелем гибели ее брата? Как бы то ни было, Акбаян не пришла ни в этот, ни на другой день. А меня наперебой звали в гости. И каждый раз, сидя в кругу знакомых и чужих людей, я рассказывал о Садыке. Трудно скрыть плохую весть, она проползет даже в щель, а у доброй легкие крылья, о ней нет нужды трубить по всему свету. Так и весть о подвиге Садыка быстро обошла весь Мысказган. Долетела она, видимо, и до Акбаян, и та вместе с Альжаном как-то пришла ко мне.

Это произошло вечером. Отец ушел на склад, где работал сторожем, а мать-уборщица еще не вернулась из инке-

лы. Да и я сам не спеша собирался в дом своих старых друзей. Ну, а поскольку пришли свои собственные гости, пришлось отложить визит.

Я усадил их за стол, начал готовить чай, а сам исподтишка рассматривал Акбаян. Между нашей последней встречей и сегодняшним днем лежали годы. И какие! Годы войны. Война наложила свою печать на лица и повадки людей. Но эта супружеская пара выглядела так, словно всенародное горе прошло мимо нее. Смуглое лицо Альжана, как показалось мне, стало еще надменней. А светлоликая Акбаян, можно было подумать, занималась только своей красотой. Она стала еще женственней, в больших глазах ее, черных, как смородина, появилась уверенность, свойственная женщинам, знающим себе цену. И вырядилась она так, словно жизнь ее была сплошным праздником. На ней красовались пуховый платок, шерстяное платье с черным лисьим воротником и белые изящные сапожки.

Теперь-то я понимаю, что мной руководила неприязнь к этой паре, и обвинять ее в том, что она жила не так, как все советские люди,— у меня не было оснований. Альжану, руководителю крупного треста, конечно, пришлось работать не покладая рук. Фронт требовал от тыла предельных усилий. А что касается Акбаян, то она еще больше похорошела потому, что таков уж закон природы: она вошла в пору, когда красота женщины становится зрелой. И что зазорного в том, что на ней было модное платье? Было бы странно, если бы жена управляющего трестом ходила в таком платье, в каком когда-то бегала девчонкой.

Я знал, что рано или поздно встречу с Акбаян, и боялся, что потеряю от волнения голову. Но получилось так, что я отнесся к ее появлению спокойно. Мое сердце билось ровно, а голос звучал сухо, как будто ко мне пришли незнакомые люди.

И я вновь, в который уже раз, рассказывал о Садыке. Акбаян кивала головой, прикладывала к глазам носовой платок и говорила: «Конечно, Садык не мог поступить иначе». Когда рассказ дошел до того места, где взрывается теплоцентральный, Акбаян бросила на мужа горделивый взгляд, словно желая сказать: «Вот видишь, какой у меня брат».

Я ждал от Акбаян потока слез, но она только всплакнула немного. Видимо, уже свыклась со смертью Садыка, и мои воспоминания лишь всколыхнули давно улегшуюся боль.

Когда Акбаян, смахнув в последний раз слезу, спрятала платочек в сумку, Альжан, вступая в разговор, спросил у меня:

— Тебя вчистую списали?

— Надеюсь, что нет. Сказали, месяца через три, если все будет хорошо, можно и на фронт. Но я подожду недели две и сам пойду на комиссию.

— А зачем торопиться? — удивился Альжан. — Победа уже не за горами. Пока ты доберешься до фронта, фашисты протянут лапки. Помочь нашей армии можно и здесь. Если чувствуешь себя ничего, иди к нам на шахту. Сейчас тыл что фронт. А у нас не хватает рабочих рук. Мы люди не гордые, но можем сказать, что девять из десяти пуль, которые вы там посылали во врага, отлиты из казахстанского металла. А медь идет и наша, из Мысказгана.

— Ну, медь вы добывали и без меня. А мое место на фронте. Я еще свое фашистам не сказал.

— Не думай, Сабыр, что в тылу остались одни трусы, — рассердился Альжан. — У каждого из нас есть счеты с фашизмом. Ты думаешь, я бы не пошел на фронт? Разрешили бы, сегодня же отнес бы заявление в военкомат. И не раз носил, между прочим. Но знаешь, что мне говорили? «Ты нужен в Мысказгане даже больше, чем на фронте. На фронте мы без тебя обойдемся, а здесь нет!» И ты сейчас нужен Мысказгану, Сабыр. Поработай, пока есть время, а там возвращайся в армию, если возьмут, мы тебя держать не будем. Хотя нам дали право не отпускать рабочих по брони.

Я вспомнил, как он в начале войны внес меня в список, не думая, есть бронь или нет, но не стал говорить ему об этом. Не подходящее время для таких разговоров, когда речь идет о Садыке. И дело-то старое, Альжан все давно, наверное, забыл. Да и внес он в список меня или нет — это ничего не решало. Я бы сам попросился на фронт.

— Насчет шахты подумаю. Конечно, сидеть сложа руки не собираюсь, — сказал я.

— Ну, вот и хорошо. Впрочем, другого я от тебя и не ждал, — Альжан хлопнул меня по плечу и добавил: — Мне ведь Акбаян о тебе рассказывала много хорошего. Верно, Акбаян?

Она потупилась, опустила глаза, будто бы он выдал ее тайну. «И на том спасибо», — угрюмо подумал я.

Но и после этого я не проинкся к Альжану особой симпатией. В конце концов обеспечить шахты рабочей силой —

его прямая обязанность. И он добыл еще одну пару рабочих рук.

Конечно же, я не мог сидеть дома без дела. К тому же серьезно заболел мой отец. Воспаление легких и тогда уже не было опасной болезнью, но не для таких старых и слабых людей, как он. Я не мог взвалить все заботы по уходу за ним на плечи матери — у нее силы тоже были не те. Поэтому пришлось отложить свою затею с досрочной перекомиссовкой и задержаться в Мысказгане до положенного времени.

Мне не хотелось работать под началом Альжана, и я решил было податься на шахту, которая принадлежала другому тресту. Но Акшалов сказал, что это будет ошибкой. «Лучше тебе вернуться к своим старым товарищам,— сказал он.— Ты ведь отвык от шахтерского труда за это время, да и техника у нас уже посложней. А друзья помогут тебе. Что же касается Альжана, то трест такой же его, как и твой. Ты ведешь себя, как обиженный мальчишка, Сабыр!»

Так я вернулся на свою шахту. И остался на ней не на месяц и не на два, как задумывал вначале. Потому что вскоре появился приказ Государственного комитета обороны, запрещающий отпускать шахтеров из Мысказгана, и обещание Альжана не задерживать меня на шахте отпало само собой.

После моего выхода из госпиталя мы с Татьяной писали друг другу письма. И с каждым ее письмом во мне росла уверенность, что я люблю Татьяну и уже не представляю свою жизнь без нее...

Однажды я написал ей об этом. Но, отправив письмо, спохватился. У нас говорят: кто быстрее — мысль или аргумент? Однако иной раз быстрее оказывается слово, которое произносишь, не подумав. Вот так, я решил, получилось и со мной. Ведь Татьяна — врач, человек образованный. Я же — простой шахтер, за плечами которого средняя школа — и все. Для дружбы или короткого романа этого, может, достаточно. Ну, а если предлагаешь человеку прожить с тобой бок о бок целую жизнь? Конечно, профессия у меня почетная, и зарабатываю я больше, чем иной кандидат наук. Но все это не в счет...

Прошло уже довольно много времени, а Таня молчала. Я было подумал, что она своим молчанием дает мне понять, что между нами не может быть ничего серьезного. Но однажды я увидел ее у нашей проходной. Она стояла с легким

чемоданчиком в руке и кого-то жадно высматривала среди шахтеров, выходящих из проходной. Увидела меня — и бросилась мне на шею.

По дороге ко мне домой Таня объяснила, что взяла отпуск на несколько суток, да с отъездом пришлось задержаться, было много работы.

Я не утерпел и рассказал о своих опасениях.

— Очень хорошо, что ты об этом подумал. Только ты не учел одного, я ведь заставляю тебя учиться,— сказала Татьяна, смеясь.

Через неделю она уехала, чтобы устроить перевод в Мысказган. Вскоре мы поженились, и на каком-то году нашей семейной жизни Татьяна родила мне славную девчущку. Так ко всему остальному я стал еще и счастливым отцом.

Жизнь порой кажется такой длинной. И действительно: четверть века — большой срок. Но, когда вспоминаешь, прошлое проносится перед тобой, точно стремительная птица...

— Вы о чем-то хотите спросить и не решаетесь? Я угадал? — спросил я Батиму.

Любопытство всегда выдает женщину. А на лице Батимы так и отражалась борьба деликатности с нетерпением.

— Да собственно говоря...— виновато пробормотала она, застигнутая врасплох.

— Валяйте, Батеш, спрашивайте! — щедро разрешил я.

— Я не знаю... удобно ли...

— Разве мы не свои люди? Вы ведь одна из тех, кто вытаскивал меня, не жалея сил, из этой мрачной ямы, которую называют смерть.

— Так вы не обидитесь? Правда?.. Я еще тогда, когда мы сидели с вами в ресторане, подумала, что у вас с Акбаян что-то было. Нет-нет,— испугалась Батима,— я не думаю ни о чем плохом. Я знаю, как вы любили Татьяну и не позволили бы ничего такого... Вот видите, я спрашиваю о чем-то, наверное, недозволенном? Извините, Сабыр-ага!

— Да нет, все в порядке. Это старая, как мир, история. Еще желторотым юнцом я полюбил Акбаян. А она меня. Так мне казалось. Но потом она вышла замуж за другого.

— За Альжана?

— Точно. А потом было много разных «потом». Я встретил Татьяну.

— А как же Акбаян? Вы ведь, наверно, часто видели ее. Все время жили в одном городе... Неужели вы так быстро разлюбили Акбаян?

— Ну, не так же быстро. Да и разлюбил ли? Это вопрос! Иногда, если уж быть откровенным, я презирал ее. И все дело в том, что она вышла за Альжана. Если бы хоть это был кто-нибудь другой!

Что на меня нашло? С какой стати я открываю душу Батиме? По сравнению со мной она еще девчонка...

У Акшалова были синие глаза — такое нечасто встречаешь у казахов. Сам он был коренаст, широкоплеч и походил на борца, готового выйти на ковер. И хотя ему перевалило за пятьдесят, он все еще работал получше иного жигита. Бывало, прижмет к правой стороне груди перфоратор весом в двадцать пять килограммов, и вперед — на голубые, крепкие, как гранит, стены породы. Вгрызлся в нее так, что все остальные отставали. А отдыхает при этом не больше других. Сотрет голубоватую пыль с лица, сделает два-три глотка из бутылки молока, достав ее из сумки, и снова за перфоратор.

И надо же, у других бур то застрянет в трещинах между глыбами камня, то затупится. А у Акшалова аппарат — гудит, не смолкает, точно изготовили его из особого металла по специальному заказу.

Я однажды не выдержал, и когда мой перфоратор заглох, спросил у Акшалова:

— Темеке, у вас перфоратор и бур заколдованные? Или вы знаете хитрое слово?

Акшалов улыбнулся:

— Ты угадал. Действительно, знаю слово.

— Так поделитесь, Темеке!

— Что ж, можно. Вот это слово: конь сыт овсом, а машина уходом. Где были раньше твои глаза? Неужели ты не заметил, как раз в три дня я чищу перфоратор от пыли и смазываю маслом? Ведь ты, Сабыр, был солдатом и наверняка заботился о винтовке больше, чем о самом себе? Так вот, у солдата верный друг — винтовка, у рабочего человека — машина. Не будешь за ней следить — она с тобой дружить не будет.

Характером Акшалов чистосердечен, открыт. Плохо тебе — иди к нему, разобьется в лепешку, а поможет. Но если что-нибудь сделаешь не так, покривишь душой — все тебе

выскажет в глаза, вилять не станет. Оттого-то все немного побаивались его. Но уважали, ценили за опыт. И, наверное, потому избрали Акшалова секретарем парткома шахты.

И не стало покоя волокитчикам, очковтирателям и тем руководителям, которые считались только со своим собственным мнением. Особенно доставалось от нового секретаря парткома чинушам, которые были равнодушны к судьбам простых рабочих. Говорят, на первом же партийном собрании Акшалов принялся критиковать самого Бекенова. И будто бы тот поблагодарил Темеке за помощь, но всем было видно, что выступление секретаря пришлось ему не по нутру.

И вот Акшалов взял меня с собой помощником в забой:

— Через месяц я сделаю из тебя настоящего буровика. Но у меня строго: лентяев и людей, равнодушных к делу, не люблю...

Дней за десять до нашего разговора он взял к себе и Кайсара. До того мой будущий товарищ, как я уже рассказывал, работал возчиком в транспортной конторе и после конфликта с вожатым трамвая пошел работать на шахту. Этому парню из аула казалось, что на шахте вообще-то и делай нечего. Знай получай вовремя зарплату — не задерживай. Десять дней не великий срок, но Кайсар поглядывал в мою сторону с превосходством чуть ли не ветерана и пытался командовать. Меня это поначалу забавляло. «Подожду, думаю, там он сам все поймет. Парень вроде с чувством юмора». Но мои уступки раззадорили Кайсара, он решил превратить меня в мальчику на побегушках. «Ну, погоди, — сказал я про себя. — Лодочник, который пускается в путь, ничего не зная о глубине реки, часто садится на мель».

Ждать мне пришлось недолго. Мы должны были перейти в другой забой, и тут Кайсар сказал небрежно:

— Значит так, парень, понесешь два перфоратора. Свой и мой. А я уж ладно, оба бура и резники.

Даже готовясь к отпору, я не ожидал такого нахальства. Перфоратор и один был куда тяжелее того груза, который Кайсар собирался тащить в порядке одолжения.

— Да, не тянешь ты, браток, не тянешь. Зря отираешься на шахте. Не выйдет из тебя буровика, — сказал я, скептически оглядывая его с головы до пят.

— Это почему же не выйдет? — опешил Кайсар.

— Спроси у мышки: почему ты такая маленькая? И она тебе скажет: не выросла, потому что испугалась кошки.

— А я-то чего испугался? — спросил Кайсар, еще больше теряясь.

— Работы,— сказал я и вскинул свой перфоратор на плечо.

— Это я боюсь работы?..

Акшалов, уже двинувшийся было к выходу, обернулся и сказал, смеясь:

— Что, Кайсар, получил? Так тебе и надо!

Кайсар вскипел:

— Как так? По-вашему, я, рабочий человек, боюсь труда?..

После того случая Кайсар перестал валить на меня часть своей работы и начал трудиться с такой энергией, будто только и ждал, чтоб ему дали добраться до перфоратора. А парнем он оказался здоровым, мне еле удавалось за ним поспевать. Так возникло у нас с Кайсаром своего рода соревнование. Если кто-то уходил вперед, второго подстегивало самолюбие, и он бросался вдогонку. Ну, а если добавить, что учителем нашим был Акшалов, то можно без фальшивой скромности сказать: через полгода Кайсар и я стали заправскими буровиками.

И в то время, когда закончилась эта история, судьба вновь сблизила меня с Альжаном. Произошло это вот при каких драматических обстоятельствах...

Но прежде я должен пуститься здесь в небольшой геологический экскурс. Да, богат Мысказган медной рудой, и, наверное, многим кажется, что лежит она под землей цельной плитой. Но на самом деле руда разбросана островками там-сям, таким невидимым подземным архипелагом, а рудный слой достигает пятидесяти — шестидесяти метров. Там, где руда уже выбрана без остатка, зияют громадные пещеры, а там, где она еще не тронута, стоит добраться до жилки руды — и пошел сероватый камень, богатый медью. Но до жилки добраться нелегко. Нужно вырубать забои, пробивать штреки, строить пути для электровозов. Породы, которые приходится одолевать буровикам, необычайно тверды. И кажется, что уж если ты их прошел, то и дело с концом. И не нужно крепить проходы деревянными стойками: их прочные своды готовы держать на себе тяжесть земли многие годы. И держат — десятки лет. Но недаром говорят, что за простотой часто скрывается коварство. Где-то за прочным на вид сводом потихоньку собирается вода — уж чего-чего, а подпочвенных вод в степном Мысказгане на удивление много. Точит вода свод целыми годами,



терпеливо, микрон за микроном, и вдруг на забой обрушиваются тонны породы, погребая под собой все живое. Хотя такая катастрофа случается раз в десятки лет, в Мысказгане внимательно изучают движение подпочвенных вод.

Рудные залежи нашей шахты уходили на восток от города как раз в район, богатый водами. Поэтому специалисты относились очень осторожно к разработке этих руд. Но однажды управляющий трестом Альжан Бекенов устроил совещание и поставил на нем вопрос об увеличении добычи руды в восточном районе.

Тогда, пожалуй, никто не думал, что это похоже на авантюру. Война шла к концу, но промышленность все больше нуждалась в меди. И к тому же перед совещанием Альжан с группой инженеров и техников обошел все уже существующие забои. Обследование показало, что, несмотря на большое количество вод, потолочные слои надежно предохраняют забои от обвалов.

На совещание Альжан пригласил не только представителей инженерного состава, но и передовых буровиков. К нашему с Кайсаром удивлению, мы тоже оказались в их числе. Об Акшалаве я не говорю: тот сидел по правую руку от управляющего.

Открыв совещание, Альжан сразу оседлал своего коня: поставил задачу — пройти к богатому месторождению кратчайшим путем. Говорил он четко и решительно, обращаясь к геологической карте, точно полководец, намечающий наступление своих армий.

Когда он закончил, в зале для заседаний установилась тишина. Что и говорить, задача выглядела дерзкой. Потом взял слово старый инженер: в верхних слоях намеченного маршрута особенно много вод, рубить здесь забои рискованно из-за возможных обвалов... Кое-кто подал голос с места — поддержал его опасения.

Альжан взвился, точно тугая стальная пружина:

— Я хочу спросить тех, кто здесь толкует об опасностях. А разве не опасно на фронте идти в атаку на вражеский дог? Без риска нет победы! А Родина ждет подвигов не только там, на фронте,— Альжан энергично указал на окно,— но и здесь, в тылу! — и он ткнул пальцем в свой письменный стол.

Сказав это, Альжан перешел на деловой тон.

— Мы тщательно изучили все «за» и «против». Кроме того, нами уже разработан и внедрен скоростной метод проходки...

И это было так. Альжан уже однажды проложил забой на участке, чреватом обвалами. Только не на нашем участке, а на другом, южном. Этот эксперимент сулил всесоюзный рекорд проходки, и успех вдохновил Альжана.

— Да, да. Мы способны на всесоюзный рекорд. И мы его добудем! — продолжал Альжан. — Ну, а к сведению тех, кто боится ответственности: руководство проходкой я беру на себя. И, между прочим, я своей жизнью дорожу не меньше других, — закончил он с усмешкой.

Что ж, если суждено иметь врага, пусть он будем умным. Вражда с глупым унижает. Не знаю, имел ли я право считать человека, который отбил у меня любимую девушку, своим личным врагом, но уж во всяком случае другом его бы никогда не назвал. Однако кем бы ни приходился мне Альжан, скажу честно, мне понравились смелость и энергия, с которыми он повел дело там, где оробели опытные инженеры. Волей-неволей я вынужден был признать, что Акбаян выбрала себе достойного мужа. И от души пожелал ему удачи. Потому что на этот раз его удача была бы и нашей общей удачей.

— А теперь о конкретных мероприятиях. Начнем с буровиков. От них от первых зависит наш успех. И мы должны отрядить на этот ответственный участок лучших из лучших, — сказал Альжан.

И назвал первую тройку буровиков. Это были Акшалов, Кайсар и я. Вначале я подумал, что ослышался. Но когда управляющий еще раз назвал мою фамилию, почувствовал к нему невольную благодарность. Как-никак это было признанием того, что я уже кое-чего достиг. Вдвойне приятно услышать такое из уст Альжана.

Советание закончилось, мы вышли из зала втроем — Акшалов, Кайсар и я. Мы с Кайсаром сияли от гордости. А Темеке вел себя как-то странно, бормотал себе под нос:

— Рекорд!.. Не нравится, ох, не нравится мне погоня за рекордом. Несерьезно все это. Чего он хочет? Славы? Тут еще думать надо, думать...

Известие, что готовится новый рекорд, что будет проложен кратчайший путь к восточным месторождениям руды, взбудоражило город. Говорили, что смелое дело возглавил управляющий трестом Альжан Бекенов. Ходили слухи о том, как он нашел ошибки в расчетах других инженеров и доказал, что можно совершить казавшееся до сих пор невозможным...

— Если петух хлопает крыльями, значит, собирается петь. А почему Бекенов лично влез в это дело? Да потому что почуял, что оно верное,— судачили любители сплетен.

Тем временем нам предоставили самую лучшую технику. В первые сутки девять буровиков за три смены прошли двадцать метров. Это было уже рекордом. Правда, пока — рекордом для Мысказгана.

И тут началось! Уже на другой день радио и местная газета «Красный горняк» на все лады твердили наши имена. Кто-то сказал, что в одной из центральных газет появилось интервью с Бекеновым, рассказавшим о том, как его трест помогает фронту. Но сам я этой газеты не видел. Не до этого было мне, когда мы поднялись наверх после смены. Будущий рекорд давался ценой таких усилий, что хотелось как можно скорей добраться домой и поваляться в постель.

Альжан заглядывал к нам, справлялся, вовремя ли доставляют все необходимое. В наш забой протянули дорогу для вагонеток, после взрыва шурфов газ тотчас откачали мощными насосами, а взорванная порода долго не залеживалась. Словом, для нас делали все, только знай — бури. Новый всесоюзный рекорд, казалось, уже не за горами.

— Побьете рекорд, всех представим к ордену,— пообещал Альжан во время одного из своих визитов.

Работа шла хорошо. Настроение у всех нас было приподнятое. И только Темеке, обходивший пройденные нами забои, как-то озабоченно сказал:

— Многовато прибыло воды, многовато. Никак там,— он кивал головой вверх,— трещина появилась. Придется нам, ребята, там поставить крепления. Не нравится мне свод в этом забое.

— Да чем не нравится, Темеке?— беззаботно спросил Кайсар и шепнул мне:— Стареет, все время ворчит. То не так, то не этак.

— Капели стало больше, вот чем,— буркнул Акшалов.

— Да ну, этим старым забоям уже столько лет — и ничего! Как-нибудь еще несколько-то месяцев продержатся? За это время мы выгребем всю руду как пить дать. А после пусть они рушатся ко всем чертям!— все так же беспечно заявил Кайсар.

— Плевать на опасность еще не значит проявлять героизм,— сердито ответил Акшалов.

Но Кайсар, оглушенный гулом своего перфоратора, уже ничего не слышал.

Акшалов оказался прав. И катастрофа, как всегда это бывает не только в приключенческих книгах, но и в жизни, произошла неожиданно и именно в тот момент, когда в забое были люди.

Незадолго до этого к нам явились взрывники, чтобы подорвать породу в забое. Мы отошли подальше, в штрек и, воспользовавшись перерывом, устроились на глыбах породы и занялись своим незатейливым обедом. И в этот момент, словно повинувшись законам драматургии, к нам пришел Альжан — главное действующее лицо надвигающихся событий.

— Что ж, даже сказочный батыр — и тот нуждается в земной пище, — пошутил он, когда мы обменялись приветствиями.

— А вода все прибывает, — мрачно сказал Акшалов, игнорируя шутку Альжана.

— Ай-яй-яй, Темеке, вы опять за свое, — покачал головой Альжан. — Вода попадает сюда из соседнего забоя. Ошибка маркшейдеров! Соседний забой рассчитан неверно. Он расположен выше вашего, понимаете? Кстати, я уже распорядился, чтобы поставили еще один насос. Теперь воды будет меньше.

— Это хорошо, что поставят насос. Да только вода сверху идет, — упорно повторил Акшалов.

Альжан показал нам жестом на Темеке: «Ну что, мол, делать с таким упрямым?» Я хотел было сказать, что за плечами у Акшалова большой горняцкий опыт и что, может, и в самом деле надо приостановить работы, пока специалисты проверят, нет ли трещины. Но тут прибежали взрывники, старший из них предупредил:

— Никому не выходить из укрытия. Сейчас взрываем!

Альжан собрался было уйти вместе с взрывниками, но передумал. Решил, видно, что должен рассеять наши сомнения, переубедить старого шахтера.

— Темеке, у вас только предположения. Слепая интуиция. А на нашей стороне наука, — сказал Альжан, присаживаясь рядышком с Акшаловым.

— А мне кажется, зря вы ссылаетесь на науку. Она-то авантюристов не любит, — возразил Акшалов.

Альжан засмеялся и сказал:

— Это я авантюрист? Что ж, время покажет, что я был прав.

— Если бы, — вздохнул Акшалов. — Только, боюсь, у нас его не много-то будет, времени.

— Все будет в порядке, Темеке,— сказал Альжан и поднялся, считая, что спор уже выигран.

— Товарищ Бекенов, куда же вы? Сейчас будет взрыв,— всполошился Кайсар и схватил Альжана за руку.

И в ту же секунду оглушительным грохотом взорвался первый заряд, затем второй, а за вторым прогремел третий.

— Четвертый... пятый... шестой... одиннадцатый,— считал Кайсар и с каждым очередным взрывом загибал палец.— А где же двенадцатый? Их должно быть двенадцать.

Напрасно он беспокоился. После короткой паузы взорвался и двенадцатый заряд.

— Вот он! Двенадцатый!— торжествующе возвестил Кайсар.

Мы-то уже давно привыкли к взрывам. А Кайсар каждый раз, когда взрывали породу, возбуждался, ликовал, как дитя.

Но радость нашего товарища была недолгой. Потолок в штреке вдруг вздрогнул раз, другой, будто при землетрясении. Наше укрытие так и заходило ходуном. А толчки следовали один за другим. Вскоре отключилось электричество, а потом воздушная волна погасила наши карбидные лампы. В штреке стало темным-темно, хоть глаз коли. Каждый из нас, наверное, чувствовал, что стряслось нечто страшное, — под землей ничто не кончается пустяком. И лишь, как мне показалось, через долгое время раздался чей-то силлый голос:

— Товарищи, что случилось?

Я не сразу понял, что это Альжан, так изменился его голос.

— Ну, молодежь, у кого есть спички?— спокойно произнес Темеке, не ответив на вопрос Бекенова.

— Вот черт, а я только вчера бросил курить!

А этот голос не изменился. Я сразу узнал Кайсара. Он и сейчас шутил, как ни в чем не бывало. Даже слышалось в темноте, как он хлопает по своим карманам.

— Темеке, у меня есть спички.

Я достал из кармана коробок со спичками и потрянул ими в воздухе.

— Давай-ка сюда,— деловито сказал Акшалов.

Я протянул коробок в темноту, ориентируясь на его голос. Наши руки встретились, и Акшалов на секунду задержал мои пальцы в своих. Чутьочку сжал и опустил. Это означало: держись жигит, не падай духом.

Он чиркнул спичкой и поднес огонек к своей карбидной лампе. Наш уголок осветился слабым светом. И так уж получилось, что первым, кого я увидел, был Альжан. Он стоял у выхода из нашего убежища — какой-то взъерошенный, маленький. Я невольно усмехнулся, чувствуя злость и мрачное торжество: видишь, Темеке тебе говорил, а ты не хотел его даже слушать. Но отрезанный от мира штрек был не тем местом, где можно предаваться долгому злорадству. Да к тому же еще, когда Альжан очутился вместе с нами, в том же незавидном положении, тем самым уже наказав себя.

— Пока посидите здесь, а я схожу посмотрю, — сказал Акшалов и зашагал в темноту, в сторону забоя.

Мы услышали, как захлюпала под его ногами вода. По этим звукам можно было определить, где он сейчас находится, Акшалов. Вот они затихли — значит, Темеке остановился, смотрит, что же произошло. Нам остается только догадываться, что же увидели его глаза. Хотя, в общем-то, догадаться было нетрудно... Особенно — Альжану.

И он прятал взгляд, боялся встретиться с нами глазами.

Снова захлюпала вода. Ближе, ближе... Темеке возвращался к нам. Из темноты появился огонек лампы, а за ним и сам Акшалов.

Я ждал, что Темеке начнет со слов «ну, что я говорил» или «как и следовало ожидать», но он сказал просто:

— Рухнул весь слой, завалил коридор метров на сорок пятьдесят. Мы отрезаны в этом кармане. Чтобы добраться до нас, понадобится дня два. Два дня пустяки, перезимуем.

— Ну, конечно, перетерпим, — живо подхватил Альжан.

Он был, наверное, не знаю как признателен Акшалову за то, что Темеке вел себя, будто мы попали в переплет не по его, Альжана, вине, а по другим, объективным, зависящим только от стихии причинам.

— Перетерпим, — согласился Акшалов. — Дело только за водой, а она прибывает. Часов через десять вода заполнит забой.

Мы молчали, каждый переваривал про себя малоприятное, мягко говоря, сообщение Темеке.

— Жаль, насосы придавило обвалом. Можно было покачать, — задумчиво произнес Акшалов.

Мозг старого шахтера напряженно работал, призывая на помощь весь его огромный опыт.

Кайсар подскочил, словно дурачась:

— О, она уже тут как тут!

Я взглянул себе под ноги. Нет, Кайсар не шутил. Полоска воды уже подбиралась к нашим ногам.

— Может, поискать местечко повыше? Есть же в забое такое местечко? А, Темеке?— спросил Кайсар.

— В забой еще рано. Пока не рассосется газ после взрыва, лучше переждать здесь,— пояснил Акшалов.

Мы снова замолчали. Да и не хотелось говорить попусту.

— Темеке,— нарушил тишину самый невыдержанный из нас, Кайсар,— вот вы прожили долгую жизнь. А когда-нибудь видели что-нибудь подобное?

— За тридцать лет шахтерской работы чего не увидишь,— со вздохом ответил Акшалов.

— Ну и расскажите нам о каком-нибудь случае,— попросил Кайсар.— Время пройдет быстрее.

— Ой, Кайсар, и когда ты угомонишься?— с невольной улыбкой спросил Темеке.— Разве сейчас время для рассказов?

— В самом деле, не время,— заискивающе поддержал его Альжан.

Я понимал, что и Кайсару сейчас не сладко. И у него, конечно, тревога сжимает сердце. Но он своими шутками хотел поднять наше настроение, и лично я был благодарен ему за это.

И опять эта напряженная, разъединяющая всех тишина. Когда мы молчали, каждый из нас будто вдруг оказывался в одиночестве. Нужно говорить, говорить, не переставая. Но о чем?

— Почему не время?— возмутился Кайсар.— Сабыр, сколько на твоих часах?

— Семь без пяти,— сказал я, поглядев на часы.

— А они у тебя точные? Или шалай-валяй?— дурачась, забеспокоился Кайсар.

— Каждый день сверяю по радио.

— Без пяти семь! А почему мы здесь сидим? Ведь смена закончилась?

Кайсар добился своего. Хоть шутка и не блистала тонким юмором, мы с Темеке рассмеялись. Альжан недоуменно посмотрел на нас — в своем ли мы уме?— пожал плечами и сказал:

— Чему вы смеетесь? Тут не смеяться надо, а плакать. Может, вы еще не поняли, что нас ждет?

«Каков гусь!— удивился я про себя.— Ему бы радоваться, что мы так держимся, не психуем, не ищем виновного...»

За меня ответил Кайсар:

— Если бы бог награждал тех, кто плачет, я бы плакал с утра до ночи и с ночи до утра, как говорил один бедняга. Валяйте, товарищ Бекенов! В забое как раз не хватает воды.

Это было началом ссоры. А разобщенность и вражда — не лучшие союзники людей, когда они в беде. И Альжан, умный человек, сообразил, конечно, что к чему, и смирил свое самолюбие:

— Я не это имел в виду. Вы поняли меня слишком буквально... Но что-то надо делать! Иначе мы задохнемся в этом каменном мешке.

Никто не ответил Альжану. Да и о чем тут говорить? И без того каждому ясно, что нам не продержаться, если наши товарищи там, наверху, не совершат чуда.

Прошло часа полтора. Вода постепенно заполняла наше убежище. Уже невозможно было сидеть, мы стояли, переступая с ноги на ногу, и вопросительно поглядывали на Темеке. Как будто он, а не Альжан Бекенов был самым большим нашим начальством.

И наконец Акшалов сказал:

— Газ должен уже рассосаться. Можно перейти в конец забоя.

Мы гуськом последовали за лампой Акшалова. Коридор поднимался вверх, так что в конце забоя пока еще было сухо. Газ почти исчез, часть его ушла в трещины, другую всосала вода. Но глаза и ноздри еще едко пощипывало.

Мы уселись на глыбу породы, оторванную взрывом, и Акшалов, потушил лампу.

— Будем экономить кислород,— сказал Темеке.

Вновь нас окружила тягостная тишина. Отчетливо слышно, как журчит, бормочет прибывающая вода. Эти обычно мирные звуки сейчас тревожили душу, напоминали о том, что приближается наш последний час. Эх, если бы вместо них до нас донесся человеческий голос! Живой голос отпугивает в ночи невидимых врагов, таящихся за каждым углом, за каждым деревом,— это известно каждому с детства. А сейчас стоит немая тишина, пособник смерти, и кажется, будто она, точно серая змея, медленно скользит, приближается к нам. Надо что-то сказать, все равно — что, лишь бы спугнуть ее. Пусть знает, что мы еще живем!..

Темеке точно прочитал мои мысли:

— А ну-ка, Кайсар, поговори о чем-нибудь. О чем, например, думаешь сейчас?



Нет, я не увидел... Для этого было слишком темно... Я почувствовал, как сверкнули в улыбке белые зубы Кайсара.

— О свадьбе, Темеке,— ответил он, словно ему больше не о чем думать, и странно, что Акшалов этого не знает.

— О свадьбе? Чьей же?— вступил я, изображая полную неосведомленность.

— Сабыр!— сказал Кайсар с упреком.— О своей свадьбе. О чьей же еще? Ну и той я закачу! Мысказган долго помнить будет. Каждый получит угощение по своему вкусу. Казахи — бараньи головы, русские — молодую свинину. И вино чтоб лилось рекой!..

— Значит, скоро у тебя свадьба? Это хорошо,— одобрил Акшалов.— А кто твоя невеста, Кайсар?

— Кто невеста? Скажу — упадете,— заверил Кайсар.— Она тоже на шахте работает. Гоняет вагонетки с рудой. Силлица — дай бог любому жигиту. Да вы ее видели! Ходит в такой же спецовке из брезента, как и мы. На ногах сапоги, сорок третий размер...

— А получше невесты не нашлось?— перебил его Альжан.

Я знаю невесту Кайсара — хрупкое, нежное существо с большими ласковыми глазами. И работает она наверху. Выдает шахтерам одежду. Кайсар просто хочет позабавить нас, разогнать тоску.

Вот он нащупал в темноте мое колено и слегка сжал, — мол, помалкивай, не мешай.

— Не у всех же, товарищ Бекенов, такие жены, как у вас,— сказал Кайсар и вздохнул.— Всем таких красавиц, как ваша Акбаян, не хватит. Приходится брать, что есть. Ведь дурнушек тоже нужно пристроить. Это уже кому как повезет. Один красавицу себе добудет, а другой ту возьмет, что никому не нужна.

Вот артист! Он так вел свою роль, что, казалось, еще немного — и Кайсар заплачет, кляня судьбу. Темеке — и тот клюнул на его крючок.

— Кайсар, у тебя и в самом деле такая невеста?— встревожился сбитый с толку Акшалов.

— А я не жалею. У каждого свой вкус,— беспечно ответил Кайсар.

— Да ну тебя. Так я тебе и поверил,— засмеялся Темеке.

— Ему бы все шутить,— пожаловался Альжан.

И я как бы вдруг увидел его другими глазами. Еще вче-

ра он казался мне настоящим соколом, смелым, стремительным. Действительно достойным Акбаян. А сейчас он был жалок, похож на мокрую курицу.

«Вот номер! — подумал я. — И как он сумел всем внушить, что он сильная личность?»

А Бекенов продолжал:

— Неужели погибнем вот так, ни за здорово живешь? Если бы я знал... Жаль, Темеке, что вам не удалось переубедить меня.

Акшалов промолчал. За него ответил Кайсар:

— Темеке-то не раз пробовал... Да вас, товарищ Бекенов, с вашей дороги не свернешь.

— Да, я поспешил. Но Акшалов должен был настоять, добиться своего, — возразил Альжан. — Он ведь опытный шахтер. Парторг, наконец...

Тьма вокруг, казалось, стала еще плотнее. Мне не видно было даже собственных пальцев, не то что Альжана. Но я все смотрел в ту сторону, откуда раздавался его голос. Умом я понимал, что он сейчас и сам не соображает, что говорит. Он от страха потерял контроль над собой и потому пытался переложить вину на Акшалова. Умом я это понимал, но сердцем не мог оправдать его.

А Темеке молчал. То ли жалел раздавленного страхом человека, то ли считал, что отвечать на его смехотворные обвинения — значит, ронять свое достоинство...

Впрочем, что греха таить, у меня самого зуб не попадал на зуб. Что умирать нелегко — эту истину не надо доказывать. Жизнью дорожат одинаково все: и кто не раз на войне смотрел смерти в глаза, и кто все годы жил легко и беззаботно. Но умирают люди по-разному. Иные — падают с неба, как смертельно раненный сокол, смело бросившийся на своего врага. Они предпочитают смерть в небе жалкому прозябанию на земле. Так погиб мой незабвенный друг Садык. А другие похожи на курицу, которая, и умирая, продолжает жадно смотреть на зерно.

Да, что ни говори, а умирать нелегко. Особенно, когда ты беспомощен, лишен возможности бороться за свою жизнь. Умирать на людях, в бою — куда проще. Недаром русские говорят, что «на миру и смерть красна». Может, в открытом бою и Альжан оказался бы храбрым воином? А тут сиди и покорно жди, когда костлявая возьмет тебя за горло...

Но что же все-таки случилось с Альжаном? Неужели страх перед смертью так изменил всегда уверенного в себе

человека? Или он и раньше был таким, страх только сорвал с Альжана одежды, в которые он так усердно рядился?

Как же тогда Акбаян? Неужели она так и не распознала Альжана? Или она его не любила и вышла замуж с какой-то неизвестной мне целью?..

— Темеке, а вы боитесь смерти?— спросил Кайсар.

— Кто ее не боится?— задумчиво ответил Акшалов.— Каждому хочется жить.

— А чем тогда отличается трус от храбреца?

— Спроси что-нибудь попроще,— вздохнул Акшалов.— Наверное, один больше думает о смерти, другой меньше. И не так уж цепляется за жизнь, не всеми средствами.

— «Не всеми средствами...» Вам легко говорить,— проворчал Альжан.

— Почему легко? Разве я не такой же человек, как вы?— простодушно спросил Темеке.

— Такой-то такой. Да вы свою жизнь уже прожили. Взяли от жизни все. А мы?..

— Берите и вы свое. Я не возражаю. Только ведь и я еще не взял свое, что хотел,— сказал Акшалов.

«Альжан еще смеет утверждать, что ничего не видел в жизни!— думал я.— И это говорит человек, которому Акбаян шептала слова любви! Которого обнимала ее белая нежная рука! Ему этого мало!..»

— А я бы мог не бояться смерти,— сказал Кайсар.— Точно, мог бы! Если бы только успел сделать то, о чем мечтаю все время. Сделал бы, а там хоть помирай.

— А что же ты должен сделать?— спросил я, гадая, какие тайны могут быть у Кайсара, он же весь на виду.

И тут Кайсар нас ошарашил.

— Мечтаю написать поэму,— выпалил он.

Я не поверил своим ушам. Акшалов не удержался и хмыкнул:

— Ну, парень!

— Поэму?— переспросил я.

— Самую настоящую,— подтвердил Кайсар.— А что удивительного? Думаете, если я шахтер, так у меня и мысли только о руде? Если на то пошло, я уже начал ее писать. И давно! Вот только жаль, что могу не закончить. Из-за этого вот обвала! Будь он неладен!..

«Дорогой Кайсар, знал бы ты, какой ты славный жигит!— хотелось мне сказать своему другу.— Какой ты славный человек! Шутить ты или говоришь всерьез, но ты опять увел наши мысли подальше от чудовища, имя кото-

рему смерть. Даже упавший духом Альжан и тот усмехнулся... Пусть это неправда, что ты тайно пишешь стихи. Скорее всего — неправда. Ведь сочиняй ты стихи, об этом бы знала вся шахта. Потому что ты весь распахнут перед людьми. Но как бы то ни было, ты уже по натуре поэт! Спасибо тебе, дружище!»

Но Кайсар, оказывается, на этот раз говорил всерьез.

— Ага, вы не верите мне. Думаете, Кайсар, как всегда, разыгрывает? — сказал Кайсар.

Я представил в темноте, как он удовлетворенно ухмыльнулся.

— Точно, я угадал?.. Ну так слушайте.

Кайсар начал декламировать, подражая настоящим поэтам. Стихи он написал, конечно, не ахти какие, это было понятно даже мне, вовсе не знатоку поэзии. Но я потом их выучил наизусть. Уж очень они тогда пришлись нам кстати.

Вот они, стихи Кайсара:<sup>1</sup>

Горевший угольком, поверьте,  
Готов я смело догореть:  
Ведь в мире жизни нет бессмертья  
И никогда не будет впредь.

Нет, совесть юная не мучит  
Того, кто полон светлых сил.  
Друзья, я счастлив — потому что  
Всегда и всюду жизнь любил.

А ну, друзья! Встряхнитесь, черти!  
Сам подвиг в нас берет разбег!  
Уйдем, не дав глумиться смерти  
Над гордым званьем — Человек.

— Кайсар, сынок, ты, наверное, у кого-то списал? — недоверчиво спросил Акшалов. — Признайся!

— Это мои стихи! Я написал их сам! — гордо ответил Кайсар.

— Это и видно, — подал голос Альжан. — Только как ни мажь маслом собаке хвост, все равно длиннее не станет. Поэтами люди рождаются, это еще древним римлянам известно было...

Альжан ничего не хотел признавать. Ни того, что Кайсар и не собирался становиться профессиональным поэтом, ни того, что если человека тянет к творчеству, это лишь обогащает его жизнь.

Но я зря боялся, что Кайсар обидится. Тот даже не обратил внимания на выпад Бекенова. И он, и Акшалов от-

<sup>1</sup> Перевод В. Савельева.

носились к нему, словно к больному. Оценит ли это когда-нибудь Альжан?

— Сабыр, сколько теперь на твоих трофейных?— спросил Кайсар.

Я взглянул на светящиеся стрелки часов.

— Десять вечера,— ответил я и рассмеялся.

— Что тут смешного?— удивился Темеке.

— Разве не видно? Сабыр уже сходит с ума,— пояснил Альжан.

Я тоже решил не сердиться на Альжана.

— Так, вспомнилось, Темеке, кое-что,— сказал я, отвечая на вопрос Акшалова.— Было время, когда мы с Садыком вот так же ждали десяти вечера.

И я вновь засмеялся.

— А ждали-то зачем?— заинтересовался Акшалов.

— А в это время, Темеке, у вас начиналась на шахте ночная смена. Когда вы уходили, мы забирались к вам в сад и рвали яблоки. Но, чтобы вы не догадались, брали только по яблоку с каждого дерева. А их было — помните?— десять. И нам доставалось по пять яблок на брата.

Это были первые плодоносящие яблони в Мысказгане. И вообще Акшалов первым в городе (тогда еще поселке) посадил фруктовый сад. Ветви десяти яблонь гнулись под тяжестью наливных румяных плодов — великий соблазн для ребят! Мы с Садыком, поддаваясь искушению, совершали ночные набеги. Это длилось два года...

— Темеке, я до сих пор помню вкус ваших яблок. Божественные,— сказал я, смеясь.

Акшалов ударил себя по коленям (а может быть, по бокам) и захохотал.

— Так вот оно что!— произнес Темеке, посмеявшись.— А я-то все время думал, что за наваждение? Как ни придешь утром с работы, нет десяти яблок. Это только вам казалось, что если сорвать с дерева только одно яблоко, то хозяин ничего не заметит. А я помнил, где висит каждое яблочко. И гадал, куда же они пропадают. Может, думаю, особенно прожорливые птицы? Но кто знает птиц, которые бы умели считать? Так яблоки таскали вы, маленькие хитрецы! Ничего, недаром говорят, что долг, возвращенный поздно, стоит вдвое дороже. Завтра, как только вернемся домой, отплатишь мне за все яблоки сполна.

— Вы еще надеетесь вырваться из этого склепа?— сказал Альжан, разозленный уверенностью Темеке в том, что завтра он уже будет дома.— Через два часа мы все захлеб-

немся в воде, как... зайцы. Неужели вы не чувствуете, что она уже здесь?

И он, тяжело дыша, пополз по склону в верхний угол забоя. Из-под него вырвался камень и плюхнулся в воду.

«Да, это все»,— подумал я.

— Дорогой, как тебе хочется жить,— сказал Акшалов с упреком Альжану, впервые выходя из себя.— Еще деды наши говорили, что тот, кто в трудную минуту сумеет командовать хотя бы тремя людьми, тому в обычных условиях можно доверить три тысячи. И как это тебе до сих пор удавалось руководить целым трестом?

— А вы бы взяли да не допустили этого! Если уж вы такой ясновидец. Тогда не было бы ничего этого,— сварливо отозвался Альжан чуть ли не из-под потолка.

— Испуганная утка ныряет вперед хвостом!— сказал Кайсар.— Не валите, Бекенов, вину за свои ошибки на других. Между прочим, нашему терпению может прийти конец...

Альжан замолчал и теперь уже надолго.

...Поскольку рассказчик имеет возможность поведать о том, что некогда случилось в заваленном и постепенно заполняемом водой забое, нетрудно догадаться, что он делает это лишь потому, что остался жив. А если он жив, значит, и та страшная ночь под землей закончилась благополучно, хотя мы тогда еще не знали, как распорядится нами судьба, и нервы наши были натянуты до предела.

Я чувствовал к Альжану физическое отвращение.

«За что, за что Акбаян полюбила этого человека?— уже в который раз спрашивал я себя.— Нет, она не могла его полюбить. Во всяком случае, такого. Значит, она еще многого не знает. А он обманул ее, как доверчивое дитя. Обманул, завлек в свои ловко расставленные и красиво сплетенные сети... Альжан, который не стоит даже ее мизинца! Это мы все, и я в том числе, виноваты, что она позволила себя обмануть фальшивому человеку...»

А если она знает, кто такой Альжан?.. Все равно, я должен ее спасти. Распутать узел, которым она себя оплела. Как это сделать?..»

Но главное — я простила Акбаян.

Когда я снова посмотрел на свои трофейные, стрелки показывали начало первого. А холодная, как лед, вода все прибывала к нам и прибывала. Мы перебрались под потолок к Альжану, но она и там достала подошвы наших са-

пог... Нам оставалось жить самое большее два часа. Но меня утешало то, что я понял ошибку Акбаян и простил ее. И Альжана Бекенова. Мне было даже жалко его. Бедняга, он упал в собственных глазах. А есть ли более тяжкое наказание для гордеца? Да и к тому же, грех дуться на человека, который скоро ляжет с тобой в одной братской могиле.

Однако в эти минуты стрелки часов уже показывали время нашего спасения. Вода, которая только что подбиралась к нам, словно безжалостный убийца, вдруг остановилась, а затем стала постепенно спадать. Она уползала в глубину штрека с недовольным шипением. И потом, издав низкий, утробный звук, ушла в невидимую воронку.

— Мы спасены! Вы слышите? Спасены!— кричал Альжан.

Он веселился, как ребенок, приглашая разделить его радость. Ну, и мы, понятно, тоже были готовы пуститься в пляс от счастья.

— Так и есть: пробили сток в старой штольне,— сказал Темеке.— Я, в общем-то, думал, что они так и сделают.

— Представляю, как им досталось. Пока мы расслаживались, точно баи, там работали до семи потов,— с притворным покаянием произнес Кайсар.

Темеке зажег лампочку и поднял ее, освещая наши лица. Точно проверил, все ли с нами в порядке. Да, мы выглядели так, словно нас сняли с креста. Но сколько же радости, живого огня светилось в блеске глаз, в белозубой улыбке Кайсара! Темеке был, как всегда, солидно спокоен. И только Альжану, видно, стало не по себе, как будто он уже был не рад своему спасению.

— Товарищ Бекенов, я думаю, можно зажечь все лампы?— спросил Акшалов, напоминая, что Альжан снова старший по должности.

— Пожалуйста, Темеке, пожалуйста,— смущенно ответил Альжан.

Темеке тронул меня за плечо и сказал, улыбаясь:

— Сабыр, не забудь расплатиться за яблоки, которые ты таскал из моего сада вместе с Садыком. Иначе поймаю и уши надеру. Не посмотрию, что ты уже большой.

Мы не только остались живы, но и, назло судьбе, через три года после этого происшествия торжественно отмечали

пятидесятилетие нашего Темеке. Поначалу Акшалов соби-  
рался отметить это событие в узком кругу друзей. Но в  
Мысказгане чуть не каждый десятый был его другом или  
учеником. И когда Темеке прикинул, кого пригласить, то  
этот «узкий круг» вместил около сотни людей. Поняв, что  
от настоящего торжества ему никуда не деться, Темеке по-  
звал еще сотню гостей, разослав пригласительные билеты, в  
которых говорилось: мол, уважаемый такой-то, прошу Вас  
и Вашу супругу прибыть такого-то сентября в красный уго-  
лок шахты на день моего пятидесятилетия.

Как мы потом узнали, на том, чтобы пятидесятилетие  
Темеке было отмечено в красном уголке шахты, настоял сам  
Альжан Бекенов. И текст приглашения тоже был сочинен  
лично им.

Мы с Татьяной и Кайсар со своей женой Нуржамал (он  
справил свадьбу, как и обещал) пришли одними из первых,  
как и следовало самым близким друзьям. Я говорю «одни-  
ми из», потому что нас все-таки опередил Альжан. Он рас-  
хаживал вокруг праздничного стола, давая указания буфет-  
чице. А потом повалили остальные гости — никто не пре-  
небрег приглашением. По лицам людей было видно, что для  
них это не просто чей-то день рождения, а большой празд-  
ник для всей нашей шахты. И тут уж каждый старался не  
ударить в грязь лицом — принести Темеке подарок подоро-  
же. Кто-то принес ковер, кто-то чайный сервиз, а кто-то ра-  
диолу, которую тут же пустили в ход, заставили развлекать  
людей.

Праздничный стол выглядел под стать торжеству. И хо-  
тя в первые послевоенные годы с продуктами было еще ту-  
го, стол ломился от всевозможной еды и вина. Это изобилие  
тоже оказалось делом рук Альжана. Он добился разреше-  
ния провести все закупки через отдел рабочего снабжения.

После того случая в шахте у нас с Альжаном установи-  
лись странные отношения. Он перестал заноситься и перед  
мною, и перед другими рабочими. И словно бы даже заиски-  
вал перед нами, кто был с ним в подземном плену. То ли  
стыдился за себя, то ли боялся, что мы расскажем, как па-  
нически он себя вел в те роковые часы. Иногда хотелось по-  
дойти к нему и сказать:

— Да бросьте вы, товарищ Бекенов. Мы ведь не соби-  
раемся вас шантажировать.

Не поговорил я и с Акбаян о том, о чем собирався тог-  
да, в затопленном забое. На другой день остыл, подумал,  
чем она мне ответит. Скажет, что я потерял ее и теперь ста-



раюсь мстить Альжану, выдумываю про него бог знает что... Да и на вид она не похожа на жену, которая жалуется на недостаток семейного счастья... Постепенно мое намерение исчезло, как уходит в песок вода.

И еще: после происшествия в шахте я понял, что Таня права, мне необходимо учиться. Чтобы не зависеть от ошибочных решений, нужно детально разбираться в горном деле самому. И потом мне хотелось вернуться к разработке восточного месторождения, которое после катастрофы было законсервировано. Конечно, никто не станет ждать годы, пока я буду учиться, за это время наука найдет пути к этим богатейшим залежам. Но кто сказал, что на мою долю не хватит трудных дорог? И я поступил заочно в Алма-Атинский горный институт...

... Наконец народ собрался полностью, и гости начали рассаживаться по местам. Во главе стола усадили Темеке и его многоликое семейство — жену и восьмерых детей. Рядом сели Альжан и только что появившаяся Акбаян.

Они были самой красивой парой за столом. В густых волнистых волосах Альжана появилась прядь ранней седины, она очень шла к его черной тройке и белоснежной рубашке. А его манерами я просто-таки любовался. Вот он встал и подставил стул женщине, севшей по другую сторону от него, положил ей салат на тарелку. Потом предложил что-то отведать жене Темеке. А слева от него сидела... Я чуть было не сказал «красавица». А если уж красавица, то, конечно, сказочная. Словом, слева от Альжана восседала перн из волшебной сказки, которой ничего не стоит смертного человека свести с ума с первого взгляда. Это, конечно, была Акбаян!

Она выглядела так же свежо, как и в восемнадцать лет. Будто и не было тех десяти лет, которые прошли с тех пор, как она вышла замуж за Альжана. Или мне только кажется, что время перед нею бессильно? Нет, я замечаю, что остальные мужчины то и дело восхищенно поглядывают на Акбаян. Кто видел лебедя, плывущего по глади озера среди обычных гусей? Вот так и Акбаян выглядела среди нас. Она так и светилась вся: светлолицая и одетая в платье снежной белизны. И оттого выделялись на ее лице огромные глаза, черные, как уголь. На шее Акбаян переливалась радужными огоньками сложенное в два ряда жемчужное ожерелье. В маленьких изящных ушах горели рубиновые серьги. А белая тонкая шаль подчеркивала скульптурные очертания тонкой нежной шеи.

— Сабыр, взгляни на Акбаян. Она сегодня так красива,— шепнула мне Татьяна.

Ах, Таня, Таня, неужели ты думаешь, что я не вижу этого сам?

«И я, сумасшедший, надеялся, что она выйдет замуж за такого простого неотесанного парня, как я»,— сказал я себе, но тут мой взгляд остановился на Альжане и мне вспомнилось наше подземелье... Пожалуй, не так уж неприсутственны сказочные красавицы, не так уж безошибочен их выбор.

Но ничего, я окончу институт и тоже стану инженером. Альжан отныне даже и не заикается о восточном месторождении, а я выбрал освоение этих залежей темой своего диплома. Только бы закончить институт, и тогда мы поговорим с тобой, Альжан, на равных. Наверное, я рассуждал, как мальчишка. Но мне, кроме всего прочего, еще хотелось доказать Акбаян, что я ни в чем не уступаю ее мужу...

Альжан тем временем возложил на себя обязанности тамады и, постучав вилкой по графину с вином, призывая всех к вниманию, поднялся с бокалом в руке.

— Товарищи! Друзья!— начал Бекенов, удостоверившись, что все ждут его слова.— Сегодня мы собрались отметить пятидесятилетие нашего дорогого Темеке...

Альжан говорил медленно, внушительно, оставляя между предложениями значительные паузы, точно предоставляя слушателям возможность взвесить каждое его слово. Он перечислил трудовые заслуги Акшалова, достоинства его характера. Описав его честность, принципиальность и доброту, Бекенов сказал:

— Но мне хочется особо выделить природную мудрость и мужество нашего Темеке. Тот, кто прошел вместе с ним, плечом к плечу, через трудности, знает это. Вы помните трагический случай, происшедший на восточном участке три года тому назад? Тогда мы с Темеке и еще двое присутствующих здесь товарищей, можно сказать, были погребены в одной могиле.

Едва он произнес эти слова, в тишине отчетливо прозвучал хохоток Кайсара.

«Зачем Альжан помянул наш подземный плен? Уж об этом-то ему не следовало говорить»,— подумал я, почему-то тревожась за Альжана.

Может, потому, что слишком хорошо знал нрав своего друга Кайсара. Уж он-то использует оплошность Альжана, уж этот правдолюб и балагур не упустит своего.

Альжан тоже заметил свою оплошность. Но на этот раз выдержка не изменила ему, он только запнулся слегка, может быть, замстно только для тех, кто был посвящен в эту историю, и продолжал:

— Сказать откровенно, мы растерялись. Но с нами был наш Темеке. Он показал нам пример выдержки и мужества.— Альжан опасливо покосился на Кайсара.— Благодаря Темеке мы победили смерть! Я предлагаю выпить бокал за то, чтобы один из лучших шахтеров Мысказгана, наш уважаемый Темеке, прибавил к своим пятидесяти годам еще пятьдесят лет. И пожелать ему новых успехов в трудовой и личной жизни!

Ну что же, в сущности, все было верно. И если бы он удержался и не сказал, что лично он, Альжан, тоже участвовал в победе над смертью, то этот вечер мог закончиться для него без происшествий. Но разве можно остановить человека, который всю жизнь играл в сильную личность?..

Я похлопал в ладоши вместе со всеми. Потом мы начали чокаться с Темеке, и маленький уютный зал наполнился звуками, присущими большому и торжественному застолью. мелодичным звоном рюмок, стуком посуды и возбужденным разговором людей.

Альжан легко и непринужденно исполнял должность тамады. Он умело, шутя и подбадривая, уговорил стеснительного пожилого шахтера сказать второй тост, и тот произнес нескладные, но искренние слова от имени старых товарищей Темеке, пришедших на шахту в одно время с ним. Альжан дирижировал застольем, вызывая у меня невольную зависть. За вторым тостом последовали третий, четвертый... Говорили ровесники Акшалова, его ученики, представители других шахт, приглашенные на той. Альжан под общее одобрение заставил сказать несколько слов жену юбиляра. За ней и я произнес тост, как бы от лица нашей молодежи.

И все это проходило в веселой, непринужденной обстановке. Я опасался одного: как бы Кайсар не наломал дров, не испортил торжества скандалом. Он весь вечер не сводил глаз с Альжана, словно держал его на прицеле.

И, наконец, подошло мгновение, когда Альжан уже перебрал всех близких Темеке людей, наступил черед Кайсара. И вдруг тот отказался, пояснив, что его смущает обилие гостей, а он так нежно любит Темеке, что выскажет свои чувства, когда останется с ним один на один... Мы с Альжаном

облегченно вздохнули, с лица нашего тамады склынуло беспокойство, которое временами появлялось в его глазах.

Но я лучше знал Кайсара и чувствовал, что он терпеливо, как опытный боец, ждет момента для решающего удара. Хотя с виду Кайсар вел себя вполне безобидно, смеялся и пил от души. «Когда же пить, как не в день рождения Темеке?» — приговаривал он, сверкая белыми зубами. Но пил-то он меньше, чем об этом говорил. Разве что опрокинул пару стопок за здоровье Темеке да однажды потянулся с рюмкой через стол к Акбаян, сказав:

— Э, женеше, такая красивая, а вино даже не пригубите. Так не годится, — и заговорщицки подмигнул мне.

Акбаян запротестовала, но сделала глоток из своей рюмки.

— Пейте, пейте до дна. Иначе на дне останется ваше счастье, — припугнул Кайсар.

— Ах, если бы это было на самом деле так. Выпил — и действительно счастлив, — засмеялась Акбаян и допила остальное.

Она уже была немного пьяна. На ее щеках играл румянец. В черных блестящих глазах поселился лукавый бесенок. Иногда Акбаян бросала на меня озорные взгляды и прыскала в ладонку. Мне поначалу казалось, что она смеется надо мной. Но потом я вспомнил нашу юность. Вот так же озорно смеялась она, когда мы играли в прятки на окраине поселка, и, когда я находил ее, Акбаян, не выдержав, прыскала в кулачок.

Акбаян шутливо погрозила Кайсару пальцем:

— Вы будете виноваты, если я сегодня напьюсь.

— Тогда лучше не надо. У меня и так грехов не оберешься, — притворно испугался Кайсар.

Но с Кайсаром всегда будь начеку. Через секунду у него все может перевернуться, стать с ног на голову. Со стороны он похож на коня, только что приученного к арбе. Вот он идет по улице, тянет воз, как и положено трудовой лошадке. И вдруг, испугавшись чего-то, шарахается в сторону и несется, не разбирая дороги. Но так кажется со стороны, Кайсар как раз ничего не боится. И если ему что-то втемяшилось, его не остановишь...

Тем временем решили сделать в застолье перерыв, попеть, потанцевать, а то и просто выйти на свежий воздух, выкурить папиросу. Любители песен сгрудились на одном конце стола. А танцоры, в основном молодежь, вытащили радиолу в широкий коридор, и кто-то поставил пластинку с

фокстротом из фильма «Под крышами Парижа». Первым в круг вылетел Кайсар. И кого он, думаете, пригласил в партнерши? Саму Акбаян! Я сказал «саму» не только потому, что она была женой управляющего. Мне она казалась королевой, до которой и дотронуться — кощунство. А Кайсар крутил ее так и этак. Потом они, так и оставшись в центре круга, станцевали танго и вальс-бостон.

Я бы, может тоже осмелев, пригласил Акбаян на танец, да я не умел танцевать. И потому стоял прислонившись к стенке и смотрел, как мой товарищ и Акбаян вытанцовывают замысловатые фигуры. А получалось у них здорово — лучше, чем у всех остальных. И если Акбаян самой природой создана для грациозных движений, то когда Кайсар поднаторел в танцах — это для меня осталось загадкой...

Татьяна подошла ко мне, взяла под руку.

— Сабыр, а ты скачешь? Лучше пойдя к Темеке. Он спрашивал, где ты...

В самом-то деле, что мне подпирать стенку на манер столба и терзаться от зависти? Я вернулся в зал.

Темеке сидел за столом на своем месте. Его окружала небольшая компания. Я увидел Альжана, Нуржамал, Калампыр — жену Темеке и нескольких пожилых рабочих, ровесников юбиляра. Верховодил в этой компании, конечно, Альжан. Можно было подумать, что не Темеке, а он виновник этого торжества. Бекенов о чем-то усердно разглагольствовал, но увидел меня, поднял открытую бутылку вина и сказал:

— Сабыр, куда вы пропали? Идите к нам и выпейте с нами за будущее нашей шахты.

За это стоило выпить. Я присоединился к окружению Темеке, Альжан наполнил мой бокал.

Шампанское приятно ударило в голову. Я не успел поставить пустой бокал на стол, как за моей спиной послышался голос Кайсара:

— Э-э, так не пойдет! Налейте и нам.

К столу подошли покрасневшиеся Кайсар и Акбаян. Не дожидаясь, пока кто-то другой сделает это, Кайсар взял запечатанную бутылку, открыл ее, выстрелив пробкой в потолок, и ловко разлил шампанское по бокалам.

Еще несколько минут назад мне казалось, что он под хмельком. Но сейчас он держался так, будто не проглотил ни капли.

Кайсар поставил опустевшую бутылку на стол, поднял один из наполненных бокалов и вручил Акбаян.

— Выпейте, женеше. Друзья, и вы возьмите бокалы,— призвал Кайсар, поднимая другой бокал.— Я отказался от тоста, который мне предоставил товарищ Бекенов. Я думаю, Темеке не обиделся на меня, он ведь не любит словесий. Вместо тоста я расскажу вам одну невероятную, совершенно фантастическую историю. Акбаян, она предназначена вам в первую очередь. Так что не отодвигайте свой бокал.

— Почему же мне?— удивилась Акбаян.— Вина тут моя? Или заслуга?

— А это будет видно,— загадочно ответил Кайсар.

Вот оно: началось! — подумал я. Неспроста Кайсар обращался к Акбаян, жене Альжана. Значит, он метит в Бекенова. Дождался, пока тот забудет об ошибке, допущенной во время тоста, ослабит внимание. А нет коварней и болезненней удара, чем когда человек не ждет его и благодушествует.

Альжан еще не понял, в чем дело, но какое-то чувство ему подсказало, что сейчас что-то произойдет — и, видимо, неприятное для него.

— Подождите, Кайсар, мы знаем: вы хороший рассказчик,— засмеялся Бекенов, стараясь скрыть беспокойство.— Но сегодня день Темеке. И давайте-ка мы лучше еще раз выпьем за нашего дорогого юбиляра!

— Правда, Кайсар, сегодня такой день, потерпи до другого раза,— сказал я, нажав на слове «потерпи», чтобы он понял мой намек.

— Нет уж, пусть расскажет,— смеясь, вмешалась заинтригованная Акбаян.— Альжан! Сабыр! Это жестоко — разбудить в женщине любопытство и оставить ее в полном неведении. Я не засну до утра, если не узнаю, что это за фантастическая история и какое она имеет отношение ко мне. А Темеке на нас не будет в обиде. Правда, Темеке?

— Дорогая Акбаян, мне и самому теперь хочется послушать Кайсара,— улыбнулся Темеке.

— Как вам угодно,— пробормотал Альжан и отошел в сторону.

— Начинайте, Кайсар!— нетерпеливо сказала Акбаян.

Я перехватил ее взгляд, брошенный на Альжана. Пожалуй, она уже догадалась, в кого метит Кайсар. И была готова защитить мужа.

Кайсар тоже заметил этот взгляд, и на его губах появилась почти застенчивая улыбка. Но я-то знал, что такая

улыбка не предвещала ничего хорошего тем, кого он выбрал своей мишенью.

— Я никого не собираюсь обижать, — начал Кайсар кротким голосом. — Если хочешь, чтобы горб у верблюда стал менее заметным, поддержи верблюда в голоде... Между прочим, любим мы подбираться к сути издалека. Любим намеки, сравнения, И, признаться, я тоже не лишен этой слабости. Итак, друзья, история моя произошла не на этом свете, где мы с вами живем, а на том свете, — и Кайсар поднял глаза к потолку. — И началась она с того, что очутился я на площади перед входом в рай. Там у ворот собралась длинная очередь. Но ворота охранялись строже иных директорских дверей. У входа стояли с тяжелыми дубинами в руках ангелы-подручные Анкир, Манкир и сам Азретали. Здесь же дежурили демоны Израиль и Жабраиль; они уселись на плечо очередному просителю и вели счет его грехам и заслугам. Ангел же Мутуали взвешивал на точных весах дела этого человека и смотрел, что перетягивает: хорошее или плохое? Если перетягивало хорошее, стража расступалась и просителя пропускали в рай. Если плохое — отправляли в ад, вручив копию судебного заключения. Только и слышалось — коротко и деловито:

— В ад!.. В рай!.. В рай!.. В ад!..

Когда дошла и моя очередь на этом конвейере, Мугуали присвистнул и сказал:

— Ну, разумеется, в ад!

— Не хочу в ад. Я — человек веселый, люблю посидеть в компании друзей, а там у меня нет ни одного знакомого, — сказал я судьям. — Что хотите делайте со мной, а в ад я не пойду.

— Прихвати с собой кого-нибудь из своих, — невозмутимо ответили судьи. — Вот и будет тебе общество.

— Да кого же взять, уважаемые судьи? — спросил я, оглядывая очередь и видя только чужие лица.

Тут они посмотрели на меня с досадой, мол, будто не знаешь сам, и сказали:

— Возьми с собой Темеке и друга своего Сабыра. Ну, а из начальства прихвати Альжана Бекенова. И ступай, парень, не задерживай. Сам видишь, сколько у нас работы.

— Не спешите, — сказал я. — Нельзя же рубить с плеча. Ну, хорошо, со мной все понятно: нет чтобы жить, как все нормальные люди, начал писать стихи... А эти трое в чем виноваты? Трудятся они не покладая рук на благо народа.

Особенно меня удивило имя Темеке. Э-э, — подумал я, —

наверное, что-то натворил и наш аксакал. Надо же, не повезло Темеке — в день пятидесятилетия угодить прямо в ад. Даже звание Почетного шахтера не помогло.

— В чем же виноват Темеке? — спросил я, не выдержав.

— Ты непонятлив, как кошка, — покачал головой старший по званию ангел. — Он нарушил завет пророка Мухаммеда, напоил до чертиков в день своего пятидесятилетия двести уважаемых граждан Мысказгана.

Мы встретили хохотом эти слова Кайсара. Только Алжан напряженно ждал, к чему клонит рассказчик. А Кайсар невозмутимо продолжал:

— Что ж, — думаю я, — преступление действительно серьезное. Ничего не поделаешь, придется уважаемому Темеке отвечать. А вслух сказал: ладно, сдаюсь. С Акшаловым теперь все ясно. Но при чем тут мой друг Сабыр Шакиров?

Мутуали посмотрел на меня исподлобья и вздохнул:

— Плохо ты знаешь своих друзей. Твоя вина — пустяк по сравнению с грехом Сабыра. У него жена — хорошая женщина, а он мечтает о сказочной пери. Зачем ему это нужно, ты не знаешь, Кайсар? И я сказал: «Не знаю». А что мне было сказать?..

Я был изумлен — откуда он знает про Акбаян? И даже если он каким-то образом догадался, зачем говорить об этом вслух? Что это: предупреждение? Он ведь очень уважает мою жену.

Но пока я соображал, что же предпринять, слышались голоса:

— Ну, Кайсар, тут ты хватил через край!

— Мог бы придумать что-нибудь получше.

— Мог бы. Но ведь это сказал не я, а Мутуали, — возразил Кайсар, глядя на меня невинными глазами. — Я тоже был с ним не согласен. Но что поделаешь, сила была на его стороне. Мне же, бедному, ничего не оставалось, как поинтересоваться: а за какие грехи они отправляют в ад самого товарища Бекенова? Вроде бы наш трест выполнил все обязательства перед государством... Но Мутуали не дал мне даже закончить и закричал: «Убирайся вон, если ты даже не знаешь, что натворил управляющий трестом!» И я убрался вон, то есть в ад. А там меня уже дожидались все трое: Темеке, Сабыр и товарищ Бекенов.

— А что было дальше? — спросила Батима, смеясь. — Чем же закончил свой рассказ Кайсар-ага?



— А дальше нас отправили на шахту. В аду, оказывается, была своя шахта. Ведь черти разогревали свои котлы углем,— сказал я, воскрешая в памяти события того дня и помимо воли улыбаясь, хотя мне было не до смеха.— И потом Кайсар изложил все события, которые приключились с нами три года назад, когда мы попали в обвал. Он превзошел самого себя, изображая каждого из нас не хуже заправского артиста. И те, что ничего не знали, держались за животы от смеха. Молчали только мы с Темеке, Альжан и Акбаян.

— Представляю, как досталось Бекенову,— покачала головой Батима.

— Он стал главным героем рассказа. Стержнем. Все события крутились вокруг него. Хохот стоял невероятный. Темеке пытался остановить Кайсара, но тот уже разошелся вовсю, описывая, как метался от страха Альжан.

— Да, не пожалел он Бекенова,— промолвила Батима.

Но я не понял, осуждала она Кайсара или нет.

— Таков он всегда, Кайсар. Беспощадный к тем, кто с его точки зрения совершил хотя бы малую подлость,— сказал я и мысленно добавил: «Оттого-то и трудно с ним. Словно всегда находишься перед строгим судьей. Только вот беда, судит он по своим законам. А они не всегда справедливы». И я уже не раз тяготился дружбой с Кайсаром, только вот порвать с ним не могу, потому что люблю его, как брата.

— А что же Акбаян? Как она вела себя?— усмехнулась Батима.

И усмешка выдала ее. Это было главное, что ее интересовало.

— Она держала себя как-то странно. Мне казалось, ей станет горько за своего мужа. Самолюбия у нее было хоть отбавляй. Но тут она сидела на стуле, прямая, как струна. Холодная и гордая. Словно ее муж совершил не нечто постыдное, а подвиг.

— А что тут странного? — пренебрежительно произнесла Батима, пожав плечами.

Ох, как она не любила Акбаян! Но все-таки за что?

— Заканчивал свою историю Кайсар почти в гробовом молчании. Те, кто еще недавно смеялся до упаду, решили, что Кайсар перебрал за столом и утратил чувство меры. Когда Кайсар умолк, Акбаян встала из-за стола и сказала Альжану: «Чего только не бывает на том свете. Но нам, слава богу, еще до него далеко, мы живем на этом. У нас и

тут много дел. Идем домой, уже поздно». И она вместе с покорным мужем вышла, даже не попрощавшись. Кто-то обескураженно произнес: «М-да, нехорошо получилось». Я отвел Кайсара в сторону и спросил, зачем он это затеял. «Старался для тебя, — ответил Кайсар с кривой усмешкой, и тут в нем прорвалась досада. — Я хотел, чтобы она узнала наконец, что у нее за муж. Хотел открыть ей глаза!»

— А может быть, она не поняла, что эта история случилась на самом деле? — неуверенно предположила Батима.

— Не думаю. С одной стороны, я осуждал Кайсара за его жестокость. А с другой... Мне хотелось верить, что душа Акбаян чиста, как родник. Что ее с Альжаном соединил нелепый случай. И я следил за выражением ее лица. За каждым движением мускулов. Конечно, нельзя было ждать, что она тут же устроит мужу скандал. Но что-то должно было отразиться на ее лице? Удивление... Скрытый протест... В движении бровей... Губ... Во взгляде, направленном на Альжана.

— А может, они... два сапога — пара? — осторожно заметила Батима.

— Я тоже так решил. И делал все, чтобы подавить в себе какие-либо добрые чувства к Акбаян. Но я ошибался. И понял свою ошибку только через десять лет.

Батима улыбнулась, и улыбка эта была пронизана недоверием. И жалостью ко мне.

— Так вы говорите, что поняли свою ошибку только через десять лет? — переспросила она.

Как говорится в старых романах, ответом ей был мой скорбный вздох.

— Уж не в тот ли день вы это поняли, когда забыли свой пиджак у Акбаян? — насмешливо спросила Батима.

Чудно! Что она говорит? Я повесил пиджак на спинку стула в комнате Акбаян. Это было за минуту до приступа пронзительной сердечной боли. Не знаю, что произошло после того, как я потерял сознание, но то, что пиджак мой висел на спинке стула, помню хорошо. И привезти нас в больницу должны были вместе: меня и пиджак. Почему же Батима говорит, что я забыл его в комнате Акбаян?

— О чем вы говорите, Батима? — спросил я, недоумевая.

— А разве вы?.. — и тут Батима как-то непонятно рассмеелась, сказала: — Извините, Сабыр-ага, я пошутила. Я не хотела сказать. Это мы забыли пиджак у Акбаян,

пришлось за ним посылать машину. Просто мы думали, что Акбаян принесет его сама. А она, наверное, думала...

Батима запуталась, покраснела.

«Видать, заработалась, устала, бедняжка», — подумал я, и все же она поселила во мне смутное беспокойство.

— Впрочем, она недавно заходила опять. А вы боялись, что Акбаян больше не придет, — сказала Батима, словно стараясь исправиться.

Исчезла зыбкая тень. Для меня вновь засияло солнце...

А Батима словно решила, что если уж поднимать мое настроение, то, выражаясь языком канцелярий, на должную высоту.

— Оказывается, Акбаян уезжала в Караганду. По каким-то неотложным делам. Потому и не появлялась, — сообщила Батима. — И знаете, она за это время еще больше похорошела, — добавила она чуть ли не с осуждением.

— Правда? — вырвалось у меня.

Батима задумчиво посмотрела на меня, точно желая сказать: «Да, этот безнадежен».

— Вы любите ее еще сильнее, чем раньше. Что бы вы мне ни говорили, но это так, — грустно сказала Батима. — А она?

Этот прямой и невинный вопрос ужалил меня. Любит ли меня Акбаян? Я поймал себя на том, что до сих пор старался об этом не думать. Мне достаточно было и того, что она приходит в больницу, справляется о моем здоровье. Этого вполне хватало для самообмана. Как страусу — только бы спрятать голову под собственное крыло. Темно, зато кажется, что безопасно.

Так вот, любезный друг Сабыр, любит ли тебя Акбаян?

Начнем с того, что когда вдруг после стольких лет знакомства любовь вспыхивает, точно спичка, это по меньшей мере странно. Любовь ли это? Двадцать с лишним лет — не слишком ли велик срок, чтобы выросло чувство? Конечно, не всегда рождается любовь с первого взгляда. Но инкубационный период в два десятка лет? Когда я был молод, полон энергии, когда передо мной только еще открывалось будущее, это ее не интересовало. Она полюбила меня, когда я стал пожилым мужчиной, вдовцом, отцом-одиночкой, а жизнь моя начала приближаться к закату. Скажи откровенно, Сабыр, ты веришь в такой вариант?

А если это и есть любовь с первого взгляда? Только этот взгляд был брошен теперь, и я, старый, до чертиков знакомый, вдруг подставился Акбаян какой-то новой, не-

жан этого не понял. Как ни странно, в труднейшие годы войны Альжану было легче руководить своим трестом. Тогда он мог стукнуть кулаком по столу и сказать: «Техника, говоришь, не может? А ты технику заставь! И сам смочи!» Или: «На войне, понимаешь, молодые люди, как ты, кровь свою проливают, а ты тут с кем воюешь? Со мной?» Тогда в подобном руководстве, наверное, был необходимый смысл. Люди совершали дела, превосходящие пределы обычных человеческих сил. И жесткая воля командира помогала им преодолеть этот предел.

Но теперь все решало знание производства и психологии людей. Но Бекенов же по-прежнему думал, что надо только нажать, а там пойдет. В инженерной мысли происходили крутые сдвиги, рождались новые смелые идеи, а он упорно считал, что все решает железный характер руководителя.

Это было заметно не только мне. Акшалов пробовал говорить с Альжаном. Но куда там! Альжан уважал Темеке, но полагал, что тот ничего не понимает в организационной работе. И чем больше его старались предостеречь, тем неприступней делалась его амбиция. По-моему, Альжан вообразил, что мы составили против него заговор, и искал в каждом нашем слове подвох.

И вот с таким вечно раздраженным, упрямым Альжаном Бекеновым мне и пришлось сойтись лицом к лицу во время поисков нового метода разработки восточного месторождения. В этой схватке мы не жалели друг друга. Чаши весов склонялись то в его, то в мою сторону. Альжан сопротивлялся так, будто поставлена на карту его жизнь. Но в конце концов Бекенов проиграл. По инициативе областного партийного руководства был создан отдельный трест для открытой разработки восточного месторождения. Меня назначили в новый трест главным инженером, и вот теперь я уже управляющий трестом. В прошлом году настал мой черед: как некогда Темеке—мне исполнилось пятьдесят лет. В этот день в газетах появился указ о присвоении мне звания Героя Социалистического Труда. Награда неожиданная и самая высокая, о какой только может мечтать трудовой человек. Я бы сказал, что к этому времени жизнь моя сложилась счастливо, если бы в эту пору не умер мой верный заботливый друг — Татьяна. И если бы не тревожила меня временами мысль о непойманной золотой птице.

После того как я ушел из треста Бекенова, мы с Альжаном виделись только на совещаниях. Иногда до меня до-

ходили слухи, что он все чаще допускает ошибки, по-прежнему не терпит никакой критики, работая по принципу: сам хозяин — сам и судья. И что держится он все еще на руководящей должности только благодаря старым заслугам. Впрочем, об этом же я слышал и на совещаниях, когда критиковали Альжана.

Я чувствовал, что все это кончится для него плохо. Ведь один неверный шаг иногда подобен тому маленькому камешку, который, падая с вершины, вызывает горный обвал. Я решил поговорить с Бекеновым и однажды позвонил ему в трест, чтобы условиться о встрече. Мне ответили, что управляющий еще не появлялся на работе. Я взглянул на часы — помню, было около двенадцати дня — и набрал его домашний номер, моля несуществующего бога, чтобы к телефону не подошла Акбаян. Трубку снял Альжан.

— Кто это? — грубо спросил Альжан.

— Это Сабыр, — ответил я. — Нам нужно встретиться.

Раздался дребезжащий смешок.

— Альжан, что с вами? — спросил я, тревожась.

— Хочется посмотреть: в кого превратился Бекенов? А я вам не дам такой возможности. Ясно? — торжествующе сказал он и бросил трубку.

Я понял, что он вдребезги пьян.

Предчувствие не обмануло меня. В тот же день я узнал, что бюро горкома отстранило Бекенова от руководства трестом, и Альжан уехал рядовым инженером на один из рудников возле Караганды. А спустя месяц я услышал, что от него ушла Акбаян. Будто бы потому, толковали кумушки, что от Альжана у нее не было детей...

Это известие взволновало меня, вызвало разноречивые чувства. Где теперь Акбаян? Что с ней? Ведь, кроме Альжана, у нее никого нет. После смерти матери и брата она осталась одна-одинешенька.

В то же время мне было жаль и самого Бекенова, хотя я до сих пор не мог забыть, как он когда-то шутя увел у меня любимую девушку. Ведь не появился он в то время, не покори Акбаян своими фальшивыми чарами, возможно, для нас обоих вся жизнь сложилась бы иначе. Но все равно — не дай бог такого несчастья даже злейшему моему врагу, какое приключилось с Альжаном. Ведь Акбаян бросила Альжана в самую трудную для него минуту.

Как-то в эти дни я зашел навестить Акшалова. Но Темеке не было дома.

— Посиди, он скоро придет, — сказала его жена. — Ты слышал, что говорят длинные языки про Акбаян? Никто не знает, что там произошло. А я считаю так: ушла и правильно сделала! Не принесло ей замужество счастья, только зря потратила свою молодость. Не любила она Альжана, вот что я тебе скажу.

Я неопределенно пожал плечами.

— Не веришь? Тогда слушай. Не хотела я тебе этого говорить, да, видно, придется. Так вот: помнишь, как вы угодили в обвал? Ты не представляешь, какой наверху поднялся переполох. Об этом тут же узнал весь город. Когда я прибежала на территорию шахты, Акбаян была уже там. Она бросилась ко мне, и мне показалось, что она спятила. Акбаян все время гвердила: «Он там, он умрет». А знаешь, за кого она так боялась? За тебя! Да-да, за тебя, Сабыр! Женщина в такие минуты всегда выдает себя! Я никому не говорила об этом, не хотела выдавать Акбаян. Думала, пусть успокоится, сама во всем разберется. И если решится, сама тебе скажет. Да и тебя не хотелось смущать. У нее Альжан. У тебя Татьяна. И еще неизвестно, как ты к этому отнесешься сам. А я очень любила Татьяну. Ну, а теперь дело давнее! С годами все прошло...

Если бы она знала, что ничего не прошло! Что годы только слегка затушевали мое чувство к Акбаян, но уничтожить его у них не хватило сил. Но тем не менее жена Темеке не слишком рисковала. Я не поверил в ее рассказ и решил, что после стольких лет она что-то путает. Бывает же, что человеку вначале только покажется, а через год-другой он уже уверен в том, что так и было на самом деле. Если бы Акбаян любила меня, она за все это долгое время не могла бы не выдать себя. Хоть словом, хоть взглядом... Я тотчас бы это заметил.

И вот в те дни, когда Альжан уехал, а кумушки перемывали косточки его бывшей жене, я увидел ее в ресторанчике около пляжа.

Тогда Батима ушла на дежурство в медпункт, а я остался за столиком один, в нескольких метрах от Акбаян, сидевшей с незнакомым мне жигитом.

Я старался не смотреть на Акбаян. Но мой взгляд то и дело, помимо моей воли, смещался в ее сторону. А она что-то говорила своему собеседнику, изредка поглядывая на меня. Когда наши взгляды встречались, губы ее трогала

улыбка. Словно мы с ней были заговорщиками и знали то, что неведомо остальным. Потом она встала из-за столика, взяла свою сумочку и протянула жигиту ладошку. Я понял, что она прощается и уходит одна. Жигит что-то начал говорить, видимо, убеждал остаться, но Акбаян покачала головой, вынула свою ладошку из широкой лапы мужчины и направилась прямо к... моему столику.

Я замороженно следил за тем, как она приближается ко мне, сияя приветливой улыбкой, а в мозгу моем лихорадочно билось: «О чем мне с ней говорить? О чем?»

В последний раз мы встречались, когда она после смерти Татьяны зашла ко мне выразить свое сочувствие. Акбаян присела на край стула и говорила что-то, должно быть, утешительное. Но я еще не пришел в себя и потому не видел ее и не слышал. Потом она поднялась и направилась к выходу, продолжая что-то говорить, я проводил ее до дверей, точно в полусне.

И вот сейчас Акбаян приближалась ко мне, приветливо улыбаясь. Над ее головой только что пронеслась буря, но на лице Акбаян она не оставила даже следа. Это была прежняя Акбаян, какой я видел ее в пору расцвета.

Где-то я читал однажды о том, что женщина, которую ты когда-то любил в молодости, навсегда сохраняет над тобой магическую власть. Сказано, может быть, несколько претенциозно. Но что до меня, то ко мне это подходит точно. И потому, наверное, во мне накрепко засели эти слова. Уж казалось бы, я должен был ненавидеть Акбаян. Не за то, что она полюбила другого, а за то, что некогда пренебрежительно отнеслась к моим чувствам. И все же при виде ее я теряю всю свою волю. Очевидно, не всегда любовь поднимает человека. Иногда она унижает его. Кажется, так именно происходит со мной. Но я ничего не могу с собой поделать. Порой моя любовь к Акбаян напоминает мне гладь озера, которая зеркальна и безмятежна, но вот подул ветер — и помчались по озеру беспокойные волны. Такое происходит и со мной. Кажется, все уже миновало, на душе тихо и спокойно. Но стоит появиться Акбаян, и со мной творится черт знает что.

Иногда я задаю себе вопрос: можно ли вечно любить одного человека? И что было бы с любовью Ромео и Джульетты, если бы для них все кончилось счастливо и они остались бы живы? Выдержала бы она испытание временем и тем, что мы называем прозой жизни? Представляю, какой бы вдруг поднялся крик: «Ага, видели? Так было

— Посиди, он скоро придет,— сказала его жена.— Ты слышал, что говорят длинные языки про Акбаян? Никто не знает, что там произошло. А я считаю так: ушла и правильно сделала! Не принесло ей замужество счастья, только зря потратила свою молодость. Не любила она Альжана, вот что я тебе скажу.

Я неопределенно пожал плечами.

— Не веришь? Тогда слушай. Не хотела я тебе этого говорить, да, видно, придется. Так вот: помнишь, как вы угодили в обвал? Ты не представляешь, какой наверху поднялся переполох. Об этом тут же узнал весь город. Когда я прибежала на территорию шахты, Акбаян была уже там. Она бросилась ко мне, и мне показалось, что она спятила. Акбаян все время гвердила: «Он там, он умрет». А знаешь, за кого она так боялась? За тебя! Да-да, за тебя, Сабыр! Женщина в такие минуты всегда выдает себя! Я никому не говорила об этом, не хотела выдавать Акбаян. Думала, пусть успокоится, сама во всем разберется. И если решится, сама тебе скажет. Да и тебя не хотелось смущать. У нее Альжан. У тебя Татьяна. И еще неизвестно, как ты к этому отнесешься сам. А я очень любила Татьяну. Ну, а теперь дело давнее! С годами все прошло...

Если бы она знала, что ничего не прошло! Что годы только слегка затушевывали мое чувство к Акбаян, но уничтожить его у них не хватило сил. Но тем не менее жена Темеке не слишком рисковала. Я не поверил в ее рассказ и решил, что после стольких лет она что-то путает. Бывает же, что человеку вначале только покажется, а через год-другой он уже уверен в том, что так и было на самом деле. Если бы Акбаян любила меня, она за все это долгое время не могла бы не выдать себя. Хоть словом, хоть взглядом... Я тотчас бы это заметил.

И вот в те дни, когда Альжан уехал, а кумушки перемывали косточки его бывшей жене, я увидел ее в ресторанчике около пляжа.

Тогда Батима ушла на дежурство в медпункт, а я остался за столиком один, в нескольких метрах от Акбаян, сидевшей с незнакомым мне жигитом.

Я старался не смотреть на Акбаян. Но мой взгляд то и дело, помимо моей воли, смещался в ее сторону. А она что-то говорила своему собеседнику, изредка поглядывая на меня. Когда наши взгляды встречались, губы ее трогала



улыбка. Словно мы с ней были заговорщиками и знали то, что неизвестно остальным. Потом она встала из-за столика, взяла свою сумочку и протянула жигиту ладошку. Я понял, что она прощается и уходит одна. Жигит что-то начал говорить, видимо, убеждал остаться, но Акбаян покачала головой, вынула свою ладошку из широкой лапы мужчины и направилась прямо к... моему столику.

Я заворожено следил за тем, как она приближается ко мне, сияя приветливой улыбкой, а в мозгу моем лихорадочно билось: «О чем мне с ней говорить? О чем?»

В последний раз мы встречались, когда она после смерти Татьяны зашла ко мне выразить свое сочувствие. Акбаян присела на край стула и говорила что-то, должно быть, утешительное. Но я еще не пришел в себя и потому не видел ее и не слышал. Потом она поднялась и направилась к выходу, продолжая что-то говорить, я проводил ее до дверей, точно в полусне.

И вот сейчас Акбаян приближалась ко мне, приветливо улыбаясь. Над ее головой только что пронеслась буря, но на лице Акбаян она не оставила даже следа. Это была прежняя Акбаян, какой я видел ее в пору расцвета.

Где-то я читал однажды о том, что женщина, которую ты когда-то любил в молодости, навсегда сохраняет над тобой магическую власть. Сказано, может быть, несколько претенциозно. Но что до меня, то ко мне это подходит точно. И потому, наверное, во мне накрепко засели эти слова. Уж казалось бы, я должен был ненавидеть Акбаян. Не за то, что она полюбила другого, а за то, что некогда пренебрежительно отнеслась к моим чувствам. И все же при виде ее я теряю всю свою волю. Очевидно, не всегда любовь поднимает человека. Иногда она унижает его. Кажется, так именно происходит со мной. Но я ничего не могу с собой поделать. Порой моя любовь к Акбаян напоминает мне гладь озера, которая зеркальна и безмятежна, но вот подул ветер — и помчались по озеру беспокойные волны. Такое происходит и со мной. Кажется, все уже миновало, на душе тихо и спокойно. Но стоит появиться Акбаян, и со мной творится черт знает что.

Иногда я задаю себе вопрос: можно ли вечно любить одного человека? И что было бы с любовью Ромео и Джульетты, если бы для них все кончилось счастливо и они остались бы живы? Выдержала бы она испытание временем и тем, что мы называем прозой жизни? Представляю, какой бы вдруг поднялся крик: «Ага, видели? Так было

и так будет! А еще пьесы пишут о них, спектакли ставят, фильмы снимают! А я знал, что этим кончится. Нет ее, вечной любви!»

На свете немало людей, чьи чувства готовы воспламениться даже от маленькой искорки. Но, наверное, немного найдется таких, которые способны пронести свою любовь через всю жизнь. Они стареют сами, дряхлеют их любимые, но в сердце их, отмеченном следами инфарктов, по-прежнему говорит молодая любовь. Эти люди напоминают мне хранителей бесценных сокровищ. Потому что, по-моему, нет большего сокровища на свете, чем любовь. Таких однолюбов можно назвать хранителями вечной любви. Нет, себя к этим людям я не смел отнести. Графически моя любовь к Акбаян напоминала пунктирную линию, которая то исчезала, то появлялась вновь.

Конечно, за считанные секунды, пока Акбаян пересекала зал ресторана, направляясь ко мне, я бы не успел столько передумать. Это, так сказать, небольшое отступление от рассказа. Есть, есть у нас, казахов, такой грешок. Любим мы иногда отойти от сути дела и произнести перед слушателем небольшой монолог. И попытаться в нем объять все необъятное.

Итак, Акбаян, улыбаясь, приближалась ко мне, а я тщетно пытался вернуть себе самообладание. Вероятно, эта отчаянная внутренняя борьба отразилась на моем лице, потому что Акбаян, остановившись перед моим столиком, первым делом заботливо осведомилась:

— Как ты себя чувствуешь, Сабыр? Ты здоров?

— Спасибо... Вполне здоров. А ты? — ответил я несколько смущенно.

— Позволишь мне присесть? — спросила Акбаян, наблюдая за мной все с той же приветливой улыбкой.

— О чем разговор? — Я отодвинул стул и от неловкости поставил его при этом так, что ей пришлось обойти вокруг стола.

Когда она села, я неожиданно для самого себя спросил ее в упор:

— Акбаян, а кто этот жигит, с которым ты сейчас сидела?

— Директор одного магазина, — небрежно сказала Акбаян. — Ехал на озеро на своей машине и по дороге подвез меня. А почему тебя это интересует? Ты ревнуешь меня? Правда? — по-детски обрадовалась она.

Я смутился, пробормотал:

— С чего ты взяла? Мне просто показалось, что мы с ним знакомы. Только я забыл, кто он.

Акбаян шутливо погрозила пальцем.

— Не обманывай! Я вижу, ты ревнуешь. У тебя всегда все написано на лице. Да и зачем скрывать? В этом же нет ничего зазорного... Я вот ревную тебя и не боюсь признаться.

Вот новость! Да нет, она смеется надо мной. С тех пор как Акбаян вышла замуж за Бекенова, она ничем не отличала меня от других своих знакомых. Относилась по-дружески, доброжелательно, и только.

— Ты ревнуешь? Не смей меня,— сказал я, стараясь казаться равнодушным.

— Не веришь? А я ревновала тебя все эти двадцать лет. И даже сейчас ревновала к той женщине, которая только что сидела рядом с тобой.

Ее голос звучал вроде бы искренне. Но мне все равно казалось, что она потешается надо мной.

— Я понимаю, тебе это странно слушать,— вздохнула Акбаян.

Ох, как трудно устоять перед словами женщины, которая знает, что ты ее любишь!

— Ревнуют любимых. А ты никогда не любила меня,— отчаянно возразил я.

Она помолчала и улыбнулась:

— Не только любимых. Ревнуют своих обожателей, ревнуют преданных собак. Даже вещи ревнуют к новым хозяевам. Но я, наверное, любила тебя. Потому и запрещала себе ходить туда, где был ты, даже думать о тебе запрещала.

— Но почему же ты вышла за Альжана? — зло спросил я, наконец-то взяв себя в руки.— Насколько мне известно, обычно в жизни поступают иначе: выходят замуж за тех, кого любят.

И снова та же печальная покровительственная улыбка.

— Опять ты ошибаешься. Иногда женщины предпочитают любви расчет. Так и я вышла за Альжана — по расчету. Только у меня был другого рода расчет. Я любила тебя, но ты был обычный человек, у тебя были свои слабости. А мне хотелось встретить сильного человека, который повел бы меня за собой. И вдруг появился Альжан. Мужчина, для которого нет преград... Я и провожать тебя не пошла, боялась — в последнюю минуту не выдержу, кинусь тебе на шею. А потом увидела, что Альжан — попросту

позер, жалкий человек, прикрывающий свою немощь властью, которую ему вручили, не зная, что он представляет на деле. Увидела, да было поздно. Но ты ошибаешься, если думаешь, что я все-таки решила попытаться взять у жизни свое, пришла просить у тебя прощения и каяться. Что было, то прошло. Былого не воротить. Но когда я увидела сегодня тебя, что-то на меня нашло... Не сердись на меня за это, Сабыр.

У меня не было права не верить ей.

— Но почему ты ушла от Альжана?

— Ты, конечно, слышал, что говорят люди,— сказала она с горькой усмешкой.— Не верь им... Ты не должен верить, если бы и захотел. Они меня не знают, как знаешь ты, Сабыр.

Перед моими глазами на мгновение возник образ тоненькой своенравной девчушки. На меня дохнуло нашей юностью. Я невольно прикрыл глаза, пытаюсь удержать это ощущение. Но оно тут же исчезло. Передо мной сидела сорокалетняя женщина, которую я, в сущности, уже плохо знал.

— Акбаян, это было когда-то. С тех пор прошло много лет,— мягко напомнил я.

— А для меня не просто «много». С той поры для меня прошла целая жизнь. Но я не изменилась, Сабыр.

— Я тебе верю,— сказал я.— Верю, что ты не могла бросить Альжана. И если ты ушла, значит, была серьезная причина.

Акбаян удовлетворенно кивнула.

— Но не подумай, будто я ушла от него потому, что наконец взяла верх любовь к тебе. Уж раз так случилось, что вышла за Альжана, я прожила бы с ним до конца и разделила его беду. Если я ушла, то потому, что так ему будет лучше.

— Одному-то? — усомнился я.— Без тебя?

— Он не будет один. Ему очень хотелось иметь ребенка. Но судьба наказала меня, я не смогла подарить ему эту радость. Теперь у него есть сын.

— Акбаян, что ты говоришь?

— Это правда, Сабыр. Альжан сошелся с одной девушкой, работавшей у него в тресте, она забеременела. Когда это выяснилось, Альжан испугался за свою репутацию и отправил ее к своим родителям. Они живут под Карагандой, на Успенском руднике. Теперь и он работает там. Ну, а что оставалось мне? Я решила ему не мешать. Пусть же-

нится на матери своего ребенка и будет счастлив! Всю жизнь я думала только о себе, дай-ка хоть разок о других подумаю.

Мне никогда не приходило в голову, что у Альжана и Акбаян в жизни могут быть какие-то сложности. Они всегда казались благополучной семьей, но, выходит, за розовым фасадом разыгрывалась тяжелая драма.

Мне было совестно за то, что своим бестактным вопросом растравил ее душевные раны.

— Прости меня, Акбаян. Я не думал, что...

— Что я могу быть героиней трагедии? Ничего,— перебила меня Акбаян.— Может, к лучшему, что ты об этом спросил. Все равно я должна была все рассказать тебе, чтобы ты слухам не верил. А кроме того, не так часто мне доводилось совершать добрые дела. Может, теперь немножко вырасту в твоих глазах,— закончила она со слабой улыбкой.

Двадцать минувших лет показались мне двадцатью днями. Будто мы снова вернулись в нашу юность. И не было еще войны, и не было еще Альжана. Ко мне вновь спустилась моя золотая птица. Она не сводила с меня своих огромных глаз, и они постепенно светлели. Их покидала печаль.

Мы долго молчали и смотрели друг другу в глаза. Как когда-то — счастливые и молодые. Я даже не заметил, в какой момент вдруг рухнула между нами стена.

— Сабыр, мне даже не верится, что мы так просто сидим, разговариваем,— она довольно хмыкнула.

— Мне тоже,— признался я.— Может, это нам только мерещится?..

Акбаян внезапно о чем-то вспомнила, беспокойно огляделась по сторонам.

— Нам лучше уйти отсюда. Все смотрят на нас,— озабоченно сказала она.

— Ну и пусть смотрят на здоровье,— ответил я беспечно.

— Что ты? Что значит — «пусть»? Ты еще не знаешь, что такое сплетни. «Смотрите, эта хищница теперь нацелилась на бедного вдовца Шакирова!» Сабыр, идем на воздух, прошу тебя,— сказала она, все больше волнуясь.

— Хороший человек так не скажет, а на плохого не обращай внимания. Но если ты хочешь...— ответил я и тоже поднялся из-за стола.

Мы прошли по аллее и, как двадцать лет тому назад, сели на скамейку. Над нами точно так же качали ветвями деревья, ветерок пытался остудить наши разгоряченные лица. Как тогда, мы взялись за руки — и вновь учащенно застучали наши сердца. Заблестели глаза Акбаян. Теперь не хватало только Альжана... Но я знал, что он уже не придет, не разрушит мое счастье.

Но это возвращение в прошлое больше не повторялось, хотя теперь мы встречались почти каждый день.

Через месяц я сделал ей предложение. И она без колебаний приняла его. А назавтра Акбаян впервые пригласила меня к себе домой.

Открыв мне дверь, она настороженно заглянула за мое плечо: нет ли кого на лестничной площадке. Меня позабавила ее излишняя осторожность. Пройдет несколько дней, мы станем мужем и женой, и Акбаян не придется опасаться недоброй молвы.

— Проходи быстрее, — шепнула она.

И, пропустив меня в прихожую, торопливо захлопнула дверь.

А потом... Потом я очнулся здесь, в этой палате...

Его трубный голос я услышал, когда он еще шагал по коридору. А потом открылась дверь, и в палату вошел Кайсар в неуклюже сидящем на его плечах белом халате.

— К тебе можно? — как-то странно спросил он.

— Милости просим, — сказал я, радуясь его появлению.

В конце концов, Кайсар — мой лучший друг, и кому-кому, а ему все-таки придется рассказать о моих отношениях с Акбаян. И лучше это сделать сейчас. Он, возможно, что-нибудь да посоветует. А если что не так, то без церемоний выскажет прямо в лицо. Это же его слова, Кайсара: «Тот, кто боится скальпеля, не вылечится от болезни, сердце, которое боится правды, не освободится от боли».

Обычно, когда он появлялся, шутки, поговорки и небылицы так и сыпались с его языка. Но на этот раз лицо Кайсара было суровым. Я же, по привычке, не принял этого всерьез.

— Ну, с чего начнешь? — спросил он.

Потом наклонился ко мне и осторожно спросил:

— Как ты себя чувствуешь?

— Отлично! — сказал я.

— Точно? — на всякий случай спросил Кайсар.

— Температура, давление, словом, все — в норме, — от-  
рапортовал я.

— Ну, если так, то могу тебе сказать все, что думаю по  
этому поводу, — с облегчением сообщил Кайсар. — Мы с то-  
бой друзья?

— Закадычные, — заверил я его.

— И ты мне честно ответишь, если я спрошу? — про-  
должал Кайсар, не обращая внимания на мою иронию.

— Я же тебе сказал.

— Ну, ладно.

Кайсар глубоко вздохнул, словно запасался возду-  
хом.

— Послушай, за каким чертом ты путаешься с бывшей  
женой Бекенова? Надеешься найти у нее утешение? Как  
бы не так! Если уж она предала мужа, с которым прожила  
столько лет, то тебя-то продаст и подавно!

— Кайсар!

— Подожди. Выслушай, что я тебе скажу.

Я хотел его прервать, но не тут-то было.

— Мне и раньше говорили, что видели тебя с Акба-  
ян, — продолжал Кайсар, все больше распаляясь. — А я,  
остолоп, подумал: ну и что? Даже в просторном небе — и  
то у птиц пересекаются пути. Сабыр мог случайно встре-  
тить на улице Акбаян. И заговорить. Он и она все-таки  
старые знакомые. Почему бы им не перекинуться словом-  
другим? Если бы я знал, что ты будешь валяться на лест-  
ничной площадке перед дверью Акбаян... Но я только вче-  
ра узнал об этом.

«Он пьян? Или сошел с ума?» — пронеслось у меня в  
голове.

— Замолчи, Кайсар! О чем ты говоришь?..

Он уставился на меня.

— Ты что? Ничего не знаешь? Не помнишь? Скорая  
помощь подобрала тебя на лестничной площадке перед  
дверью Акбаян. Неужели тебе никто не сказал?.. А что до  
самой Акбаян, она, говорят, явилась, когда тебя уже поло-  
жили на носилки. Акбаян, видишь ли, была в магазине.  
А ты будто бы в это время пришел. Звонил, звонил, не  
дозвонился и потерял сознание. Из-за расстройства, что ее  
нет дома. Только одно неясно: каким образом ты оказался  
без пиджака? И каким образом он в это время очутился на  
стуле в квартире Акбаян? Как он проник через закрытую  
дверь?

Я ничего не понимал и только таращил на Кайсара глаза. Он, наверное, заподозрил, что у меня начисто отшибло память.

— Сабыр, как ты очутился на лестничной площадке? Вы поругались, и ты сгоряча выскочил за дверь, забыв надеть пиджак?

Я покачал головой.

— Значит, Акбаян сама вытащила тебя на площадку?..

Я вспомнил, как Батима уже однажды сказала, что я забыл пиджак у Акбаян, но поняв, что я ничего не знаю, отступила от своих слов. Значит, это была правда...

Кайсар отошел к окну, повернулся ко мне спиной, давая мне возможность осознать самому горькую правду о золотой птице. Потом он, не оборачиваясь, сказал:

— Может, у тебя и сохранилось что-то к этой вертихвостке. Но ты не десятиклассник, давно ходишь в зрелых мужчинах, надо держать себя в руках. Ты не молод, тебе нужна женщина, которая бы заботилась о тебе, берегла твоё здоровье. Такая, например, как Батима.

— При чем здесь Батима?..

— Ты не знаешь женщин,— перебил меня Кайсар.— И случай с Акбаян лишний раз доказывает это...

Я еще пытался как-то ее оправдать, но голос Кайсара долетел словно откуда-то издалека. Потом я услышал:

— Сабыр, что с тобой? Сестра!.. Сестра!..

Придя в себя, я увидел Батиму, шприц в ее руках. Она тревожно смотрела на меня. А в моих ногах сидел Кайсар. Я не сразу узнал своего друга, так изменилось его лицо. Губы Кайсара дрожали, а сам он был блее моей простыни.

Пожалуй, впервые за все годы нашего общения он вызывал чувство жалости.

— Успокойся, Кайсар. Все прошло... Я сам виноват,— сказал я, стараясь подбодрить его улыбкой.

— Ты же сказал, что чувствуешь себя хорошо,— бормотал Кайсар.

— Вот я и говорю, что все в порядке.

— Сабыр-ага, уж вам-то следовало бы помолчать,— сердито вмешалась Батима и тут же не выдержала, улыбнулась.— Ну, конечно, ничего страшного. Всего лишь легкий обморок. Это случается у современных мужчин. А вы, Кайсар-ага, идите домой, отдохните. Я что-то не пойму, кто же из вас больной?

— Слушаюсь, иду. Спасибо тебе, сестричка,— с необычной покладистостью согласился Кайсар.



В дверях он улыбнулся, показал глазами на Батиму и поднял большой палец. В знак одобрения. Уж так ему хочется женить меня на Батиме. А мнение самой Батимы его почему-то не интересует.

Через десять дней я уже гулял по аллеям больничного парка. Сказалось лечение, установленное опытными врачами, и внимательный уход Батимы. Но моему выздоровлению способствовало и другое. Я избавился от призрака золотой птицы, мучившего мою душу на протяжении стольких лет. Мое состояние было похоже на пробуждение от дурного сна.

«Как нет радости бесконечной, так и горе не бывает нескончаемым,— говорил я себе.— Все прошло, и слава богу. Жизнь, конечно, заново не начнешь. Но и остаток ее можно достойно прожить. У тебя есть дочь, славная девушка Аида...» Я рисовал себе сцены из идиллии «Дочь и отец». И шутил над собой: кто, мол, знает, может, еще найдется и ласковая симпатичная женщина, которая не погнушается выйти за пожилого вдовца. Словом, не все было потеряно, еще оставалось в моей жизни такое, о чем можно и помечтать. Но, странное дело, мечты мои напоминали стреноженного коня, неуклюже и беспомощно прыгающего на одном месте. Не было полета у них. Не рвалась душа в облака, как раньше.

Однажды, когда я гулял по парку и забрел в его дальний конец, где было безлюдно и тихо, передо мной, будто из-под земли, появился Кайсар. Я вздрогнул, услышав посреди птичьего пенья и шелеста листьев его громкий возбужденный голос.

— Еле тебя нашел! — закричал он так оглушительно, точно нас разделяла сотня метров.— Теперь вижу сам, что ты здоров. Не успел вылезти из постели, а уже носится по парку, как ветер. Что там ветер? Буря! Ураган!

Он явился какой-то всклокоченный, взвинченный, и если уж кто походил на ураган, так это он, Кайсар. Я сразу понял: он пришел неспроста. Произошло что-то необычайное, выбившее его из колеи.

— Ну, что нового на шахте? — спросил я, чтобы подтолкнуть его к существу дела.

Я был уверен, что необычное происшествие связано с шахтой.

— На шахте? — переспросил Кайсар, с усилием переключая свои мысли. — На шахте новый порядок!

Мы побрели по аллее, и Кайсар начал рассказывать о том, как идут дела на шахте. Но я чувствовал, что мысли его витают где-то в другом месте.

Неожиданно он прервал рассказ и остановил меня, положив руку на мое плечо.

— Послушай, Сабыр, сегодня я видел Акбаян, — почти вызывающе сообщил Кайсар.

От неожиданности я вздрогнул. Видимо, еще не успел отвыкнуть от ее имени, которое почти всю жизнь носил в сердце, как амулет. Но это быстро прошло.

— Ну и что? — спросил я равнодушно. — Меня это не интересует. Может, поговорим о чем-нибудь другом?..

— Иду мимо первой аптеки, а навстречу Акбаян. Я даже не узнал ее сначала. Так осунулась, похудела за это время, стала как щепка, — продолжал Кайсар, не слушая меня. — Я прямо остолбенел. «Что, говорю, с тобой? Может, заболела?..» Ну, и она мне все рассказала. О тебе, об Альжане... Мы долго ходили по улицам, и она только и говорила, как тебя любит. Сильно переживает, доложу я тебе.

— И ты поверил? — усмехнулся я.

— Она так искренне говорила... Такое человек не может сочинить, — серьезно сказал Кайсар.

Я был удивлен: что это с ним?..

— Она всю душу передо мной раскрыла, — добавил Кайсар. — И, знаешь, другая бы начала: «Он моя жизнь», «Жить без него не могу». А она — нет. Это все у нее, наверное, внутри. И страшно терзается, переживает после всего, что произошло. Что-то на нее, видно, нашло, перепугалась до ужаса, не соображала, что делает... Ну, а когда опомнилась, снова ее взял испуг. На этот раз за тебя. Побежала домой, а там уже скорая помощь.

— Что же выходит? Ты защищаешь ее? Я так тебя понял?..

— Разобраться в поступке — еще не значит простить, — ответил Кайсар.

— Вот видишь!

— Я тебе толкую о другом. Она места себе не может найти. Ее съедает вина. Ей стыдно перед тобой. Понимаешь?.. Я послушал ее и понял, что Акбаян не совсем уж пропадающая женщина...

— И это говоришь ты?..

Кайсар вдруг широко улыбнулся, взял меня под руку и повел по аллее в сторону больничного корпуса.

— У нас в ауле еще до революции жил пастух по имени Жаубасар. Он почти всю жизнь, с малых лет, пас верблюдов. Был у него младший брат, которого звали Копжасар. Младшему брату уже исполнилось сорок, а он все оставался холостым. Никто не хотел отдавать свою дочь за батрака, у которого всего-то богатства — пара рваных штанов. Но вот приглянулся Копжасар одной богатой вдове. Она решила взять его себе в мужа и начала готовить свадебный той. Пригласила свою родню, родню жениха — старшего брата и его жену. Жена Жаубасара купила на последние деньги кусок мыла и дала мужу вымыть руки, которые потрескались, стали черными после многих лет ухода за верблюдами и едкой степной грязью. «Отмой хорошенько, не позорь своего брата», — сказала она. Жаубасар взял мыло и начал тереть ладони. Мыло запенилось, стало разъедать раны на его руках. Жаубасар заскрипел от боли зубами, застонал и, не выдержав, сказал жене, которая лила ему на руки воду: «И зачем ты устроила мне такую пытку?.. Можно подумать, это я женюсь на вдове, а не Копжасар!» Так вот, Сабыр, сказал бы тебе Жаубасар, ты полюбил Акбаян, а она тебя. И не мне, а тебе расхлебывать эту кашу до конца. Как ты это сделаешь, это уж твоя забота.

Кайсар, видимо, считал свой долг исполненным. Он проводил меня до входа в больничный корпус, и здесь мы расстались.

— Смотри, не забудь про Акбаян, — напомнил Кайсар, прощаясь.

Но Акбаян уже не было места в моем сердце. Оно наглухо закрылось для нее. Исчезла золотая птица, вместо нее остался кусок обыкновенной меди. А сколько ни называй золотом медь, она от этого ценнее не станет.

«Что же все-таки случилось с Акбаян?» — спрашивал я себя.

Я помнил ее другой.

Это было предвоенной весной, когда над рудником пролетали стаи диких гусей и уток, возвращавшихся из далеких стран на родные озерные глади, на зеленые просторы Арки. Их криканье и гогот разносились над поселком, над степью, словно извещая все живое о наступлении весны. Да и степь сейчас трудно было узнать. Отогревшаяся после

зимы, размякшая от тепла, обычно серая, обожженная зно-ем, она лежала торжественным многоцветным ковром. Ее малочисленные деревья оделись в свежие листочки. Даже простая трава в эту пору соперничала своей яркой зеленью с красными, синими, желтыми красками цветов.

Помнится, в тот день был выходной. Мой закадычный друг Садык уехал в командировку на Каскырсайский завод, и я, оставшись один, с непривычки не знал, куда себя деть. Повалявшись до полудня с книгой, я вышел из дома и побрел по поселку куда глаза глядят. Они привели меня в степь.

И здесь, в степи, я забыл про скуку, про то, что еще недавно не знал, как убить свободное время. Надо мной низко висело чистое синее небо. Тишину заполняло пение птиц, укрывшихся в густой траве, деловитый стрекот кузнечиков. А потом из-за сопки, как в сказке, появились девушки с букетами цветов. Впереди шла сестра Садыка — Акбаян. Я видел ее почти каждый день, когда заходил к своему другу, но до сих пор не обращал на нее внимания. Да и что могло быть интересного в этой нескладной угловатой девчонке? И когда Садык, смеясь, уверял меня, что я вскружил голову его сестре, я тоже смеялся вместе с ним.

И вот сейчас Акбаян, этот гадкий утенок, шла прямо на меня, словно в полусне. Еще немного, и мы бы столкнулись лбами.

— Эй, Акбаян, проснись, — весело окликнул я ее и осекся.

Можно было подумать, что Акбаян расцвела только за одну ночь и это утро. Я никогда не встречал такой красивой девушки. Даже скромные подснежники в ее руках показались мне букетом искр, укрошенных Акбаян.

Подружки Акбаян, посмеиваясь, прошли мимо нас, и мы остались одни. Так и стояли друг против друга. Акбаян могла обойти меня стороной, но что-то мешало ей сделать это, и она не сдвинулась с места.

— Почему вы один, Сабыр-ага? — спросила Акбаян, и ее большие черные глаза лукаво блеснули.

И голос у нее стал другой, мягкий, глубокий. Не прежний — резкий, почти мальчишеский... Сердце мое забилося.

— А разве я один? — спросил я.

Акбаян охотно вступила в предложенную игру и внимательно осмотрелась, как будто кто-то вправду мог сопровожждать меня:

— Я вижу только вашу тень, и больше никого...

— А небо? А птицы? А цветы? — пояснил я, словно бы торжествуя над ее недогадливостью.

Акбаян рассмеялась.

— Правда. А я и не подумала, — призналась она. — Но значит... Значит и все эти жучки, муравьи — они тоже с вами?..

— Они мои большие друзья!

— Завидую вам, Сабыр-ага, — сказала Акбаян, при творно вздохнув.

— Не беда, я сейчас тебя с ними познакомлю. Эй, вы все, идите к нам! — крикнул я, обращаясь ко всему, что летало и ползало в степи.

— Не идут, — огорчилась Акбаян не то в шутку, не то всерьез.

— Стесняются. Сегодня ты такая красивая. Но ничего, познакомишься в другой раз, — утешил я Акбаян. — Подождешь?

— Ага, подожду.

Мы, точно по команде, задрали головы вверх, будто надеялись что-то увидеть в густой небесной синеве. А потом я спросил:

— А ты откуда идешь, Акбаян?

— Ходили с подругами за цветами. Разве не видишь сам? — спросила она, легко и очень естественно перейдя на ты. Слово в этот момент перешагнула границу, за которой осталась девочка-подросток и начиналась жизнь уже вполне самостоятельной девушки.

— А для кого ты собирала цветы? Для меня?

Я сказал и сразу пожалел об этом. Шутка получилась не только корявой, но и навязчивой.

Акбаян покраснела, потупила глаза:

— Собирала для мамы и Садыка, — чуть помолчав, она добавила: — А вот этот, самый красивый, — тебе.

— Спасибо, Акбаян. Что же ты ждешь? Отдай его мне.

Акбаян выбрала из букета самый крупный, самый красивый подснежник и, по-прежнему не поднимая глаз, протянула мне. Я бережно взял цветок и прикрепил на груди, воткнув в петельку для пуговицы.

— Цветок похож на тебя. Такой же красивый.

Акбаян опять смутилась, опустила голову. И потом восторожно, будто тайком, взглянула на меня большим черным глазом.

— Это правда, что я красивая, как цветок? Или ты шутишь, потому что все еще считаешь меня маленькой?

— Нет, я ошибся. Ты красивей. Он такой невзрачный — рядом с тобой.

— Тогда... — Акбаян замялась.

Она не знала, как это сказать. Как выразить свою признательность за первый услышанный (хотя в общем и далеко не тонкий) комплимент. Да и со мной творилось что-то небывалое. Мне хотелось сказать Акбаян такие необычные слова, каких еще не говорил ни один жигит девушке.

— Акбаян, — сказал я. — Знаешь, чего я хочу больше всего на свете? Чтобы ты была красивее всех цветов на свете! Чтобы ты была самой красивой девушкой в мире!

— Правда? — вырвалось у нее.

— Да, и знаешь почему я этого хочу?..

— Нет...

— Тогда слушай.

Я рассказал Акбаян про свою бабушку: однажды, когда мне было четырнадцать лет, она усадила рядом с собой на скамейку и, погладив шершавой ладонью по голове, поведала такую притчу.

— Давным-давно жил мальчик-батыр, и звали его Еркиндик. Сильный он был не по летам, смелый. И очень любил свой народ. Когда на его родину напал враг, Еркиндик отважно бросился в бой, и никто не мог перед ним устоять. И вот в одной из кровавых схваток с жестоким врагом Еркиндик проявил недюжинное геройство. И пророк Баба Тукти Азиз решил, что пора воздать должное мальчику-батыру, наградить его за подвиг. Пророк призвал его к себе и сказал: «Дорогой, я хочу тебя наградить. Что ты предпочтешь: красоту, ум или счастье? Я могу дать тебе одно из трех. Выбери!» Мальчик-батыр Еркиндик подумал и спросил пророка: «А сможете вы исполнить другое мое желание?» И пророк Баба Тукти Азиз ответил: «Хорошо, я исполню любое другое твое желание. Только не вздумай просить у меня бессмертия. Я не дам тебе его». «Почему?» — удивился мальчик-батыр. «На земле и в небесах бессмертен один всевышний. И простым смертным грех выпрашивать себе вечную жизнь», — ответил пророк, немного сердясь на то, что Еркиндик сам этого не понял. «А мне бессмертье ни к чему, я спросил просто так, из любопытства, — заметил маленький батыр. — Что хорошего, если умрут все мои товарищи, друзья, а я останусь один-одинешенек на белом свете?» «Тогда чего же ты хочешь еще?» — удивился пророк. «Есть у меня одно-единственное желание», — задумчиво сказал Еркиндик. «Да говори же

скорей. Я исполню!» — закричал пророк Баба Тукти Азиз, теряя терпение. «Тогда, могущественный пророк, — начал маленький батыр, — дайте мне верную спутницу в жизни, у которой были бы все три достоинства, которые вы мне назвали: красота, ум и счастье». Пророк, обещавший выполнить одно желание мальчика-батыра, признал, что тот ловко провел его, и дал Еркиндику жену — красивую, умную и счастливую. Благодаря своей верной спутнице батыр до конца дней своих был самым счастливым человеком на свете».

— Вот и я попросил бы пророка Баба Тукти Азиза, чтобы ты была красивее всех на свете, — пояснил я.

— Как ты можешь говорить так? Ведь я тебе ни капли не нравлюсь. Когда ты приходишь к нам, даже не смотришь на меня, — запротестовала Акбаян.

— Я люблю тебя, — сказал я, вернее, что-то заставило меня это сказать, потому что еще мгновение назад не думал об этом.

А сказав, понял, что так и есть на самом деле.

Щеки Акбаян вспыхнули огнем.

— Ты все шутишь, разыгрываешь меня, — пробормотала Акбаян, растерявшись.

— Ты мне не веришь? А я не шучу, Акбаян! И чтобы доказать, вот возьму и поцелую тебя сейчас, — сказал я, смеясь.

Я обхватил Акбаян за плечи, притянул ее к себе и ткнулся губами в ее пухлые теплые губы. И тут же, испугавшись своей смелости, разжал объятия.

Девушка от стыда закрыла лицо руками и заплакала. Я стоял, не зная, как ее утешить. Дело в том, что и для меня это тоже был первый поцелуй в жизни. Поэтому я топтался около Акбаян и твердил:

— Не надо, Акбаян... Не надо... Ну, прости меня...

— А я... Я не сержусь, — ответила она сквозь слезы и зарыдала пуще прежнего.

А может, это было не так. Может, я полюбил ее днем раньше, днем позже. И может, мы говорили другие слова. И если говорили, то не тогда... Но как бы то ни было, суть оставалась прежней: помыслы Акбаян в те времена были чисты, как родник.

Что же потом случилось с Акбаян?.. Впрочем, случилось ли?.. Ведь ее уже с малого детства лелеяли, словно редкий цветок, оберегали от суровых ветров. С нею росла и мать ее Бибибайша, и брат Садык. И она привыкла

к мысли, что для того, чтобы прожить жизнь без невзгод и треволишений, нужно найти чью-то крепкую, надежную спину. Может, она не сразу осознала это, может, первое время эта мысль жила в ней тайком, гнездилась где-то в темном уголке души. Но вот на горизонте замаячил Альжан Бекенов...

Двадцать лет Акбаян прожила в оранжерейных условиях, ни разу не ударив пальцем о палец. У нее не было дня, чтобы она работала или сидела над учебником. Не знала она и тревог материнства: не вставала по ночам к плачущему ребенку, не стирала его пеленок, не мучилась от того, что в ее груди перегорело молоко. «Сытость и лень портят человека», — говорил великий Абай.

Да что там слабый человек, такой, как Акбаян, если иногда на наших глазах рушится и могучий вековой дуб?

Он гордо стоит, открывшись всем стихиям. Перед ним бессильны ливни, вьюги и бури. Его мощные узловатые корни, точно пальцы, глубоко проникли в недра земли. Проходят года, десятилетия — а дуб только мужает под ударами врага. И вдруг в ясный, тихий день рушится наземь от легкого дуновения воздуха. Что же смогло свалить великана в расцвете лет, если перед ним отступали колючие морозы, неистовые вьюги и свирепые грозы?

Может быть, дуб ослаб в этой борьбе? Нет, он рухнул не от слабости. Его подточил маленький червь, пробравшийся в сердцевину дуба еще в годы его молодости... Так червь себялюбия год за годом точил душу Акбаян, которая хотела в обмен на свою красоту получить спокойную безмятежную жизнь. Жизнь сравнивают с океаном, где ясные дни и полный штиль сменяются внезапными ураганами. Этот океан побеждает лишь тот, кто смело управляет парусом. Горе малодушному, который, вверяя свою судьбу в руки лодочника, прячется на дно судна, чтобы не видеть грозных волн! Лодочник Альжан подвел свою пассажирку. Пока он вел свой челн, распустив паруса, по безмятежной голубой глади, все шло хорошо. Но первый же шквал выбросил из лодки Акбаян... И барахтается беспомощная Акбаян, высматривает, не мелькнет ли в житейских волнах чье-нибудь суденышко, готовое взять ее на свой борт.

Нет, я не злорадствовал, не торжествовал. Не говорил про себя: «И поделом тебе, Акбаян, поделом». Я знал, что ее ждет. Начинать жизнь в сорок лет тяжело. Увянет скоро красота Акбаян — ее единственный козырь. И уподобится она аргамачу, который был впереди всю байгу, а по-



тем выдохся и отстал. И теперь ему только и остается, что с тоской смотреть, как его один за другим обходят и устремляются к финишу мудро распределившие свои силы скакуны.

Когда лежишь на больничной койке, мысли почему-то все время уводят в прошлое. Я часто думал о том, что выпишусь из больницы и в первый же отпуск поеду в те места, где прошло мое детство, отправлюсь на берег Ишима и буду долго смотреть на его голубые волны. Раньше как-то не хватало времени даже подумать о земле, которая меня родила, о близких, о друзьях детства. Как будто я принадлежал только сегодняшнему дню. Болезнь воскресила для меня прошлое. Во мне проснулось чувство родины, свойственное, наверное, каждому живому существу. И зверю, и птице. Один охотник рассказывал мне, что лебедь перед смертью ложится головой в ту сторону, где находилось его гнездо, в котором его высидела мать. А, может, виной тому и не болезнь, а приближающаяся старость. Чем старше становится человек, тем острее напоминает ему о себе чувство родного дома. Только этим можно объяснить обычай, сложившийся в старину: где бы ни умирал казах, он завещал, чтобы похоронили его там, где лежат его предки. Конечно, не каждый мог позволить себе такую роскошь. Для этого были нужны кони и деньги.

Итак, я наметил поездку в родной аул. Потом решил отыскать могилу Садыка. Потом найти через газету своих фронтовых друзей, товарищей, деливших со мной фашистский плен. Словом, я весь был во власти прошлого.

И думы об Акбаян уже были связаны с прошлым.

Но приближалось время выхода из больницы, а за ее оградой меня поджидало будущее — наступала пора подумать и о нем.

Выйдя из больницы, я уже на другой день на выдержал и, хотя у меня еще не был закрыт больничный лист, явился в трест. И тотчас меня втянуло в бурный поток сегодняшней жизни, стремительно несущейся в завтрашний день.

Кажется, я уже говорил, что руда в Мысказгане добывалась по «камерной» системе. Как и на многих рудниках страны. У этого способа есть свои преимущества и свои недостатки. И самый ощутимый недостаток заключался в том, что после разработки под землей оставались мощные

подпорки-целики, из той же самой дорогой рудоносной породы. Подпорок было столько, что в целом они составляли целое богатство, брошенное, можно было бы сказать, на ветер, если бы речь шла не о подземных глубинах. Конечно, наш край богат рудой, но запасы ее не беспредельны. А темпы добычи растут. Если сегодня там, под землей, точно по городским проспектам, бегают электровозы и самосвалы, то завтра руда будет просто-напросто доставляться наверх по конвейеру. И лет через пятьдесят конвейер принесет из опустевших недр последнюю тонну руды.

Конечно, если не думать о временах, когда на шахты придут наши потомки, можно не беспокоиться. На мой-то век руды в Мысказгане еще будет достаточно. Хватит ее на то, чтобы выполнять встречные повышенные планы и получать за это премияльные и награды. Но меня всегда возмущали руководители, похожие на небезызвестного монарха, говорившего: «После нас — хоть потоп». Разумеется, тут слова бывали не столь откровенные. Они вуалировались такой формулой: «Стране нужна руда сейчас, и мой долг — дать ее народу в ускоренный срок и как можно больше. Любыми способами. А что будет через сто лет, об этом подумают планирующие организации. Там, наверху, им видней. И потом наши внуки сумеют позаботиться о себе». Вроде бы все как надо — нет повода для упреков. Но то здесь, то там — не слишком ли бестолково опустошаются земли?..

Я люблю Мысказган и хочу, чтобы он цвел не только для меня, но и для моей дочки Анды, и для моих внуков и правнуков. Я желаю моему городу столько лет жизни, сколько будут жить люди на земле. Поэтому в последнее время я и думаю над тем, как добывать руду без потерь, выбирая ее из залежей до последней крупинки. И вновь, как в давние времена, когда приходилось бороться с Альжаном за освоение восточного месторождения, я не давал покоя специалистам, засыпал их вопросами, читал научные журналы и книги. Меня за глаза прозвали «крохобором» и «пессимистом». «Что он волнуется? — удивлялись «оптимисты». — Руду нам брать — не перебрать. Каждый год геологи открывают у нас под носом новые жилы».

Это так и было. Богатства Мысказгана, казалось, множились год от года. Вот и вчера, едва я закончил долгий разговор с главным инженером треста, в мой кабинет мимо застигнутой врасплох секретарши ввалился молодой геолог. Этот парень работал в группе, которая вела поиск руды в

Бозшатасе, расположенном в сорока километрах от города. Геолог вбалился небритый, в штормовке, с рюкзаком в руке, словно только что вылез из попутной машины, подбросившей его в Мысказган. Глаза у парня сияли, как два блюда, и я понял, что он явился не с пустыми руками, что в его пока еще небогатой событиями жизни произошло невероятное событие.

Парень прошагал к моему столу и с грохотом поставил передо мной рюкзак.

— Порядок! — кратко возвестил он.

— Нашли новую жилу? Все подтвердилось? — спросил я, косясь на рюкзак.

— Жилу! И какую! Но только не новую. Тут вы не угадали. Понимаете, человек уже добывал там руду. В древности! Слышите? Наши далекие предшественники добывали руду. И не только! Они ее там же плавил. Не верите? Смотрите! — сказал геолог, ликуя.

Он запустил свою темную от солнца и пыли лапу в рюкзак и достал что-то.

— Пока не вижу, — напомнил я с улыбкой.

— Вот! Птица! Отлита из меди. А сверху была покрыта золотом!

Он разжал кулак. На его широкой, как лопата, ладони лежало миниатюрное изображение диковинной птицы. Птица была отлита из меди, но на оперении ее еще кое-где сохранились следы позолоты.

— Это та самая... золотая птица? — пробормотал я, опешив.

Я до сих пор считал, что золотая птица существует только в легенде, которую мне рассказывала моя бабушка. И вот она передо мной, отлитая древним скульптором.

— То есть какая это — «та самая»? — забеспокоился геолог. — Эта штука до нас пролежала в земле века. И мы первые из современников, кто ее увидел.

— Не волнуйтесь. Я вспомнил легенду. Есть такая легенда о золотой птице, — успокоил я геолога.

— Это интересно. Расскажите, — попросил парень, опускаясь на стул и ставя рюкзак рядом на пол.

Меня ждали дела. И я не был Шахразадой. Но у юноши уже загорелись любопытством глаза. И все-таки это он принес золотую птицу. Что ж, если уложиться в пять минут, отчего не попробовать?

— Давным-давно на нашей земле жила золотая птица, — начал я словами бабушки. — Бог дал ей и красоту, и

свободу. Вот только золотой она была лишь сверху. Бог создал птицу из простой меди, а сверху покрыл тонким слоем золота. «Но когда-нибудь ты превратишься в настоящую золотую птицу,— успокоил ее всевышний.— Правда, для этого ты должна выполнить одно из двух условий».

— Сабыр-ага, и какие же всевышний поставил условия?— нетерпеливо перебил меня юноша, точь-в-точь как я, бывало, бабушку в детстве.

— «Первое условие,— сказал бог.— Хотя все будут считать тебя золотой, ты сама никогда не должна забывать, что на самом деле создана из меди».

— А второе?— опять не вытерпел геолог, вызвав у меня улыбку.

— «А вот второе условие: люди будут считать тебя золотой, но ты не скрывай от них, что сделана из меди. Человек от рождения добр. Узнав правду, он будет от чистой души желать тебе, чтобы ты поскорее превратилась в настоящую золотую птицу. А я это учту, обещаю тебе».

— И что же птица?— спросил парень.

— Птица, созданная из меди и покрытая позолотой, не выполнила ни одного условия, которые поставил перед ней создатель. Она рассуждала так: если человеку так уж хочется считать меня золотой, зачем его разочаровывать? Кто знает, вдруг он потеряет ко мне интерес? Кроме того, не вижу ничего плохого в том, что я медная. А человеку тем более незачем знать, что я представляю из себя на самом деле.

— И чем все это кончилось?— спросил геолог.

— Всевышний решил изобличить птицу перед человеком. Чтобы тот понял, что под тонким слоем золота находится медь. Что такова сущность птицы.

— И что же он сделал?

— Он стер с нее обманчивую позолоту. И медь тотчас покрылась зеленой окисью. Бедная птица, вчера еще блиставшая, превратилась в кусок тусклого металла. Вот так, сынок... Будь всегда правдив, не скрывай от людей своих недостатков, не кичись. И люди помогут тебе стать хорошим человеком,— закончил я опять-таки словами бабушки.

— Что верно, то верно,— одобрил геолог и доверительно добавил:— Я знал одну такую птицу. Вы понимаете, что я имею в виду?

Ох, уж эта молодость! Этот юнец намекал, что хоть он и молод, но тоже знает жизнь.

— Может, посмотреть?— спросил я.

Юноша засуетился.

— Конечно, конечно. Я для того и принес.

И вот птица лежит на моей ладони. Да, это медь. Кто-то пытался почистить ее, но зеленоватые пятна окиси накрепко въелись в тело птицы. А я-то, забыв про легенду, всю жизнь гонялся за золотой птицей. И она тоже в конечном счете оказалась из меди... Как знать, не о фальшивой ли птице, лежащей сейчас на моей ладони, сложен в давние времена рассказ, который дошел до нас в виде легенды? И кто же он, мастер, создавший такую искусную вещь?

— Я немного интересовался археологией. По-любительски, конечно,— небрежно, с забавной напускной скромностью сказал геолог.— По-моему, тут замешаны саки из Причерноморья. А потом сами знаете: торговый обмен, караванные пути и все такое. Но подождем, что скажут профессионалы. Я хочу отдать ее в музей.

«Что ж, до встречи в музее»,— мысленно попрощался я с золотой птицей, возвращая ее временному владельцу.

— И хорошо жила?— спросил я, возвращаясь к началу разговора, к его деловой части.

— Руда первый сорт! Сплошная медь!— гордо доложил геолог, убирая птицу в рюкзак.— Ахнете, когда покажем документацию.

Он вскинул рюкзак на плечо и такой же светлый, ликующий вышел из кабинета.

А я разложил свои записи-выписки, решил подвести итоги своих поисков. Время уже приближалось к вечеру, рабочий день кончился, и я надеялся, что теперь-то никто не помешает. Но стоило мне взять в руки авторучку, как в дверь требовательно постучали.

Секретарша уже ушла, да и стучала она по-другому, вкрадливо. «Кого еще нелегкая несет?»— подумал я с досадой и крикнул:

— Войдите!

В кабинет вошел Кайсар. В последнее время он не походил на самого себя, и сегодняшний его вид не был исключением. Я сидел при включенной настольной лампе, и лицо его в сумерках у дверей казалось белым пятном.

— Почему ты здесь?— удивился Кайсар, как будто я в это время обязан находиться в каком-то другом месте.

— Да вот собираюсь поработать. Хочу написать в министерство о своих соображениях,— сказал я, надеясь, что он оценит серьезность моих намерений и не будет мешать.

— И ты можешь сейчас спокойно работать? — еще больше удивился Кайсар.

— А почему бы нет? — в свою очередь удивился я.

— Да ты что? Ты разве не знаешь, что случилось с Акбаян?..

Сердце мое сжала чья-то невидимая холодная рука.

— С Акбаян?.. — переспросил я, предчувствуя неладное.

— Выпила снотворного, да столько, что... Я только что из больницы, — угрюмо сообщил Кайсар.

Я бросился к нему, схватил за лацканы пиджака и встряхнул его.

— Она жива? Я спрашиваю тебя: Акбаян жива?

— Пока жива, а что будет дальше, неизвестно... Она оставила тебе письмо. Вот!

Он протянул мне сложенный лист бумаги, на котором было написано: «Сабыру Шакирову, лично».

Я читал, словно пробирался сквозь туман. Почерк Акбаян был неразборчив. Обычно она писала четко, выводила каждую букровку. А тут слово лихорадочно налезало на слово, буквы утратили обычную аккуратность.

«Сабыр, — писала Акбаян, — помнишь нашу встречу в степи? Перед самой войной? Весной? Мы тогда с девочками ходили за цветами, когда возвращались, встретили тебя. Помнишь? Ты еще рассказал мне притчу про маленького батыра. И хотел, чтобы я была красивее всех цветов на свете. Так вот, я хочу, чтобы ты знал: это был самый счастливый день в моей жизни. В последнее время я мечтала спасти тебя, если ты попадешь в беду, но вместо этого чуть не погубила. И все из-за моей проклятой боязни. Да, да, я боялась жизни, такой, какая она есть. Ее несчастий, хлопот, которые она приносит. Но, впрочем, не слишком ли много грехов для одного человека? Не пора ли за все рассчитаться?.. Я прошу тебя об одном. Если ты даже не простишь меня, все равно — как-нибудь весной собери в нашей степи букетик подснежников (таких же) и положи на мою могилу... Прощай. Акбаян».

Не знаю, сколько времени просидел я над этим письмом, раз за разом перечитывая его. Когда я поднял голову, Кайсара уже не было...

Акбаян осталась жива.

Через неделю по пути в трест я за невменяем водоежников купил букет тюльпанов и зашел к ней в больницу.

Дежурная медсестра проводила меня в палату и молча указала глазами на кровать, стоявшую у стены. Акбаян легла на спину, закрыв глаза. Щеки ее побледнели и слегка западали. Только длинные густые ресницы чуть трепетали, как бы говоря, что она не спит.

Две женщины в больничных халатах, сидевшие на кроватях, дружно поднялись и так же молча, как и медсестра, вышли из палаты. Я остался один на один с Акбаян.

Словно почувствовав мое присутствие, она открыла глаза. На бледном похудевшем лице они казались еще огромней. И еще: они утратили свой обычный блеск. Из глаз Акбаян, из их темной глубины на меня смотрело само горе.

Она жалко улыбнулась:

— Видишь, даже умереть — и то не смогла.

— Ну, умирать нам еще не время, — сказал я, бодрясь. — Понимаешь, подснежников нет. Не сезон. Придется подождать до весны. А пока принес вот это.

И я положил букет на тумбочку возле ее кровати. В глазах Акбаян мелькнули изумление, радость. И они погасли. Акбаян устало закрыла глаза. Я повернулся и вышел.

Этот день выдался невероятно суматошным. Мы спорили до хрипоты на техсовете, обсуждая мое предложение перейти к открытой добыче руды на одной из отдаленных шахт. Потом я был на бюро горкома партии, дело касалось нашего треста. Когда я вернулся к себе, в приемной собралась уже целая очередь... Потом началось заседание жилищной комиссии, на которой распределяли квартиры в новых домах... Потом... Было много других потом. И не раз среди неотложных горячих дел я вспоминал свет изумления, радости, блеснувший в темных усталых глазах Акбаян, когда я напомнил ей о подснежниках.

---





**CXBATHA**



**П**ервая встреча произошла так: сидела девушка в степи, а степь-то была широкая, перерезанная сопками и ущельями, тянувшаяся с севера на юг на сотни километров. Сидела девушка в степи и читала. Читала внимательно, даже строго, наморщив лоб. Иногда отрывала голову от книги и, глядя куда-то вдаль, произносила отдельные, наиболее поразившие ее строчки вслух.

Вот она и сказала:

— Я часто задаю себе вопрос: обладает ли любовь интуицией? Если бы Ромео не объяснился в любви Джульетте, догадалась бы она о его чувствах?

И сейчас же за спиной ее спросили:

— А вы как сами думаете?

Девушка в замешательстве обернулась. Книга упала на землю.

Высокий черноволосый парень стоял перед ней. На нем был синий рабочий костюм, а через плечо сумка, на треть набитая камнями.

«Геолог! — решила девушка. — Из новых! Я его не знаю!»

— Извините, — сказал парень, нагибаясь и поднимая книгу. — Я испугал вас! — Он открыл первую страницу и прочел: «Стендаль. Трактат о любви». Ах вот что! Пожалуйста.

По-разному можно было произнести эти слова: насмешливо, язвительно, почтительно, игриво, но парень сказал их как надо — очень просто, серьезно и спокойно. И это девушке понравилось.

— Ничего,— сказала она,— спасибо.— Нет, я не испугалась, кого здесь, в Саяте, бояться? Но вы так внезапно подошли...

Он улыбнулся.

— Да, «яко тать в нощи»,— так обязательно сказал мой батюшка, будь он сейчас со мной. Он любит исконно русские выражения.

«Батюшка?!— подумала она.— На кого же он похож? А ведь он точно кого-то напоминает».

— Только это не исконно русское выражение,— сказала она поучающе,— это церковно-славянский, литургический язык, то есть это македонское наречие староболгарского языка. Есть некоторая разница, правда?

Парень улыбнулся.

— Даже очень большая!— и вдруг радостно воскликнул:— Стойте! Да вы ведь Дамели Ержанова — учительница здешней школы!

— Ну да,— ответила она удивленно.— Ну да, а вы...

— Боже мой!— на лице парня отразилось даже что-то похожее на ужас.— Вот ведь случается! Вы Люсю знаете? Вашу однокурсницу по филфаку?

— Люку!— крикнула девушка.— Люсю Князеву?!

— Ну конечно!— сказал парень и опустил на камень.— Так у меня от нее письмо к вам. Эх, вот не захватил с собой! Я ведь и в школу к вам два раза сегодня заходил.

— Так вы, значит...

— Да, да, да,— он радостно и изумленно глядел на нее.— Вот вы, оказывается, какая! Ну бывает же!

Она схватила его за руку. Люся Князева была ее любимой подругой, поверенной ее тайн. Они сговорились встретиться этим летом здесь, в Саяте.

— Так что с ней, когда она сюда приедет?

— Ой!

Парень засмеялся.

— Вот этого, боюсь, вы не скоро дождетесь.

— Почему?

— Да ведь я и познакомился с вашей подругой на ее свадьбе. Не Князева сейчас она, а Котельникова! Прекрасный парень ее муж. Тоже геолог! Наш сосед по квартире!

— Вот как,— протянула Дамели, она все не могла осознать этого известия.

— Вот как, значит!

— Значит, так, Дамели Хасеновна, — сказал сочувственно и кивнул головой парень и дружески слегка дотронулся до ее руки. — Мир меняется вокруг нас, и вот уже ваша Люська Князева не ваша Люська, а Людмила Михайловна Котельникова. И приехать к вам она сможет только с мужем и ребенком. Это значит — года через два-три. С ума сойти, а?

— Ну почему же? — пробормотала Дамели не особенно уверенно. — Я думаю, наоборот...

Она ничего сейчас не думала — и не так, и не эдак — поэтому фраза и осталась недоконченной.

— Да что уж тут ни думай, а все равно досадно, — добродушно усмехнулся парень. — Я вас понимаю. Так, конечно, все и должно быть, и пожелаем ей всего хорошего, но вы правы — все равно как-то досадно. А почему? Тут даже эта умная книга, — и он слегка кивнул головой на «Трактат о любви», — не объяснит. Обладает ли любовь интуицией? — повторил он. — Поняла бы Джульетта, что Ромео ее любит, если бы он молчал? Так как, по-вашему? Поняла бы? — спросил он Дамели в упор.

— Вероятно, — пожала одним плечом Дамели. Ей было сейчас совершенно не до Стендаля и не до Ромео.

— Да, вероятно, вероятно! — кивнул головой парень. — Кто-то сказал: ненависть скрыть легко, любовь — трудно, равнодушие — невозможно. Конечно, поняла бы.

— Как выглядела Люся? — спросила Дамели, думая о своем.

— Отлично! — воскликнул парень. — Была веселая, нарядная, красивая. Так зайдемте сейчас к нам, я вам отдам письмо. Мы ведь живем за два дома от вашей школы.

— В дирекции? Ой, значит, вы... — она только теперь поняла, кого напоминает этот высокий, красивый жигит.

— Совершенно верно, — слегка поклонился парень, — сын известного вам Нурке Ажимова. Бекайдар! Будем знакомы!

— Дамели. — произнесла чинно девушка. — Будем знакомы!

— А я уж заочно знаком с вами, Дамели Хасеновна, — сказал серьезно парень, — только я никак не думал, что вы... — он что-то помедлил и замешкался.

— Ну? — сказала Дамели. — Ну?.. Ну?..

— ...Что вы такая хорошая, — серьезно закончил парень, сорвал одинокий тюльпан и протянул его девушке.

Обладает ли любовь интуицией? Обладает! Конечно!

...Геологическая экспедиция, в которой работали Дамели и Бекайдар, уже третий год находится в Саяте. Ищет медь. По предположениям руководителя экспедиции Нурке Ажимова, кроме меди, здесь должны быть молибден и золото, и все это надлежало обнаружить.

Саятская степь велика; она тянется от пика Медного до сопки Старушечья, то есть на протяжении примерно двухсот километров. И все это пространство таит в своих недрах миллионы тонн ценных руд. Об этом опять-таки можно прочесть в монографии профессора Ажимова. А выше Саята эта степь пустынна, засушлива, покрыта скудной, жесткой растительностью, в ней много ковыля, черной степной полыни, чия, тамариска вперемежку с колючими неподатливыми кустарниками, называемыми по-казахски баялышем и ошагаком. Экспедиция — все пять отрядов ее (их так и называли: первый, второй, пятый Саят) — расположилась в самом центре степи, а расстояния здесь такие: за пятьдесят километров к западу от лагеря — озеро Балташы (Плотницкое), за полтораста к востоку — автобусная станция «Старушечья сопка». Там перевалочный пункт экспедиции — оттуда везут воду, ее качают прямо из отработанных буровых скважин.

В поселках — деревянные домики и избышки, крытые дерном; все это сбито на скорую руку и кое-как: люди здесь жить не собираются, и только в Первом Саяте есть уже что-то похожее на настоящий поселок: лаборатория, контора, Красный уголок и столовая. Стоит эта столовая посередине центральной площади. И примыкает прямо к сопкам. По праздникам здесь устраиваются танцы, показывают кино или концерты художественной самодеятельности. В будни на площади заправляют машины. Рабочие в брезентовых куртках подкатывают сюда железные бочки с солидолом и бензином. Тарахтят механизмы. Около столовой собирается небольшая очередь. Но сейчас площадь стоит тихая и нарядная. Машины угнали, землю посыпали песком, столовую убрали еловыми ветками.

Сегодня здесь двое комсомольцев — геолог Бекайдар Ажимов и учительница Дамели Ержанова — справляют веселую молодежную, вероятно, первую в Саяте, свадьбу.

Накануне жених слетал в город и привез оттуда повара, ящик коньяку и ящик шампанского, а заведующий хозяйством Саятской экспедиции некий Еламан Курманов съездил в один из ближних аулов и пригнал оттуда десяток ба-

ранов. Разделявал туши сам хозяин торжества Нурке Ажимов — повару он таких дел не доверял. Слосовая была разукрашена венками, букетами и ветками ели. В эту весну цвело много желтых и красных тюльпанов, и невеста с подругами два дня собирала их по сопкам. Погода стояла ясная, пировать решили прямо на улице. Но столы стояли и в помещении, и все было сплошь заставлено блюдами со сладостями. Были тут разнообразные сладости: и торты, и чак-чак, и огромные яблоки — поразительный по величине и расцветке алма-атинский апорт, и наконец каймак. И все-таки, по мнению хозяина, чего-то недоставало.

Он стоял, разглядывал барашка и говорил:

— Разве в наше время так свадьбы справляли? В наше время, если гость не приезжал на коне, он и за гостя не считался. Знаете, какие скачки в наше время были! Э, да что там и говорить! Вы не казах, вам этого никак не понять.

И повар сочувственно хмурился и цокал языком: «Ай, ай, ай!»

— Я, дело прошлое, теперь уже можно похвастаться,— говорил начальник экспедиции,— всегда только первые призы брал и в байге, и на скачках. Я, например, на полном скаку мог по-казахски выхватить кинжал из земли зубами! Вот так перегнуться с лошади и выдернуть! А теперешние!.. Э, да что там говорить! Не та молодежь пошла! Не та и не та! И образование у них, и языки они знают, и на роле играют, а вот душа у них не та! Не жигитская!

— Невеста у вас — очень красивая девушка,— вздохнул деликатно повар.— Он был и польщен доверием начальника, и смущен им, и не знал, как отойти от этого разговора: дел у него было по горло.

— Да у меня и сынок неплох!— гордо и чуть высокомерно усмехнулся Нурке.— Вы бы слышали, как он поет! Вот подождите: на свадьбе он исполнит нам одну песенку! Артист! Поэт! Заслушаешься! А вот со мной ему все равно не погягаться. А мне ведь далеко за пятьдесят, уважаемый. А вы говорите!

Повар ровно ничего не говорил, он горел, как на огне, ему не терпелось бежать к плите — у него там уже что-то пригорело и что-то переставалось, но он не знал, как ему отойти от разговорившегося хозяина.

— Вот мне скоро шестьдесят стукнет,— между тем говорил хозяин,— а у меня ни одной морщинки нет! Я, уважаемый, все эти сопки облазил по десять раз. За мной и сейчас ни один рабочий не может поспеть! Ни русский, ни

казах! Они давно языки позысовывают, а я все иду и иду! А вы мне говорите! Эх! — и он махнул рукой.

В это время и подошел к нему Еламан. Это был заведующий хозяйственной частью экспедиции: сухой, худощавый, очень подтянутый человек с подвижным лицом и неприятно пристальным взглядом.

— Нурке, — сказал он, — Хасена еще нет! Что, ждать будем?!

— Еще чего! — высокомерно удивился хозяин. — Очень он нам с тобой нужен, а? — и прикрикнул:

— Ты вот лучше за столами понаблюдай: смотри, коньяка мало! Я же сказал — перед каждым прибором должна стоять бутылка коньяка — где она? На столах-то пустыня!

— Правильно, правильно, Нурке! — забеспокоился Еламан. — Эй, кто там на кухне! Давайте из холодильника сюда весь коньяк! Пусть там остается только шампанское. Оно холод любит.

Появилась невеста в белом платье. Она прошла к столу и поставила в вазу большой букет красных цветов. Здесь их почему-то зовут «Марья-Каревна», и растут они весной на горных лужайках.

Нурке мельком взглянул на нее и отметил, что глаза у невесты красные — значит, плакала. От отца-то ни слуху ни духу. А вот уж неделя, как она «отбила» ему телеграмму. Впрочем, вероятно, он ее и не получил. Хасен Ержанов — агент Союза охотников и постоянно пропадает в горах или пустынях. А в этом году он еще заключил договор с зооцентром на отлов ядовитых змей. Именно змей и беспокоили Дамели особенно. «Ведь он такой горячий, — думала она, — он никогда ни перед чем не останавливается. Однажды он задушил горную рысь прямо руками. Подраженная, она прыгнула на него с дерева, а он изловчился — накинул на нее куртку и не отпустил, пока она не задохнулась. А эти змеи... надо будет обязательно в первый же день приезда в Алма-Ату урвать пару часов и сбежать к нему на дом: соседи, верно, знают, где он».

В Алма-Ату молодые уезжали сразу же после свадьбы. Дамели вызывали на двухнедельный семинар, а Бекайдар ее провожал. Он работал в экспедиции, и отец ему предоставил двухнедельный отпуск без сохранения содержания: «Это тебе вместо свадебного путешествия, сынок», — сказал он, сердито смеясь.



Ровно в десять часов начали подходить гости. Их было много, человек сто, не меньше: инженеры, рабочие, геологи, жены их. Рассаживались долго, шумно и весело. Подходили по одному к невесте, к жениху, обнимали их, вручали подарки. Целый стол в стороне был уже заставлен сюрпризными коробками, фарфором и хрусталем.

Когда все наконец расселись, поднялся хозяин.

— Ну, дорогие гости,— сказал он, поглаживая грудь, вернее орден Ленина, который горел на груди,— прошу наполнить бокалы. Первый тост за мою прекрасную невестку! Второй — за ее молодого жениха. Будьте здоровы, ребята! Поменьше анализируйте друг друга и побольше любите! Ура! Пьем!

И сразу хлопнули пробки и раздался звон бокалов. Кто-то отчаянно, но весело заорал: «Горько, горько!» И тогда молодые поднялись, чтоб поцеловать друг друга.

Дамели все время было и очень весело, и очень неловко. Она так и не посмела обвести глазами стол и посмотреть на гостей. Зато гости все неотрывно смотрели на нее: она и в самом деле была очень хороша: тонкая, стройная, с большими черными косами, уложенными вокруг головы. Да и жених тоже был неплох — молодой, свежий жигит лет двадцати пяти. И еще: они походили друг на друга, как брат и сестра. Хозяин слегка ткнул в бок Еламана и, когда тот обернулся, подмигнул ему.

«Ну что? По-моему все-таки вышло»,— как будто говорил этот взгляд. И вдруг он недоуменно приподнял брови. Где-то совсем, совсем рядом за углом застучала, задрезжала, затарахтела, очевидно, совершенно расхристанная повозка. Казалось, что это с откоса покатались, сталкиваясь и звеня, пустые ведра. Затем показалась лошадь, за ней повозка. Странный человек — высокий, худой казах — сидел в ней. Едва повозка поравнялась со столовой, он крикнул лошади: «Стой!» — и прыгнул наземь. Лошадь послушно остановилась, сонно поглядела на пирующих и лениво обмахнулась хвостом. Кто-то за столом засмеялся, кто-то подавил смех. Вид у приехавшего на свадьбу был далеко не праздничный: на его тощих плечах болталась (именно болталась, а не сидела) шинель, перехваченная ремнем, на голове торчала ужаснейшая шляпа из зеленого велюра. Шнурки ботинок развязаны. Вот так он и явился на свадьбу дочери — охотник и ловец змей Хасен Ержанов.

— Коке! — крикнула, увидев его, невеста. — Отец! — И бурно бросилась к нему.

И такая ясная радость прозвучала в этом девичьем крике, такая преданность, что все застыли на своих местах. Наверное, не каждый даже сразу понял, что произошло, а уж то, что этот высокий, сухой старик с желтой редкой бородкой и злыми глазами и есть отец невесты,— верно уж, никто в ту минуту не сообразил.

— Пройдем, милая, поговорить надо,— приказал старик.

И дочь, покорно наклонив голову, пошла за стариком.

Они зашли за столовую и направились в степь. Почти минуту за столом продолжалось ошеломленное молчание.

Потом Нурке улыбнулся и встал.

— Отец захотел, по обычаю предков, напутствовать свою дочь перед свадьбой. Прошу дорогих гостей пить, есть и веселиться. Минут через десять, надо полагать, невеста вернется и разделит нашу компанию.

Но прошло не десять минут, а двадцать, а потом и не двадцать, а целый час,— невесты все не было. Выпили и по первой стопке коньяка, и по второй, и по третьей, а невеста все еще не появлялась. Уже раскупорили третью бутылку шампанского, а Дамели все еще не вернулась. Бекайдар сидел на своем месте рядом с пустым бокалом невесты, и у него было такое лицо, что с ним никто не пытался даже заговорить.

Только раз отец тихо, настойчиво и строго сказал ему через стол:

— Будь человеком! Слышишь? Человек при любых обстоятельствах должен быть человеком.

А через полтора часа появился около стола мальчишка. Это был очень сконфуженный, запыхавшийся мальчишка, наверно, ученик второго или третьего класса. Он протиснулся к Бекайдару и подал ему что-то зажатое в кулаке.

«От нашей учительницы!»— сказал он. Это была записка. Бекайдар развернул ее, прочел и с минуту сидел неподвижно, опустив голову и тупо глядя на свои руки. И все за столом тоже молчали.

— Дай-ка!— приказал отец.

Бекайдар молча сунул ему записку. Круглым, им обоим хорошо знакомым почерком Дамели было написано:

«Прости, не сердись и, если можешь, забудь. Тут уже ничего не поделаешь. Вина не наша. Прощай».

Нурке скомкал записку и гневно поглядел на Еламану. Тот молча пожал плечами. Потом встал и подошел к нему.

— Что ж теперь будем делать? — спросил он, наклонясь над ним. На записку он даже и не посмотрел.

Нурке с лицом серым, как пыль, махнул рукой и встал.

— Пусть уж дожирают! Не собакам же выбрасывать! — сказал он резко.

## 2

Высокий человек идет по дороге. Раннее-раннее утро. Дорога широкая, извилистая — не дорога, а накатанный шинами асфальт. Все время пролетают машины, возле которых извивается дорога. А вот уж горы действительно огромны — сизо-зеленые, голубые, синие, покрытые легким туманом, великаны со спокойными снежными вершинами. Лесные боры карабкаются по склонам этих гор — ели, ели, ели, елки, елки, дуб, осина, береза.

Человек высок, но сутуловат, он идет, опираясь на палку. Иногда останавливается и смотрит на горы, кажется, он все время что-то ищет. Что только?

— Нет, это не здесь, — бормочет он, — это дальше. Там осыпь, камень, а здесь сплошной лес. Это дальше.

И вот уже солнце поднялось высоко, и снега на вершинах порозовели, а он все еще шел и шел.

И еще пролетел час.

— Вот здесь, — сказал он вдруг и остановился.

Он стоял, опираясь на палку, и смотрел на горы.

«Да, двадцать лет! Двадцать! Двадцать! Двадцать лет прошло с того ясного летнего утра. Я уже и не мечтал увидеть все это снова, а вот пришлось же...»

Он стоит неподвижно, думает и вспоминает. У него внимательный, точный глаз, и он умеет видеть самое главное.

«В тот день, — вспоминает он, — я должен был читать молодым геологам лекцию «Геологическое прогнозирование». Целую ночь я ходил по комнате и декламировал. Думал о том, какой фразой начну выступление, какой закончу. Но это было не просто утро, это было утро 22 июня. За два часа до назначенного часа я был в военкомате. Кажется, один из десятых первых добровольцев».

Мимо старика проехала и остановилась машина. Из кабины высунулось молодое улыбающееся лицо.

— Подвезу, отец! — крикнул шофер.

— Рахмет, рахмет, — ответил старик, — мне уже тут недалеко. Дойду.

И еще одна машина, грузовая, пронеслась мимо него. Она была полным-полна молодежи. Девушки и юноши в голубых и красных майках — веселые, красивые и молодые — стояли и пели. Кто-то кинул старику венок из желтых одуванчиков. Он поднял его над головой и помахал им.

— Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Спасибо вам, спасибо.

И в небе уже прорезывались первые острые звезды, когда он подходил к гостинице «Казахстан». В Алма-Ате в это время распускались яблони. Весь город стоял в розовом, белом, кремовом цветении. Издали казалось: кто-то накинул на деревья цветную вуаль. Старик шел медленно и подолгу останавливался почти на каждом квартале. Такую Алма-Ату, огромную, прекрасную, всю из железа, бетона и стекла, он еще не видел. Да и гостиницы такой он тоже никогда не видел. Она напоминала большой океанский пароход. Каждый номер — отдельная каюта, каждый балкон — капитанский мостик.

Администраторша — полная спокойная женщина с вьющимися волосами — поглядела документы путника и сказала:

— Я вас, товарищ Ержанов, попрошу посидеть с полчаса в холле. Сейчас как раз освобождается одна комната на пятом этаже. Возьмите-ка ваши документы. Мне, кроме паспорта, ничего не нужно.

Зазвонил телефон. Женщина подняла трубку и сказала:

— Сейчас посмотрю. Какая экспедиция, говорите? Саятская? Есть у нас из Саятской экспедиции пара человек. Ага, вот и генерал Жариков Афанасий Семенович, начальник экспедиции. Номер телефона? Сейчас скажу: второй этаж, телефон 92251. Да, позвоните. Наверно, у себя, я не видела, чтобы он проходил, позвоните.— Она положила трубку, потом собрала документы Ержанова и, отдавая их, сказала:

— Так через полчаса. Посидите в холле.

«Саятская экспедиция,— подумал Ержанов, отходя.— Вот тебе и на! Действительно на ловца и зверь бежит! Жариков Афанасий Семенович? Отлично!» Он вытащил записную книжку и тщательно записал все: номер телефона, этаж, фамилию, имя и отчество.

А за три дня до появления Даурена Ержанова в вестибюле гостиницы «Казахстан» генерал Жариков ходил по своему номеру и рассеянно слушал гостя, высокого пожило-

го казаха, который стоял перед геологической картой, тыкал в нее указкой и говорил:

— Такой человек, Афанасий Семенович, как вы, для нас настоящая находка. Вы же представляете, что такое вести разведку в голой пустыне, в песках. Народу много, и он весь разный. Случаются подчас и чрезвычайные происшествия, и скандалы, и даже преступления. Сами понимаете, до города далеко, работа тяжелая, развлечений никаких, а с водкой как ни борись — обязательно просочится. Руководитель экспедиции, профессор Нурке Ажимов совсем сбился с ног. Ведь до сих пор на нем лежало все: и геология, и воспитательная работа, и бухгалтерия, и еще аллах знает что. Вот он и взмолился: освободите от всех нагрузок, а то толку не будет. Поэтому мы и обратились к вам.

— Да, — говорит генерал. — Да-а, — и все шагает и шагает по комнате. Он небольшого роста, мускулистый, плотно сбитый, со светлыми задумчивыми глазами. На нем военная гимнастерка и несокрушимые сапоги. Движения спокойны, хотя и резки. Сразу видно человека, полжизни прослужившего в армии. Так оно и есть. Афанасий Семенович тридцать лет провел на разных кордонах. Недавно вышел на пенсию и уже собирался купить билет в Воронеж — там живет его семья, как неожиданно его вызвали в Алма-Ату, в комитет геологии, и предложили стать начальником Саятской экспедиции.

— Да, — говорит генерал задумчиво. — Да — пески, пески. Знаю я эти пески, полжизни прожил в них, — и вдруг вскидывает голову: — Постойте, профессор Ажимов — это что же, автор книги «Геологическое прогнозирование. Опыт исследования Жаркынских хребтов»?

— Ну, ну! — отвечает казах и смеется. — А вы, оказывается, уже в курсе всех наших дел? Он, он самый. А что вас смущает? Его, конечно, не все любят! Слишком уж требователен к себе и к людям. Иногда не сдерживается и прорывается. Что поделаешь? Приходится и с этим считаться. Вот поэтому мы и хотим освободить его от всякой административной работы.

— Хм! Женат?

— Вдовец. Как умерла жена лет двадцать тому назад, так с тех пор он и одинок. Вот лаборатория, спектрограммы, анализы количественные, качественные — в этом и заключается вся его жизнь. Это, можно сказать, самый блестящий из учеников Даурена Ержанова.

— Ержанов, — генерал останавливается, — постойте, постойте. Я что-то как будто...

— Слышали, конечно, слышали. Не могли не слышать. Это чуть ли не первый геологоразведчик из казахов. Рано погиб, а то был бы и академиком, и ученым с мировым именем, и лауреатом всяческих премий.

— Когда же он умер?

Казах вздыхает и разводит руками.

— Этого точно никто не знает. Вывезен был с фронта с ранением легких. Пролежал почти год в лазарете. В сводках числился пропавшим без вести. А тут распустили слух, что он как будто попал в плен. Да еще чуть ли не добровольно. Брата его таскали. Ну, времена были крутые, к тому же жена у него умерла. Он оказался бобылем, остался на Дальнем Востоке и там где-то умер и похоронен. В общем, невеселая история. Ну, ладно! Как говорится, пусть мертвые хоронят мертвых! Так, что же, Афанасий Семенович, соглашаетесь?

Генерал разводит руками.

— Да как-то, знаете, даже боязно. Я ведь не геолог, кончал, правда, геологоразведочный институт, но с того времени столько воды утекло! А у вашего Ажимова, как я понимаю, характер-то не сахарный... вот я и... Честное слово, не знаю.

Казах откладывает указку.

— Соглашайтесь, соглашайтесь, Афанасий Семенович, — говорит он ласково. — Сработаетесь, ручаюсь, что сработаетесь. Ажимову нужен ваш не геологический, а человеческий опыт. Ваш ум и сердце. А знаний у него и самого хватит.

Снова помолчали.

— Мы многих перебирали, — сказал гость, — но ваша кандидатура нам показалась самой подходящей.

— Хорошо! — махнул рукой генерал. — Соглашаюсь! Была не была! Когда, говорите, надо ехать?

— Ну вот, это по-нашему, — улыбнулся гость.

Обо всем остальном сговорились очень скоро. Гость попрощался и ушел.

Проводив его, генерал сел к столу и задумался. Все-таки далеко не все было ему ясно: «А не свалю ли я на старости лет большого дурака?» — подумал он.

Зазвонил телефон.

Генерал снял трубку. Какой-то Ержанов осведомлялся долго ли еще он, Жарников, пробудет в городе, и на чем бы

дет добираться до Саята. Если на машине, то не захватит ли он его с собой?

— В том-то и беда, товарищ Ержанов,— ответил Жариков,— что я и сам не представляю себе, как буду добираться. Так что с большим удовольствием, но-о...

Он положил трубку, хотел уж отойти от стола, как вдруг остановился. Это имя ему было знакомо.

«Ержанов, Ержанов!— подумал он.— Ведь мы только что говорили о каком-то Ержанове! Ну, наверное, родственник».

Снова зазвонил телефон.

Жариков снял трубку, послушал и радостно закричал:

— Как, из самого Саята? Завхоз экспедиции, товарищ Еламан Курманов? Товарищ Курманов, очень прошу, зайдите ко мне! Может быть, мы и поедем вместе! А, вы с машиной! Ну и отлично! Лучше быть не может! Так когда зайдете? Хоть сейчас! Хорошо, жду!— Он вызвал дежурную и заказал ей графинчик коньяку, два лимона и закуску. Потом вытащил блокнот и на чистой странице сделал первую запись, относящуюся к своей новой работе: «Еламан Курманов. Зав. хозяйственной частью Саятской экспедиции». «Отлично,— подумал он,— вот я и познакомился со своим первым сослуживцем».

В дверь постучали, и в комнату сразу вошли двое: официантка с подносом в руке и невысокий ладный казак средних лет в военной гимнастерке. Генералу он сразу понравился. Тугой ремень. Блестящие сапоги. Галифе. Гимнастерка с краем белого воротничка. Сразу видно фронтовика.

Беседа завязалась немедленно. Жариков умел молчать и слушать. В течение пяти минут Еламан успел ему выложить, что когда-то он работал на очень, очень ответственной работе («на оперативной», — сказал он по секрету), имел немалый чин — ну, а потом обстоятельства изменились, работу реорганизовали, должность упразднили, и вот уже несколько лет он работает помощником профессора Ажимова по хозяйственной части. Работой доволен, хотя часто приходится трудновато. Говорил Еламан спокойно, не задумываясь. На вопросы отвечал четко и ясно. Сразу было видно: дисциплинированный и бывалый человек.

— Вы уже на пенсии? — спросил Жариков.

Еламан усмехнулся.

— На нашей пенсии, товарищ генерал, далеко не укачешь,— ответил он горько.— Если бы я ее еще получал по

прежней должности, а то ведь... У нас есть в степях пословица: «Кто айран украл, тот давно сбежал, а кто ведро тащил — под камчу угодил». Вот так и я. За чужие грехи страдаю, товарищ генерал! Как говорится: знал бы, где упасть, — соломку подостлал бы, да вот не знал... Ну, да ладно, кто старое вспомянет... Работаю — и все! Хорошо, что еще силенка есть. Должность хлопотливая, зарплата маленькая, но вот душа спокойна. А это, знаете, в мои годы — главное всего.

— Так, так! — сказал Жариков, — только для того, чтобы что-нибудь сказать. — Так, так! Ну, что ж, еще по одной, что ли? И расскажите, пожалуйста, про экспедицию. Ну, во-первых, — где она? Что это за местность такая — Саят?

— Степь это, Афанасий Семенович. Глухая степь. Место отличное, но открытое для ветров и суровое. Летом жара, зимой морозы и бураны! Иногда сидим, как на острове, даже продукты нельзя нам доставить. Так вот и бедуем. Ведь на нас весь ответ: на мне и начальнике экспедиции. Ну, теперь, конечно, раз уж вы едете, то он — бывший начальник экспедиции. Вот завтра познакомитесь — Нурке Ажимов, сверстник мой, вместе выросли, отличный человек: знающий, спокойный, обходительный.

— Но, говорят, шутить не любит? — как будто вскользь спросил Жариков.

Еламан пожал плечами.

— С кем надо, он и шутит и дружбу водит, ну, а с разгильдяями да лодырями у него, верно, свой разговор. Это так! Тут он много слов не тратит.

— Да, — сказал Жариков задумчиво. — Да, понимаю, понимаю! Слушайте, а кто такой Ержанов?

— Даурен Ержанов?! — усмехнулся Еламан. — Еще не знаете? Ну, это имя вам теперь придется слышать часто. По нескольку раз в день. Это покойный учитель Ажимова. Крупнейший геолог Казахстана. Погиб при невыясненных обстоятельствах лет десять тому назад.

— Позвольте, так какой же Ержанов мне тогда звонил только что?! — спросил Жариков.

— Как? Он и вам уже успел позвонить?! — не на шутку рассердился Еламан. — Вот проклятый старик! И, наверно еще просил взять его с собой? Ну, конечно! Плюньте, и берите! Пусть добирается, как хочет! Так он уже нам на доел! Это Хасен, младший брат Даурена. Его дочь рабо



тает у нас, вот он и повадился к нам! Как придет, так история! Хулиган, скандалист, не то и верно помешанный, не то просто валяет дурака. Нурке он ненавидит. Вот недавно такую историю сотворил...

И Еламан рассказал Жарикову, как Хасен сорвал свадьбу.

— Действительно, черт знает что! — рассердился генерал. — Увести невесту со свадьбы! И что же, так они больше и не виделись с женихом?!

— Да нет! Парень назавтра же уехал в другой отряд. Это от нас пятьдесят километров. А девушка и сейчас в Саяте, но молчит, ни с кем не встречается. Ничего у нее не узнаешь.

— И отец ее молчит?

— А кто с ним разговаривать-то будет?! Я же говорю, сумасшедший! Ему и руку боязно подать — откусит. Нет, нет, вы с ним не связывайтесь! Не советую! Пусть добирается сам, как хочет. Тут, если жених вернется и они встретятся, может до убийства дойти. Ведь знаете, какой вздор этот Хасен плетет?!

— Какой?

— Да всякий! Черт-те что собирает. Губители, погубители, грабители! А ну его к чертям! Пусть лучше своих змей ловит.

— Каких еще змей?

— Всяких! Змей, черепах, варанов. Этим он и кормится. Договор с ним какой-то зооцентр заключил. Вот он и бродит, как волк, по степи. И к нам заглядывает.

— И всегда дело кончается ссорой?

— Обязательно! Он так и прет на профессора. Вот вы говорите, что Ажимов человек суровый. Оно так, конечно, а вот этого же сумасшедшего он терпит! Да еще как терпит! Ничего не поделаешь — тоже Ержанов. Плохой — да Ержанов... Вот ради памяти Дауке все ему и прощается.

— Так, так, — сказал Жариков, — ну спасибо, что предупредили! Да этого сумасшедшего надо, конечно, на пушечный выстрел не подпускать к экспедиции! А скажите, пожалуйста, мне вот что... — и Жариков опять начал расспрашивать об экспедиции.

Расстались они уже за полночь, а утром Жарикову позвонили из комитета и попросили срочно зайти. Он пришел, и секретарша сразу же провела его в кабинет начальника.

— Демеу Ахметович вас уже два раза спрашивал,— сказала она.— Там сейчас у него какой-то посетитель, по все равно заходите. Он просил.

Посетитель сидел в глубоком кресле и что-то рассказывал хозяину кабинета. Голос у него был тихий и какой-то затуманенный. Жарикову бросились в глаза длинные полуседые волосы посетителя и еще то, как неловко и скованно он сидит в кресле. Ему как будто тесно в его новом шевитовом костюме. В руках посетитель вертел маленькую изящную трубку — такие делают на Дальнем Востоке — и все, видимо, не решался ее закурить.

— Да вы курите, курите,— вдруг сказал хозяин кабинета.— У меня все курят!— он взглянул на входящего Жарикова и слегка привстал, приветствуя его.— Здравствуй-те, Афанасий Семенович. Спасибо, что пришли. Так вот, какие еще чудеса бывают на свете! Прошу познакомиться — Ержанов. Тот самый, которого мы вчера с вами схоронили.

Жариков быстро подошел к старику и пожал ему руку.

— Ну, поздравляю, поздравляю,— сказал он искренне и растроганно.— Это действительно и чудо, и радость. Сто лет вам теперь жить. Есть у нас, фронтовиков, такая примета.

— Спасибо,— сказал Даурен и вдруг очень хорошо, просто, по-человечески улыбнулся.— Нет, сто я не выдержу. Здоровье уже не то.

— Так это, значит, мы с вами вчера говорили по телефону?— спросил генерал.

— А вы Жариков?— заметно оживился старик.— Да, да, со мной, со мной!

Демеу Ахметович засмеялся и покачал головой.

— Так, оказывается, Афанасий Семенович, вы раньше нашли Ержанова, чем я,— сказал он.

— Вы остановились в гостинице?— спросил Жариков.— У вас в Алма-Ате никого нет?

Ержанов покачал головой и вздохнул.

— У меня и там, откуда я приехал, где я пробыл двадцать лет,— тоже никого нет. Здесь, в городе, могила моей жены. Вчера ходил искать и не нашел. Придется младшего брата спрашивать. Вот еще младший брат у меня здесь где-то, но где точно — не знаю.

— Вы с ним еще не виделись?— осторожно спросил Жариков.

Ержанов усмехнулся и махнул рукой.

— Да его, по-видимому, не скоро и найдешь. Я ходил туда, где он работает. Говорят, уехал в Баканас, когда вернется — неизвестно.

— А племянницу свою вы посетить не хотите? — спросил Жариков, вспомнив рассказ Еламана.

— То есть, его дочь? — немного удивился Даурен. — Да нет у него дочери! И жены нет! Бобыль! Зоолог!

— А я вот слышал вчера, что есть, — так же осторожно сказал Жариков. — Ведь вашего брата, если не ошибаюсь, зовут Хасен? Так вот его дочь работает в экспедиции.

— Первый раз слышу, — развел руками Даурен. — Да нет, вероятно, это какая-то путаница!

— Пожалуй, не путаница, — улыбнулся генерал. — Вчера как раз был разговор. Подробностей-то я не знаю, а в общем, вот что мне рассказали... — и Жариков в двух словах передал рассказ Еламана. Даурен сидел и молча слушал.

— Да, странно, — сказал он наконец, — очень-очень что-то странно. Впрочем, на Хасена это как раз похоже. У него постоянно такие заскоки. А человек он честный и благородный. За другого в огонь пойдет. Только вот нервы никуда, конечно! — и тут же перебил себя: — Да! Но откуда у него все-таки дочь?! Он мне никогда не писал, что женился! Ничего не понимаю!

Он опять задумался и весь ушел в кресло.

— Простите, — осторожно сказал Жариков, не переждав его молчанья. — Но я хотел бы знать ваши планы. Вот вы вчера спрашивали меня, не могу ли я вас захватить с собой в Саят, а я вам ответил, что и сам не знаю, как доберусь туда. Так вот, сегодня у меня есть машина, как раз после вас мне позвонил начальник хозяйственной части экспедиции Курманов. У него газик, вот в нем и поедем.

— Курманов, — вскинул голову Даурен. — А звать его как, не помните? Еламан? Еламан Курманов! Так он еще жив?

— А вы что, его знаете? — удивился Жариков. Что-то очень многое прозвучало в голосе старика, когда он произносил эти слова «Еламан Курманов».

— Да-а, — задумчиво протянул Даурен, не отвечая на вопрос. — Да! Ну что ж! Поедем на его газике!

— Ну, вот видите, как все хорошо складывается, — обрадовался хозяин кабинета. —частливого вам пути! А чтоб не было скучно, — он выдвинул ящик стола и вынул оттуда

книгу, — вот вам, Даурен Ержанович, на дорогу книга вашего ученика. Уже переведена на ряд языков. Попадается много светлых мыслей по поисково-разведочной геологии вообще. Ну да, впрочем, увидите сами.

Даурен взял книгу в руки. Это был солидно изданный увесистый томик в золотом тисненном переплете: «Геологическое прогнозирование. Итоги и перспективы. Опыт изучения Жаркынских хребтов». Он задумчиво перелистал предисловие к четвертому изданию и остановился на посвящении:

*«Посвящаю этот труд незабвенной памяти своего учителя Даурена Ержанова — одного из самых выдающихся геологов нашей страны».*

— Как давно появилось это посвящение? — спросил Даурен, помолчав.

— Так вот с этого, четвертого, издания оно и появилось, — ответил Демеу.

Даурен еще с минуту молча листал книгу.

— Ну, что же, спасибо, — сказал он, — и до свиданья! Афанасий Семенович, если вы готовы, пойдёмте! У меня все мое при мне.

Они распрощались с хозяином кабинета и вышли.

А ровно в двенадцать часов следующего дня к гостинице «Казахстан» подкатил газик. Из него выскочил Еламан и быстро вбежал в парадное, через пару минут он появился опять с вещами. За ним шли двое: Жариков — он нес дорожный рюкзак, и седой казах с легким дерматиновым чемоданчиком в руках. За это время он, однако, сумел сбегать в парикмахерскую, постригся, побрился, надеколонился и купил черные очки.

Шел он легко, но опирался на дорожную трость и чуть припадал на левую ногу.

— Как, сядете со мной или впереди? — спросил его Жариков.

— С вами, — ответил старый казах.

«Так вот кого я повезу», — подумал Еламан и весь напрягся и как-то странно похолодел. Уж больно знакомым показался ему этот старик: его лицо, осанка, походка. «Нет, нет — тот умер и похоронен где-то на Дальнем Востоке, — сейчас же успокоил он сам себя. — И голос у того совсем другой, у того голос звучный, высокий, а этот гундосит в нос. Нет, нет, не он, не он! Все может измениться, только не голос. Я могу забыть, да и забыл совершенно его лицо, но голос... но интонации... нет, нет — не он!»

— Едем прямо? Заезжать никуда не будем?— спросил Еламан Жарикова, когда оба пассажира уселись.

— Прямо, прямо!— ответил Жариков, и тут Еламан вдруг увидел руки старика: были они желто-бурые, шершавые, все в ожогах и шрамах.

«Он! Он, проклятый»,— подумал Еламан и, ничего не соображая, пустил машину на последнюю скорость. Они неслись, как стрела, и если бы встретился на пути орудовец, им бы, конечно, не сдобровать, но Ташкентская аллея была пуста, как нарочно.

— Да куда вы так гоните?— вдруг раздраженно спросил Жариков.— Ведь это сто двадцать верст в час!

И словно в подтверждение, сзади раздался отчаянный крик, а потом чья-то зверская ругань. Машина так круто срезала угол, что чуть не задавила ребенка.

Еламан растерянно обернулся и вздрогнул, встретив спокойно изучающий взгляд. Старик смотрел на него из-под очков внимательно, спокойно и просто. Еламан поспешно отвернулся и больше до самой остановки не оборачивался.

### 3

На другой день после сорвавшейся свадьбы Бекайдар уехал из Саята. Ему надо было посетить одну из самых отдаленных партий экспедиции. Работала эта партия недалеко от озера Балташы сравнительно высоко в горах. Здесь били ключи и густо разрастался ковыль. Росли еще и таволга, и тамариск, и другие степные травы. В местах же, где влаги было особенно много, качаясь, пышно зеленел камыш, тускло поблескивали низкорослые тростники и прямые острые стебли с огромными блестящими листьями невероятной чистоты, яркости. Но главной достопримечательностью этого места были все-таки камни. Ветры, вода и время источили глыбы, стянутые с гор, верно, каким-то селом<sup>1</sup>, и вся местность напоминала фантастический парк. Бекайдар ходил и смотрел: вот, например, стоит Баба-яга. Острый крючковатый нос, впалые щеки и рот с тонкими сухими губами: подбородок острый, вздернутый. А кожа у Бабы-яги жесткая и сухая, как и у всякой старухи.

---

<sup>1</sup> Сель — грязекаменный поток.

Чуть дальше лежит тигр. Громадная, гибкая хищная кошка. Еще дальше застыла девушка. Она бессильно привалилась к каменной калитке; захотела как-то поднять тяжелый мешок с камнями, да так и осталась на миллионы лет на одном месте, поникшая, выбившаяся из сил, одинокая. А дальше шли отдельные статуи и целые группы их из белого, черного, розового камня; мрамор, кварцит, известняк. Миллионы лет работала природа над этим парком — точила, выветривала, шлифовала. Она как будто знала, что придут люди, разобьют палатки и застынут от удивления, когда увидят, что она им приготовила.

Бекайдар сидит на высоком камне и смотрит вниз. Вот уже десять дней, как он не находит себе места. Под ним степь, сопки, глыбы, родник, затянувшийся осокой. С запада тянется дорога, тонкая, длинная, похожая сверху на стальную проволоку. «Вот в такой же ясный солнечный день я увидел впервые Дамели», — подумал он и весь сжался от душевной боли.

— Дамель, Дамель, — сказал он вслух, — за что ты погубила меня или никогда и не любила, а?.. — И ему вдруг вспомнился эпизод из далекого детства.

...Как-то их классный руководитель Зинаида Михайловна привела к ним незнакомую девочку. Девочка вошла в класс смело, независимо, громко сказала: «Здравствуйте, ребята!» — и улыбнулась. Ее, видимо, ничуть не смутили ни незнакомая обстановка, ни чужие ребята — наоборот! — быстрые черные глаза девочки сияли лукаво, вместе с тем даже, пожалуй, отчаянно. А вообще она была хоть куда! Черноокая, пышноволосяя, с большим красивым бантом на голове.

— Вот, дети, знакомьтесь, — сказала Зинаида Михайловна, — ваша новая подружка — Гульжан. Раньше она училась в другом городе, а сейчас ее родители переехали к нам. Бекайдар, она сядет с тобой. Будешь ей помогать.

Бекайдар считался одним из лучших учеников в школе, и поэтому ему часто приходилось подтягивать отстающих. И, в общем-то, с этим делом он справлялся хорошо, но сейчас предложение Зинаиды Михайловны его по-настоящему смутило. Уж слишком хороша была эта новая девочка. Он пробормотал что-то невнятное, подвинулся. Но сама Гульжан нисколько не смутилась. Она смело подошла к Бекайдару и приказала его соседу:

— А ну-ка встань! Сядешь сзади! Ты слышал, что сказала учительница?

И сосед Бекайдара, мальчик бойкий и задиристый, встал и послушно пересел на заднюю парту.

«Вот это да!» — ошеломленно подумал Бекайдар.

Девочка посмотрела на него, опешившего, притихшего, и сказала громко, почти на весь класс, совершенно не смущаясь учительницы:

— А что ты на меня смотришь, как на волка?! Придвинься-ка ко мне поближе. Вот так!

Так они и подружились. Училась Гульжан не плохо хорошо, но не было веселее и разбитней девчонки в их классе. Первым коноводом заводилой была эта четырнадцатилетняя черноглазая Гульжан. И вот Бекайдар однажды почувствовал, что он по-настоящему влюблен. Он понял, что он томится весь день, если она не приходит в школу, что он скучает, если ее долго не видит, и что у него замирает сердце, когда кто-нибудь называет ее имя. И Гульжан тоже вдруг переменялась к нему: стала простой, доброй и внимательной. А однажды произошло такое: они остались после занятий в классе. Дело в том, что бедовая девчонка все больше и больше отставала по математике. Они сидели и решали какие-то примеры. И тут вдруг Гульжан отодвинула тетрадь, обняла Бекайдара за плечи и звонко чмокнула в щеку.

— Вот, — сказала она, — глядя на него, совершенно потерявшегося и красного. — Это тебе от меня на память. Ты мне нравишься! Но, пожалуйста, не воображай! Мы же маленькие. Вот если бы ты был меня постарше хоть на года два-три... Слушай: а давай обменяемся карточками? Как настоящие влюбленные, а?

Карточками они обменялись на другой же день, но дальше этого дело не пошло. А еще через некоторое время Бекайдар понял, отчего это произошло: в класс стал заглядывать некий десятиклассник — подтянутый, красивый, уверенно спокойный. А затем Гульжан ушла от Бекайдара. Просто пересела на другую парту — и все. У нее всегда такие вещи получались легче легкого. Кто-то сказал, что прежде всего в ребенке пробуждается — ревность: уже младенец ревнует свою мать к отцу и всему миру! Может быть, может быть! И, ох, как Бекайдару пришлось несладко в те несколько недель, которые последовали за этим отчуждением! Особенно ему запомнился один подлый случай. Однажды, зайдя в класс, он почувствовал что-то неладное: несколько девочек сидели на парте, рассматривали какую-

то карточку и смеялись. А в середине, как всегда, была Гульжан.

Вот та уж смеялась просто до слез. Так смеялась, что даже говорить не могла от смеха.

— Вы посмотрите! Нет, вы только посмотрите!— повторяла она.— Ой, не могу!

И хохотала, уронив голову на парту. Неясные предчувствия закралась в душу Бекайдара. Он подошел к ней и вырвал фотографию. Так и есть! Это был его портрет, тот самый, который он подарил Гульжан месяц назад. Но только чья-то озорная рука разрисовала его со всех сторон, и свежее детское лицо с пририсованными усами и бородой выглядело смешным и страшным.

Бледный от гнева Бекайдар схватил Гульжан за плечо.

— Ты?— спросил он тихо.

И вид у него был такой, что девочка по-настоящему испугалась.

— Нет-нет,— пролепетала она и, как бы защищаясь, вытянула перед собой руки.— Это Кайсар. Он пошутил, он просто пошутил.

Бекайдар повернулся и вышел из класса. В нем все кипело, даже лицо Гульжан прыгало в его глазах. Он впервые понял, что это значит увидеть все в красном цвете. Молча он вошел в десятый класс, подошел к Кайсару, так звали его соперника, и несколько раз ударил его изо всей силы по щеке, потом изорвал фотографию и клочья ее бросил ему в лицо. Так же молча повернулся и вышел. Все это заняло полминуты — не больше. Никто не успел вмешаться. И этим окончилось у Бекайдара все: и первая любовь его и дружба с черноглазой и дружба с девочками вообще. В учительской о драке не знали. «Закрытый казан — это тот, что закрыт»,— говорят казахи. Этот казан был у Бекайдара действительно закрыт накрепко.

Это и вспомнил он сейчас. Так вот Дамели. Она его оскорбила куда больнее, чем Гульжан. У той была просто детская игра, шутка. И он даже не сердился особенно на изменницу, он просто разлюбил ее — и все. А вот Дамели он не мог разлюбить. Не мог, не мог и не мог! А раз так, то какой же мерой он должен измерять свою обиду! Он этого не знал. У него и злости настоящей даже не было — настолько все поглотила и вытеснила тоска. А главное, он ничего не мог понять. Как могла на такое решиться Дамели? Его Дамели! Как она могла пойти на разрыв с ним? Двух девушек он любил в жизни, и они обе обманули его,



Одна так, походя, шутя, не думая и не понимая, другая страшно, смертельно, понимая все, перед всем светом, перед всеми его близкими и друзьями. «Или все они такие? — мучительно думал Бекайдар. — И только для меня любовь есть любовь, а для них она ничто?! Ну, положим, Гульжан была еще совсем девчонкой, да и любви по-настоящему у нас не было! Просто зародилось какое-то неясное тревожное чувство, но ведь Дамели действительно меня любила! Или только кажется, что любила, а на самом деле-то... Что? — прервал он себя. — На самом деле не любила? Тогда кто ж она такая? Нет, ровно-ровно ничего не поймешь в этом мире...»

Он встал и пошел вниз к дороге. И сразу же увидел газик, а в газике Еламана. Он никогда не любил этого приткого человека, никогда не мог понять, почему отец с ним дружит, а иногда даже и приглашает в гости на коньячок. Но сейчас он без колебаний сбежал с холма и пошел ему навстречу. Он чувствовал, что этот человек приехал недаром.

— День добрый, — сказал Еламан, выходя из машины и подавая руку. — Ну, хорошо, что встретились. Вот еду завтра ненадолго в Алма-Ату и решил заскочить к тебе. Пойдем-ка присядем, что ли? Вон камушек там хороший есть — присядем!

Бекайдар молча последовал за ним.

— Так вот, свет души моей, — как выражаются поэты, — продолжал Еламан, — усаживаясь сам и усаживая юношу рядом. — Не дает мне покоя тот проклятый случай. Ведь организовал-то свадьбу я, значит, и моей вины тут доля есть.

Бекайдар пожал плечами:

— Вины? Вашей? Не знаю, не вижу. В чем же? У меня к вам никаких претензий нет.

— Правда? Ну раз так, то очень хорошо. — Еламан потрепал Бекайдара по плечу. — Очень-очень хорошо! Нынешняя молодежь всюду ищет виновных. Все виноваты в их бедах, только не они сами, а между тем...

— Вас что, отец ко мне прислал? — мягко перебил его Бекайдар. — Нет? Ну так не соболезнование же мне выразить вы приехали, случилось что-то?

— Так-так! — вздохнул Еламан. — Горячий, нетерпеливый. Я и сам был когда-то таким. Ну хорошо, не в этом дело! Я, Бекайдар, твоего отца вот с таких лет знаю. Вместе же выросли. Он со мной всем делится. Так вот, мучает-

ся Нурке не меньше тебя. Похудел за эти десять дней, осунулся и все молчит, молчит, никто с ним заговорить не смеет.

Бекайдар молчал.

— Как ты думаешь, что такое произошло на свадьбе? Кто виноват?

— Но вы же видели, что произошло,— ответил Бекайдар досадливо,— Дамели ушла с отцом и больше не вернулась. Вот и все!

— Так,— кивнул головой Еламан. Правильно, ушла и не вернулась! А что за человек ее отец, ты знаешь?

— Знаком не был, а так знаю: охотник какой-то. Говорят, что она его очень любит.

— А что он — того?— Еламан покрутил пальцем около лба.— Что он чокнутый, ты это знаешь? Что он вечно всех обвиняет в каких-то смертных грехах? Что у него все подлецы и негодяи! Ты это знаешь?

— Нет, я этого не знал,— ответил Бекайдар.— Но это и не важно. В конце концов, дело не в нем, а в дочери. В том, что она послушалась ненормального человека.

— Ну, не суди ее чрезмерно строго,— ответил Еламан,— он ведь такой! Возьмет и излупит при всех. Его на все станет. Она просто побоялась сумасшедшего!

— Нет,— усмехнулся Бекайдар,— она не такая. А потом видели, как они обрадовались друг другу? Вы говорите — избыток, но к чему ему мешать счастью дочери? Ведь он меня даже не знает. Почему же не захотел познакомиться? Почему допустил до свадьбы? Почему ушел молча? Что он ей такое сказал? Нет, тут все непонятно.

— А ревность ты предположить никак не хочешь?— прищурился Еламан.

— Бог знает, что вы говорите,— Бекайдар даже привстал с камня.— Но хорошо,— продолжал он, садясь вновь.— Вот вы мне говорите: Хасен такой, сякой, значит, вы знаете эту семью? Почему же Дамели-то вас не знает?

— Ох-ох,— засмеялся и закачал головой Еламан.— А что вы вообще знаете и понимаете с вашей Дамели? Сложи ваши годы вместе — и то вы меня не догоните. Скажу тебе только одно: этот сумасшедший ненавидит твоего отца. Вот тут и вся заковыка.

— За что ненавидит-то?

— За то, что твой отец — уважаемый и достойный человек, а он-то сам никто! Просто дурак и посмешище. Вот

дурак и преследует умного. И давно преследует — лет десять. И еще уж скажу. — продолжал он, помолчав, — твоя мать Бигайша и этот Хасен из одного аула и даже из одного рода.

— Ну и что? — спросил Бекайдар, который был совершенно равнодушен к этим тонкостям.

— То! Слушай и молчи, — голос Еламана звучал очень внушительно. — Когда тебе было два года, твоя мать ушла от твоего отца. Ушла и отравилась. И виноват тут был тоже Хасен. Что он ей сказал или показал — никто не знает, но так было: ушла и отравилась иссыккульским корешком.

— Слушайте! — крикнул Бекайдар. — Да вы... Да вы что, в своем уме? Что вы такое плетете, а? — Он ни в одном слове не поверил завхозу.

— Садись, садись! — усмехнулся Еламан. — Нет, я, к сожалению, в своем уме. К сожалению! Потому что иногда и вправду хочется сойти с ума, когда увидишь что-нибудь эдакое! Да! Отца погубил, мать убил! До сына добрался. Вот и сыну жизнь уже испортил. Что ж? В суд на него не подашь! Он это знает и пакостит! Нурке страдает молча. Эх, если бы Хасен не был родным братом Даурена Ержанова! Тому отец твой всем обязан. Ведь это он его отдал учиться. Такого не забудешь.

— Как все это непонятно, — взволнованно сказал Бекайдар. Даурен Дауреном! Хасен Хасеном! Даурен погиб во время войны, но почему же отец обязан терпеть?.. Тут что-то не то. Скажите, может, отец в чем-то виноват перед Хасеном, потому и молчит, а?

— Нет, — коротко и категорически ответил Еламан. — Ничем он этого дурака не обидел и не прогневил. Твой отец вообще ни перед кем и ни в чем не виноват. Он человек кристальной чистоты! И существуют для него только две вещи в мире: ты и наука. Он и не женился вторично из-за тебя. «Чтобы у моего сына была мачеха?! Да никогда». — вот как он отвечал всем своим друзьям. Ведь он знает, как тебя любила покойница! Эх, да что говорить! — и Еламан махнул рукой.

Наступила короткая пауза. Бекайдар сидел и глядел на свои руки.

— Непонятно, — сказал он наконец задумчиво. — Все, все непонятно. Если так, как вы говорите, то почему отец мне ничего не сказал?

— А что он тебе должен был, по-твоему, сказать?

— Ну вот то, что вы сейчас сказали. Сказал бы: жениться — женись, но помни, что отец невесты убил твою мать — вот и все. Ну, ладно, тогда почему-то он не захотел мне этого открыть, но сейчас-то почему он молчит? Почему я должен выслушать все это от вас? Разве он сам не мог приехать и сказать мне то же самое?!

— А ты думаешь, так легко касаться старых ран? Они хоть и старые и затянувшиеся, а болят! Ох, как болят еще!

— Нет, непонятно, — произнес наконец Бекайдар, — очень, очень непонятно.

— Поживешь — поймешь, — пообещал Еламан. — И не только это поймешь! Ладно, теперь о цели моего приезда. Я уже тебе сказал, что еду в Алма-Ату. Хочешь, я наконец начистоту поговорю с этим шайтаном Хасеном. Какой он ни дурак, но если я ему скажу ясно и твердо, что вы жить друг без друга не можете, что он губит не только тебя, но и свою дочь, — надо полагать, он долго артачиться не будет. Он поди и сейчас уже раскаивается в том, что сотворил. Кто теперь его дочку возьмет? Кому она нужна после такого скандала?

— Ой, нет, — резко сказал Бекайдар и решительно встал с камня, показывая, что разговор окончен. — Вы сюда, очень прошу, не мешайтесь! Мы сами как-нибудь разберемся. Очень вас прошу!

— Ну, твое дело, — вздохнул Еламан и тоже поднялся. — Мое дело было предложить! Привет от отца! До свидания! — И он пошел к машине.

«Нет, надо обязательно поговорить с Хасеном, — подумал Бекайдар, следя глазами за удаляющимся газиком. — Обязательно!»

И вот прошла еще неделя. Работы вдруг сразу стало невпроворот. Такое в экспедициях случается очень часто. Бекайдар с рассветом уходил в маршруты и возвращался к ночи. Уставал настолько, что даже горевать уже не мог. К тому же его увлекала одна, как ему казалось, совершенно новая идея насчет прогнозирования перспектив района работ, и он с головой ушел в сбор материалов.

И вот однажды, когда усталый, запыленный, с пересохшим горлом, вернулся к себе в палатку, он вдруг увидел, что у его постели сидит коллектор экспедиции Толя Ведерников и вертит в руках какие-то образцы. Они не встречались почти полгода. За это время Толя вытянулся, похудел, возмужал. Его волосы казались совершенно белыми, как выгоревшая солома, лицо черным, нос нежно-розовым, как

молодая картошка, а сам он серым от пыли. Но так и полагалось выглядеть геологу! Ведерников был комсоргом экспедиции, и, как казалось Бекайдару, он слегка задавался этим.

— Ну, наконец-то! — сказал Ведерников. — Обнаружилась бабушкина пропажа. Тебя здесь никто никогда не видит. Его, говорят, надо ночью ловить, вот я и решил подождать.

— Ну и хорошо сделал, — ответил Бекайдар, — посиди минутку, я сейчас умоюсь, и тогда мы с тобой кое-что соорудим.

Он вышел на улицу, а Ведерников опять стал вертеть и рассматривать образцы. Кроме них, в палате ничего заслуживающего внимания не было — три-четыре спальных мешка по углам, посредине легкий походный столик. Такая же табуретка. У стены теодолит и тренога, под ним ящик с инструментами — все. Да! Еще большой черный камень как подставка для лампы.

— Негусто у вас, — сказал комсорг, бросая образцы руд в ящик. — Я даже и книг у тебя не вижу. Что так? Ничего и не читаешь?

— А есть у нас время читать, как ты думаешь? — нахмурился Бекайдар. — Его раздражал тон комсорга. Он вообще терпеть не мог, когда его поучали.

— Человек должен расти, — сказал комсорг официально, но не особенно уверенно.

— Хорошо! Буду расти! — отрезал Бекайдар. — Ты что, по делу приехал или так просто поговорить о моем росте?

Комсорг вынул из кармана блокнот и шариковую ручку.

— Именно что о росте. Вот хочу, чтоб ты провел у нас одну беседу.

— Это о чем же?

Комсорг развел руками.

— Да о чем хочешь, — ответил он великодушно, — тему не навязываю. Вот, например, Дамели Хасеновна выбрала тему: «Наши девушки на фронте». А ты можешь взять хоть «Образ молодежи в современной литературе» или что-нибудь подобное. В общем, подготовься и шпарь о чем хочешь. Хоть о любви. Но, конечно, только с учетом всех политических и моральных моментов. Беседа должна поднимать и заострять вопросы в духе задач коммунистического воспитания.

У Бекайдара чуть не сорвалось с языка: «Да разве Да-

мели приехала?» — но Ведерников и без вопроса удовлетворил его любопытство.

— Так вот так, друг, давай! Беседа Дамели будет проведена на этой неделе, а ты выступишь на следующей. Пусть все воскресенье будет занято. Так о чем же ты будешь говорить: о личном или общественном? Есть у тебя какая-нибудь любимая тема или ты так ушел в эти камни, что и думать разучился?

— Ну ладно,— сказал Бекайдар, все продумав.— Я, скажем, выберу какую-нибудь очень личную тему. Разве это заинтересует других? Они ведь, может быть, думают, совсем по-иному.

— Вот и отлично! — с энтузиазмом подхватил Ведерников.— Ты сказал, а мы с тобой не согласились, начали спорить, каждый высказывал свою точку зрения — вот и получилась беседа. Конечно, для этого и тема должна быть соответствующая, например: «В чем я вижу смысл жизни», или «Человек и общество», или «Как я представляю себе нашу страну через сорок лет». Да мало ли там! Бери, говорю, любую тему. О внутренней дисциплине тоже, например, было бы очень интересно поговорить. Боевая тема! Нужная! Валяй! Но только для плана мне требуется, чтоб ты сейчас же определил, о чем будешь беседовать! Ну хотя бы приблизительно. Думай!

И Бекайдар действительно задумался. Ему давно хотелось поделиться с людьми, выложить то, что у него за последнее время скопилось на душе. Прямо, честно, без всяких обиняков. Может, и Дамели придет и тоже выступит? Но о чем же говорить? О любви разве? Нет, не годится. Все поймут, о чем он завел речь, и Дамели, конечно, никогда не выступит на эту тему. Говорить публично о своем чувстве — это все равно, что торговать своими тайнами. А любовь всегда тайна. Тайно она зарождается, тайно приходит, тайно же уходит. Дамели в этом убеждена и не будет исповедываться перед людьми. Ее любовь принадлежит только ей. Да, но тогда какой смысл вообще вести беседу? Вероятно, ему лично ровно никакого! Престо надо помочь Толику провести еще одно мероприятие. Ну, что же! Он готов!

— Хорошо, я расскажу о песне,— сказал он.

— О какой песне? — удивился Ведерников.

— О всякой песне. Ну хотя бы о наших геологических песнях. Ты знаешь, что мы иногда поем у костра? А ты думал, что у нас только одни камни да «Гимн геологов».

Нет, у нас и лирики сколько угодно. «Геология и лирика» — может быть такая тема?!

Ведерников зачесал в голове.

— Может-то может, конечно, — согласился он, — но тогда ты все-таки захвати тему как-нибудь пошире. Ну, например: «Казахская народная песня». Что она значила для казахского народа. Как она его поднимала, направляла, помогала жить. С примерами и образцами. Вот это действительно будет интересно. Так сговорились? Я записываю: «Разговор о казахской песне». Так?! После доклада прения. После прений танцы! Народ на это придет!

— Хорошо, — согласился Бекайдар, — заноси в план: «Размышление о песне». Будем разговаривать!

Он все-таки надеялся, что увидит Дамели.

... Когда на следующее воскресенье Бекайдар подъехал к поселку, он увидел, что улицы полны народа. Много женщин. Молодежь принарядилась, начистилась, навела блеск. Около клуба образовался круг. В одном месте парень играет на свирели и несколько парочек кружатся по каменистой площадке. В другом месте — хор. В общем, веселятся кто как может.

«А ведь все это заслуга Ведерникова, — подумал Бекайдар, — без него, кроме водки и картишек, тут ничего не было». И действительно, Ведерников сделал много. До его избрания в комсорги лучшим времяпровождением кроме гулянок была охота и поездка с удочками на озеро Балташы. Но для поездок этих нужны машины, а где их взять? Хорошо, если начальство расщедрится, а если нет?! — вот и хлестали водку, вот и гоняли козла, вот и играли на интерес, а Ведерников устроил танцплощадку, сколотил хор, организовывал диспуты на острую тему и сумел так втянуть во все это молодежь, что так называемые «воскресники» стали неременной принадлежностью каждого выходного дня. Что-что, а организатором Толик был действительно первоклассным. Он умел не только отыскать интересного докладчика, но так же подобрать ему и содокладчика, и оппонентов, и, случалось порой, что от обоих докладчиков только клочья летели. Сейчас перед клубом собралось около ста человек, то есть почти вся саятская молодежь — геологи, рабочие, шоферы. Но как ни присматривался Бекайдар, Дамели он не находил. «Неужели так она и не придет?» —

тоскливо подумал он и посмотрел на часы: уже время начинать. «Эх, отделаюсь — и все».

— Ну, что же ждать? Начнем!

— Начнем, пожалуй,— ответил Ведерников и вдруг, как будто что-то сообразив, добавил: — Вот минут через десять и начнем.

И как раз в это время Бекайдар увидел Дамели. Она шла со стороны сонок. Сердце у Бекайдара так и замерло. Кажется, он даже покраснел. Это было как солнце, поднявшееся с другой стороны поселка. Дамели бледна и строга, на ней белое платье. «Упругий стан, шелками схваченный»,— вспомнил Бекайдар Блока. Не идет, а ступает по воздуху, еле-еле касаясь ступнями земли. Глаза потуплены, и, несмотря на всю легкость, независимость, чувствуется, какая огромная тяжесть давит ее, как ей трудно было прийти сюда. Дамели дошла до площадки, кивком головы поздоровалась со всеми и присела на черный камень. Хотя этого и не полагалось, но Бекайдар смотрел на нее, не отрывая глаз. Да, похудела, похудела, даже вот щеки ввалились. Под глазами синяки. Видно, и ей несладко пришлось за эти недели. Волнуется и старается скрыть это. Брови сдвинуты, и резко обозначились скулы. А раньше их Бекайдар не замечал совсем. «Нет, она переживает не меньше меня,— решил он.— Больше, много больше! — подумал он через минуту, присмотревшись.— Она ведь знает, в чем дело! Это, верно, действительно какая-то ужасная тайна! Что, если Еламан не соврал?!»

И тут он услышал голос Ведерникова.

— Итак, товарищи, начнем! Наша сегодняшняя беседа, как вы знаете, называется «Раздумья о казахской песне». Основной наш докладчик — геолог Бекайдар Нуркеевич Ажимов. Вот ему я сейчас и предоставляю слово. Я думаю, в помещение мы заходить не будем, а вынесем стол и проведем беседу прямо на воздухе. Есть возражения? Нет! Бекайдар Нуркеевич, тогда прошу вас.

Бекайдар подошел к столу — его сейчас же притащили из помещения — положил на него свою тетрадь с записями, достал из портфеля книги с закладками и начал говорить. Говорил спокойно, обстоятельно. А сердце у него так и екало. «Дамели, Дамели...» — восклицало в нем что-то.

— Я думаю, что нет человека, который не любит песен своего народа... — так начал он. — Они говорят о печали или радости, о любви или ненависти, о встрече и разлуке... Все



чувства человечество отображало в своих песнях. Но песни говорят и о большем. Это интеллектуальная жизнь народа, его недовольство настоящим, его мечты о будущем, его надежды. Все большие исторические события обязательно отражаются в песнях, ибо в них народ как бы осознал самого себя. Вот именно потому я люблю слушать наши народные песни. И совсем не потому, что я казах, то есть, вернее, не только потому, что я казах. И первое, о чем я думаю, когда слушаю такую песню,— это чью же радость или печаль передает мне она? Кто смеялся или плакал, сочиняя ее? Потому что создатель такой песни не только весь народ целиком, но еще и какой-то конкретный человек в отдельности. Ликующий или страдающий человек. Он долго ходил, думал, страдал или радовался, и вот наконец его чувства отделились от него и превратились в песню. И народ подхватил эту песню и понес ее дальше, и все страдающие и радующиеся тоже присоединились к этому шествию. В этом слиянии народа и человека заключается, по-моему, та великая тайна, которую я и стараюсь угадать. Вот, например, одна старинная песнь. Она возникла почти 300 лет тому назад во время Джунгарского нашествия. Это были годы гибели, огня и смерти. Туркестанская степь тонула в крови.

И он заговорил о песне «Елим-ай» («Край родной»). затем он сказал о песне «Жас казах», созданной в годы Великой Отечественной войны, о песнях обрядных — «Прощанье», «Колыбельная», «Жар-Жар», и про то, как они, вероятно, возникли. Затем он заговорил о великих композиторах, об акынах — Биржан-Сале, Акан-Сате, Естай-акыне, Мусе и других.

— Любовные песни,— сказал он дальше,— песни о счастливой или несчастной любви, разделенной или отвергнутой,— занимают в казахском фольклоре особое место, на них я и хочу сейчас остановиться.

Бекайдар увидел, как сразу притихла молодежь. Увидел и то, как вздрогнула Дамели. Говоря, он все время следил за ней.

Дамели действительно сидела как на иголках. Она чувствовала, что ей просто не хватает воздуха. Когда она увидела на стене клуба объявление о том, что очередная беседа проводится на тему «Казахские песни» и проводить беседу будет Бекайдар Ажимов, она подумала: «Боже мой, ну к чему ему это?»,— но теперь, когда он заговорил о любовных песнях, ей стало ясным все: «Да, вот он и нашел

способ вылить все, что у него лежало на душе», — подумала она.

А Бекайдар продолжал. Так же не торопясь, обстоятельно и четко, он сказал о том, что любовные песни очень разнообразны. Есть песни шуточные, есть задорные, есть жалобные, а есть и такие, в которых влюбленный просто поведал миру о своей любви. Например, знаменитая «Кара торгай» — в этой песне есть такие строки:

Была бы ты птицей — я шелком связал бы,  
Подставку твою — серебром оковал бы,  
И золотом перья сверкали б твои,  
А домом служили б ладони мои.

Дамели вся задрожала. Она отлично знала эту песню. Ее Бекайдар ей пел часто. Они оба ее любили! Как видно, ясно, до галлюцинации, представились ей тихая лунная ночь, белый-белый камень, еще более белый от луны, и она на нем. Бекайдар сидит рядом, слегка обхватив ее за плечи, и поет. И оба они счастливы. И она такая легкая, любящая, тихая, счастливая.

«Была бы ты птицей...» Ох, если бы она верно была птицей...

— А вот другая песня и уж совсем о другом — хотя тоже о любви, — продолжал Бекайдар. — Жигит упрекает любимую. Он поет о своем гневе, о своей печали, несбывшихся мечтах:

О мир, как бессердечен ты,  
Разбивший все мои мечты;  
Кипит моя от гнева кровь,  
Я потерял тебя, любовь...

Голос у Бекайдара в самом деле был отличный и пел он тоже хорошо: спокойно и грустно. Словно и не пел даже, а рассказывал. Рассказывал о себе, о своем разочаровании, о той тяжести, которая легла на его сердце.

«Боже мой, боже мой, — подумала Дамели, — неужели ты не понимаешь, Бекайдар, что мне-то еще тяжелее? Ведь вот ты все-таки вот говоришь, а я-то должна молчать. А ты, конечно, считаешь меня предательницей! Если бы ты знал! Если бы знал хоть что-то!»

И тут вдруг Бекайдар запел.

Я тебе привез драгоценный куман.  
Но запутал дорогу дождливый туман,

<sup>1</sup> К у м а н — кувшин

Ох, и волос меж нами никто б не влажил.  
Так какой же злодей нас с тобой разлучил?

Да, это уже прямой вопрос. Он спрашивает именно ее и ждет от нее ответа, но что она может ответить ему? «Эх, Беке, Беке, ты ведь думаешь, что все это какие-то пакости, интриги, небось, отца моего виनिшь. Конечно, виनिшь, а я тебе ничего и сказать не могу. Но вот теперь скажу. Открытая-то рана ноет меньше закрытой. А знаешь? Я тебя сейчас еще больше люблю, чем до свадьбы. Ну, положим, я тебе все открою. Скажу, почему ушла со свадьбы. Почему пришла сюда. Но разве тебе будет от этого легче? Может быть, и еще тяжелее будет. Ну, да все равно сказать придется».

Она и не заметила, как доклад кончился и начались высказывания. Посыпались вопросы. Их было много. Спрашивали о трагической истории Кулагера — этого Пегаса казахских песен. Коня убили завистники, и его хозяин, великий певец казахской степи Ахан-серэ создал эту песню великого гнева. На все вопросы Бекайдар отвечал уверенно. Видно было, что он действительно хорошо подготовился. Потом, когда вопросы исчерпались, Ведерников продолжал:

— Ну, что ж, тогда приступим к обмену мнениями. Кто возьмет слово первым?

Начались выступления, но Дамели никого и ничего уже не слушала. Она была потрясена. Ведь он ей сейчас сказал при всех то самое, что и хотел высказать наедине. Сказал о своей любви, о своей обиде, о тревоге за нее, и слушать его было больно и хорошо. Ее до дрожи волновал уже самый его голос. Она хотела слушать еще и еще — хотя это было и мучительно. Но кто сказал, что мучительная любовь тоже не радость? Радость, радость, конечно! Горькая, скорбная, но такая же светлая и сильная, как и все, что есть в любви. И Дамели сейчас, после этого свидания с любимым, чувствовала себя по-настоящему счастливой. Потому уже счастливой, что она убедилась, как крепко ее чувство. Какая она богатая, именно потому что любит!

Она и не заметила, как собрание кончилось, уже уходили последние слушатели. Встала и она. Пришла домой тихая, удовлетворенная. Разделась, легла в постель. У нее было такое чувство, будто она опять поговорила с Бекайдаром.

Казахстан! Родина моя! Твои богатства неисчислимы. Твоя щедрость неисчерпаема. Кто-то из ученых сказал о тебе: «Перечислить, что здесь есть, еще можно, а вот доискаться до того, чего здесь нет,— это труд пока невыполнимый». Человек, сказавший это, знал, что он говорит, ведь он родился здесь, тут вырос и тут изучил свою землю так, как когда-то в школе он изучил таблицу Менделеева. Да, впрочем, ведь это в Казахстане и обнаружен девяносто третий элемент ее и заполнена еще одна пустующая клетка.

Но это все только про богатства. Есть у Казахстана и другая сторона. Природа. По красоте и разнообразию ландшафтов не много найдется на земле стран, могущих соперничать с Казахстаном. Тут и швейцарские горы, окутанные тонким туманом, то голубым, то нежно-розовым, тут и озеро Боровое с есенинскими березками, тут «альпийские луга» на склонах Алатау, тут и прозрачный источник с чистой, как хрусталь, ломящей зуб водой и золотыми соринками. Тут сотни рек и десятки пустынь, страшных, безлюдных и жгучих, как Сахара, или библейские степи. Тут... впрочем, разве перечислишь, что тут есть?

Машина мчится в Саят. Двое пассажиров и один шофер. Все трое молчат, но каждый молчалив по-своему. Даурен молчит потому, что не может наглядеться на свой родной край, он пролетает мимо него со скоростью сто километров в час. Еламан гонит газик вовсю.

— Да, родина, родина,— говорит в раздумье старый геолог,— ничего, кроме нее.

Жариков, пробужденный от своих дум, повернулся к нему.

— Вы что-то сказали? — спросил он.

— Нет, это я с самим собой,— улыбнулся Даурен, и, в действительности, он говорил с камнями, с песком, с зелеными кустами, что попадались по дороге, а никак не со своими соседями. Конечно, только при долгих, иногда многосуточных скитаниях по тайге могла появиться такая привычка, но сейчас, на людях, он никак не мог избавиться от нее. А надо, надо избавиться: нечего смешить ближних! Так молча проехали они еще с десяток верст. Стало смеркаться.

— А вы видели когда-нибудь джидовую рошу? — спросил вдруг Жариков и приказал Еламану: — Вон, пожа-

луйста, поверните к той сопке. Поглядим немного. Сейчас самая пора сделать привал.

В зарослях джиды Еламан остановил машину, и все соскочили на землю.

— Ну, какая красота, а? — радостно воскликнул Жариков. — А воздух-то, воздух, чувствуете, товарищи, а?

Он дышал полной грудью. Воздух здесь действительно стоял острый, пряный, настоянный на запахе трав и ветвей. Лес был крохотный, но удивительный. Серебристые листики кустарника, сплетенные друг с другом, казались выкованными из серебра. А дальше, наверно, текла река, или просто пахло чем-то речным, может быть, водорослями или влажной землей.

— Пойду туда, — сказал Жариков. — Не могу не искупаться, когда нахожусь рядом с водой. Как вы, Даурен-ага?!

Даурен покачал головой.

— Воздержусь! Чувствую себя что-то не вполне здоровым, устал, что ли?!

Жариков ушел, и около машины остались двое: Еламан и Ержанов. Как Еламан ждал именно такого случая! Но он не сразу взял быка за рога.

— Вы не покажете свою трубку? — попросил он Даурена. — Уж больно она хороша!

— Хороша? — слегка удивился Даурен, и в голосе его прозвучало что-то почти неприязненное. — Не знаю! Интересно — да! А хороша. Ну смотрите, если понравилась.

Еламан взял в руки трубку. Действительно, ничего особенного в ней не было. Трубка как трубка, черная, прокуренная, выдолбленная, видно, из корня кедра или сосны. На люльке цифры: «1946» и надпись: «Колыма. Прииск «Партизан». Конец трубки изрядно изгрызан. Видно, старик часто нервничает. Еламан быстро и искоса взглянул на него. Тот вздохнул и спросил: «Ну, дорогой, все?» И протянул руку за трубкой.

«Не он, — быстро решил Еламан, — просто похожий. Тот не назвал бы меня дорогим. Он бы сразу мне все выложил. И генералу тоже. Нет, нет, это не он».

Старик взял трубку, бережно обтер платком, словно стирал с нее прикосновение Еламана, и спрятал трубку в карман.

— Колыма! — сказал Еламан. — И долго вы пробьете там?

— Пустяки! Двадцать лет! — усмехнулся старик.

«Не он,— снова решил Еламан,— тот давно умер». И облегченно вздохнул.

И тут старик вдруг спросил с любопытством:

— А что, разве я похож на какого-нибудь вашего знакомого? — И так как Еламан чуть задержался с ответом, махнул рукой: — Бросьте, какое это имеет значение! — и усмехнулся.

«Он,— решил Еламан,— он, он! И еще издевается, скотина».

Он хотел что-то сказать, но как раз вернулся Жариков, довольный, веселый, с мокрыми волосами. Было видно: он действительно только что вылез из воды.

— Ух, хорошо! — сказал он. — А вода-то, вода какая! Сто пудов грехов с себя смыл. Ну как, друзья, погуляли, поговорили? Поедем, пожалуй. Надо дотемна хоть до озера добраться.

Переваляли через Илийский мост и вылетели на шоссе — это была дорога от Сары-Озека на Уш-Тобе. Еламан пустил машину на самую последнюю скорость. Так можно нестись только по степи. Белесый ковыль, черные кусты степной полыни, какой-то жесткий кустарник, взлетающие ажурные шары перекати-поля, все это только мелькало в глазах. Ни зимовки, ни аулов, ни надгробных памятников: беспредельная пустая степь. Так они пролетели километров триста. Потом пошли песчаные дюны, и шоссе повернуло к северу.

К вечеру они доехали до большой реки. Здесь дорога раздвоилась.

— Как поедем? — спросил Еламан.

— Я бы предпочел правую ветку,— сказал Даурен.— Если можно, конечно!

— Да можно-то все можно,— с неудовольствием ответил Еламан.— Только по ней ехать тяжелее. А что там смотреть? Та же пустыня.

— А интересно, охота здесь есть? — спросил Жариков.

— Ну, какая охота! — махнул рукой Еламан.— Если целый день пробродишь, может, принесешь барсука или лисицу. Да и то, наверное, не каждый день.

— А зайцы есть?

— Зайцы здесь редкость. Так как же, поедем? До экспедиции осталось километров триста. Придется заночевать.

Поехали все-таки по правой дороге.

— Ну, если ты нас утепишь в песках... — пригрозил Жариков.

— Не бойтесь, не утоплю, не первый раз! — усмехнулся Еламан. — Осенью здесь гоняют гурты из Каражалского колхоза. А вон ниже перевал и озеро. Тут ондатру разводят. Там мы и воды наберем, а то машина совсем задохнулась...

Пролетели еще километров пятьдесят. Из озера набрали воды и помчались дальше. Степь вдруг резко изменилась — стали появляться кусты, заросли, целые небольшие рощицы. Недавно был, видно, дождь, и песок казался рябым от крупных капель. Тишь, безлюдье. Стук мотора, наверно, слышен километров за десять. И вдруг из-за какого-то поворота появилась целая саксаульная роща. Саксаул — странное растение, именно растение, а не дерево, хотя размером оно больше всего напоминает именно дерево. Его толстые стволы мучительно изогнуты, вывернуты; они как будто застыли в болезненной судороге. Ствол, лежащий на земле, больше всего напоминал тело человека, скончавшегося в конвульсиях. Ясно обозначены застывшие бугры мускулов, изогнуты члены, голова откинута так, что ее не видно, и выдается только вздувшееся от мук горло. А цветы на этих безобразных стволах рождаются нежные, белые, мягкие, как клочья ваты. Саксаульник живет своеобразной жизнью. То и дело мелькают сойки, похожие по расцветке на попугаев (их так и зовут — саксаульные сойки), лежит, свернувшись в клубок, толстая пестрая змея, медлительно ползет ящерица. На вершине холма, грозный и спокойный, как дракон, стоял варан — огромная ящерица песочного цвета. Небольшое стадо кииков пробежало и исчезло.

— Эх, ружья нет! — вздохнул Еламан.

— А тут, наверно, и руда есть, — снова закинул удочку Еламан и покосился на Даурена. — Но тот молчал и смотрел на степь.

Теперь Еламан был уверен, что он везет именно Даурена. На перевале старик сбросил темные очки, и Еламан впервые увидел его глаза. Увидел и понял, что это точно — он. Еламан знал, что человека можно прежде всего узнать по глазам. Все в нем переменится, все знакомое исчезнет — глаза останутся прежними.

К вечеру показалось озеро Балташы. Было оно голубое, широкое, все пылающее в лучах заходящего солнца. Если бы не этот блеск, его можно было бы смешать с небом, настолько оно сливалось с ним.

Еще через час они добрались до тростниковых джунглей.

— Ну, товарищи, все! Будем устраиваться на ночь, — решительно сказал Еламан и остановил машину.

— А ужинать? — спросил Жариков, вытаскивая свой чемоданчик.

— Вы как хотите, а я спать пойду! Устал!

Еламан вытащил шинель, постелил ее под машину и не лег, а просто бросился под нее.

— Покурим? — спросил Даурен и вынул трубку.

— Покурим, — ответил Жариков. — Только давайте сначала сходим за сухим тростником и разожжем костер, а то к ночи здесь может даже иней появиться.

Костер разожгли (тростник, если он сухой, горит ровным, белым, высоким пламенем), легли по обе стороны его и медленно, со вкусом закурили. Даурен два раза потянул из трубки и протянул ее Жарикову: «Пробуйте-ка». Тот затаился и закашлялся.

— Что, крепка? — спросил казах, улыбаясь.

— Крепка, проклятая! Да не только в этом дело, — сказал Жариков, отдышавшись. — Я ведь первый раз курю трубку. Мы на фронте больше всего сигарки крутили.

— Хм! — усмехнулся казах. — Если бы у нас всегда были газеты.

— А что, не было? — удивился Жариков.

— Не всегда! Ох, не всегда, — вздохнул Даурен и вдруг начал рассказывать:

— Я ведь в Сибирь, как в сказку, попал. Буквально во сне попал. Мы под городом Старая Русса стояли — он три раза из рук в руки переходил. Знаете, даже река помельчала, столько мы в нее танков навалили. И горят они! В воде — горят! Если б не видел, никогда не поверил бы. Стояли мы насмерть. И выстояли бы, конечно, если бы не самолеты. На третий день их налетело столько, что все небо почернело. Ну и разбомбили они, конечно, все на свете. И последнее, что я помню, — это лежу я в какой-то колдобине и сажу по «мессершмиту» из автомата. А он, подлец, летит на бреющем и косит все из пулемета. Да еще разрыв бомбы помню. Высокий такой желтый огонь. Но это уже как сквозь сон. То ли было, то ли нет. Очнулся я месяца через два, посмотрел вокруг себя — все белое. Кровать белая, товарищи в белых бинтах, сам я с ног до головы в белом — загипсовали, значит. Взглянул в окно, а там белым-бело. Первый снег только что выпал. Мягкий, пуши-



стый, ласковый снежок. Сказывается, лежу я в эвакуационном госпитале. Подобрали меня как мертвого, повезли на кладбище, а по дороге я и зашевелился. Потом, через пару лет, я товарища, который служил в ту пору санитаром в обозе, встретил. «Никто,— говорит,— не полагал, что ты выживешь. Уж не дышал, и сердца не было». А взяли меня, можно сказать, голеньким. Ничего на мне не было. Воздушной волной даже гимнастерку сорвало. А в шей в нагрудном кармане и были все мои документы — партбилет, свидетельство о награждении, воинская книжка — ну все, все. В общем,— голый человек на голой земле. Вот так и доставили меня сначала в Иркутск, а потом во Владивосток, но и там долго было неясно — то ли выживу, то ли нет. Два года боролся я со смертью. Только главврач меня и спасла. Замечательный доктор была! Мягкая, заботливая, как говорится, мастер своего дела! Так вот я через два года встал на ноги. Куда деваться?! Написал домой жене. Письмо возвратилось за смертью адресата. Написал брату — возвратилось из-за выбытия адресата. Что делать! А война-то ведь в разгаре. Забирают все новые и новые возрасты. Везде лозунги: «Больше меди, олова, свинца и цинка!» Ну, подумал я и устроился в геологическую партию. Тогда не больно документами интересовались. Переэкзаменовали наскоро — и все. Ну, вот так я очутился на Дальнем Востоке. Копал, странствовал, разведывал, добывал. От Иркутска дошел до Тихого океана. И тут однажды встретил земляка, и он рассказал, что на меня уже давно пришла похоронная. Потом узнал и другое: говорят — Ерманов попал в плен и стал редактором какой-то газеты военнопленных. И третий слух: прямо из плена попал в лагерь и там умер. Кто-то меня даже видел, как я под конвоем тачку вожу. Что ж, может быть и так: у нас в то время и заключенные работали. Их так и звали «пленяги». Ничего они не умели — приходилось их учить.

— Да, страшное дело — плен,— покачал головой Жариков.

— Ох, какое страшное! И там страшно, а после так еще страшнее. Потом как-то я поглядел за людьми в лагере. А там следовательно при мне кричит на старого полковника, тот стоит перед ним вытянувшись и руки по швам, а этот мозгляк с вздернутым носиком, бесцветный, как вошь, и фамилия-то подходящая — Харкин — орет на него: «Как ты мог попасть живой в руки врагу! — орет. — Почему не застрелился! — орет. — Сто раз лучше умереть человеком.

чем жить рабом! — орег. Значит, этот Харкин человек, а си никто. А тот три войны прошел, в царских острогах сидел, ордена у него, и в партии с 1915 года, а эта вша... Эх, проклятый, — думал, — посмотрел бы я тебя на фронте. Уверен, при первом же налете ружье бы бросил. Ну одно слово — Харкин! И откуда-то он из наших мест! Из Алма-Аты, кажется, — Даурен скрипнул зубами и отвернулся.

— Ох, и горячи же вы, — покачал головой Жариков. — Попортил вам этот Харкин крови! Ладно! Сейчас все это в прошлом. А дальше что? Почему же не возвратились при первой возможности в свой институт?

— Да вот не было этой возможности. Узнал я: Хасена за меня таскали, допрашивали, кажется, это тот самый подлец, Харкин, и допрашивал. Я когда узнал об этом, понял, что буду сейчас не у места. А думал я об Алма-Ате все время. У меня ведь был наполовину написан большой труд о Жаркынском ущелье. Война помешала окончить. Потом слышу — Нурке Ажимов открыл богатейшие в стране Жаркынские месторождения меди. Ну, думаю, значит, теперь я ни к чему. Ну, а к тому же говорят: на одном месте и камень обрастает. Вот и я также оброс: появились друзья, дом, жена — та самая врачиха, которая спасла мне жизнь, а тут еще с работой вышла промашка: то, что я думал закончить в год, потребовало пять лет. А потом и край полюбился. Ведь он замечательный, богатый, в каждой сопке там руда. А однажды вызвали меня в управление, предложили поехать на Колыму, на золотые прииски. Ее там зовут «Золотая Колыма». Подумали, подумали, собрались с женой и поехали. Прожили еще три года в Магадане. Да я, пожалуй, бы там и насовсем остался, но вдруг жена умерла — сердце! Остался я бобылем: ни семьи, ни детей, никого! Тут и напала на меня тоска! И такая тоска, такая тоска, что и сказать не могу, даже спать спокойно не мог, все горы снились. С год еще протерпел, потом чувствую — не вынесу, с ума сойду — собрался, рассчитался и приехал.

— И правильно сделали, — улыбнулся Жариков.

— Да и мне тоже кажется, что правильно, — согласился Даурен. — Приехал и узнал, что не такой уж я полный бобыль — есть где-то у меня здесь дочь. Кунсары, так звали мою жену, скончалась от родов, но ребенка удалось спасти. Так сказал один старый казах. Значит, тогда вы мне правильно сказали о дочке Хасена, только не дочь она ему, а

племянница. Ну вот встречу брата, узнаю все. А пока не хочу тешиться надеждой! А вдруг это не так?

— Но уж сейчас позвольте вас поздравить,— сказал Жариков и протянул руку,— это такое счастье, такое счастье! Вам так повезло, дорогой Даурен Ержанович!

— Да, мне всегда везло,— ответил Даурен. И вдруг очень спокойным и естественным движением протянул генералу трубку.

— Не велик подарок, но прошу принять на память! — И видя, что тот смешался, добавил: — В степи у нас такой обычай — тому, кто первый принес благоую весть, преподносится дорогой подарок. Пожалуй, ничего дороже этой трубки у меня нет. Она вырезана из корня таежной березы. Под этой березой похоронен мой друг. Дважды эта трубка пересекала Тихий океан, ее набивали табаком, стружкой, сеном, морской травой. Когда мой второй друг умирал — он пошел проверять невзорвавшийся запал, и глыбина ударила его по спине, — я сидел над ним и курил. Видите следы зубов? Это мои зубы. Я изгрыз трубку в ту самую ночь. Ведь это я должен был пойти к запалу, а не он. И он тоже сделал из нее две последние затяжки. Вот что я вспоминаю, когда курю эту трубку. У нас подарок за хорошее известие называется суюнши. Не обижайте же меня, Афанасий Семенович, возьмите мое суюнши.

— Спасибо,— ответил генерал растроганно,— возьму и суду помнить. Всю жизнь буду помнить. Хороший вы человек, Дауке!

И обо многом, многом они говорили еще. А Еламан лежал и слушал их. Слушал и вспоминал. О, как он ненавидел этого человека! Как пытался всю жизнь его унижить, клеветать, уличить. И ничего не получилось, а ведь он был начальником Даурена и, несмотря на свою молодость, сидел на очень высоком посту. Он всегда мог запросто вызвать к себе Даурена в кабинет для разговора или нагоняя. Но никогда не делал этого: знал, какой разговор у них может получиться. Ведь если он Даурена ненавидел, то Даурен его попросту презирал — молчаливо и спокойно. Ведь это были суровые предвоенные годы, и тут Еламан показал себя всюю.

Наступило утро 22 июня. Даурен в первый же день подал заявление об отправке его на фронт. Вот только тогда Еламан и вызвал Даурена к себе. Он хорошо приготовился. Приказал в кабинете сервировать стол и принести старого

коньяка. При появлении Даурена встал и пошел ему навстречу. Простились бы вроде и дружески, но...

— Я очень рад,— сказал Еламан, разливая коньяк по рюмкам,— что такой почтенный человек, как вы, подали пример патриотизма. Подвиг увлекает, за вами последуют другие.

— И вы с ними тоже? — усмехнулся Даурен. Еламан развел руками: он хорошо уловил насмешку, но предпочел не показывать вида.

— Была бы на то моя воля! — сказал он, грустно улыбаясь.— Если отпустят, то хоть завтра, хоть сегодня...

— Не отпустят, не отпустят,— успокоил его Даурен,— и поэтому вот к вам покорная просьба: добейтесь брони для Нурке Ажимова. Как вы знаете, мы много лет с ним разрабатываем одну и ту же капитальную тему. Так вот, я ужо воевать, а он пусть продолжает работать над ней. Это жизненно необходимо для фронта. Медь — стратегический металл, а наши работы касаются именно ее.

— Будет сделано,— по-военному ответил Еламан и налил по второй.— Ну, позвольте поднять посошок на дорогу и...

Они чокнулись, Даурен подхватил что-то на вилку, зажевал, пожал начальнику руку и ушел.

Это была их последняя встреча. Даурен воевал на Западе. Изредка до Еламана доносились какие-то фразы и строки из фронтовых писем. Воевал Даурен лихо, и его имя упоминалось в сводках. О нем рассказывали раненые, вернувшиеся домой на излечение. И вдруг прошли слухи совсем иного рода. Даурен не то сдался в плен, не то просто перебежал к немцам. Ох, как эти слухи были на руку Еламану! Он и не скрывал торжества. Ничего не проверив, он вызвал брата своего врага (а он считал Даурена своим кровным врагом, хотя поводов для этого, по-видимому, и не было), кладовщика Управления геологии Хасена Ержанова. Хасен вошел хромая. Вид у него был очень неказистый: на плечах фронтая шинель, на ногах ужасные солдатские кирзовые сапоги. Ведь он почти год пролежал в госпитале и был списан как инвалид второй группы. «Да, на жалованье заведующего складом, если не ворует, пожалуй, лучше и не оденешься,— подумал Еламан,— а он, верно, не ворует, проклятый?! И думает, что раз так, то его и рукой не достанешь! Ну, погоди же!» Еламан и сам не понимал, почему он боится своего юродивого кладовщика. Но он точно боялся его. Боялся почти так же, как и его прославленного

брата, и так же, как с тем, никогда не вступал в разговоры («здравствуй, прощай», — вот и все их разговоры), старался не замечать его и не оставаться с ним наедине. А сейчас он заговорил:

— Ну, так как воюет твой драгоценный братец? — спросил он ядовито. Хасен пожал плечами.

— Не знаю. Уже полгода нет от него писем. Я думаю, уж жив ли?

— Жив ли? — усмехнулся Еламан. — Брось, брось валять дурака. На убитых приходят похоронные, а вот на пленных да на изменников Родины...

Он нарочно не договорил. Хасен стоял перед ним попрежнему спокойный и недостижимый.

— Так значит, не знаешь, где твой братец? — прищурился Еламан. — Ну! Ну! Так с тебя, дорогой, суюнши: в плену твой братец! Вот так!

— Так он жив! — воскликнул Хасен, поняв только одно: Даурен жив!

— А ты что обрадовался? Жив, жив, еще нас переживет, только такой живой — хуже всякого покойника. В плену он! Понимаешь, в плену. Бросил винтовку и сдался.

Хасен покачал головой.

— Если попал в плен, то, значит, не мог уж стрелять, значит, шибко раненый был.

— Хм! Хорошие рассуждения! Так что же, у него винтовки не было, чтоб застрелиться? Ножа, чтоб перерезать себе горло? Советские воины не сдаются: они либо побеждают, либо умирают. Вот так сказал майор Харкин — храбрый человек!

— Так он что, не на фронте с ним встретился? — спросил недоуменно Хасен, он действительно что-то не все понимал.

— Такие люди здесь нужны! Они укрепляют тыл! — прикрикнул Еламан. — Помогают бороться с таким врагом, как твой брат, если он вернется, и с такими приспособленцами, как ты. Ты вот, дорогой. Мы тебя больше держать у нас не станем. Не то мы учреждение! Подавай заявление об уходе, понял?

— Это все Харкин вам велел? — спросил Хасен.

— Что Харкин! Я сам хозяин! Сам все знаю! — взревел Еламан. — А с товарищем Харкиным у тебя еще будет разговорчик! Не бойся! Будет! Получай расчет — и скатертью тебе дорога, понял?!

— Понял! — по-солдатски зычно ответил Хасен. — Все понял! Понял, что и ты, и твой Харкин мизинца моего брата не стоите. Сто раз скажи, что Даурен добровольно сдался в плен — я сто раз тебе плюну в лицо. Тебе и твоему подлецу Харкину! Будь он неладен, — и Хасен, хромая, выскочил за дверь.

— Ну, погоди, погоди! — крикнул ему вслед Еламан. — Придешь ты ко мне за расчетом! О майоре Харкине так отзываются! Ну, погоди, погоди!

За расчетом Хасен не пришел, но доблестный майор Харкин, герой тыла, с этого дня Хасеном заинтересовался всерьез. Как неделя — так повестка. Как день — так вызов. Вот тогда он и решил оставить город и заняться охотой. По пустыням и лесам майор Харкин за ним, верно, гоняться не стал: плюнул! Утер, значит, нос и ему, Еламану, и славному майору Харкину! Правда, уже вышедшему на пенсию и на свободе мирно играющему в преферанс и дурачка, но все равно герою. Да-с, будет ему теперь и дурачок, и покер. Даурен вернулся! От этих мыслей Еламан заворочался и поднял голову. И сейчас же услышал голос Жарикова.

— Спи, спи, еще рано, — и к Даурену: — Так значит, эти степи вы знаете насквозь?!

— Хорошенькое дело! — усмехнулся Даурен. — Не знать своего родного дома. Ведь в этих местах я вырос. Одна у меня мечта была все время: обнаружить тут медь. Тогда край оживет.

— Что медь здесь есть — это уже доказано, — сказал Жариков.

— Промышленное это месторождение или нет — вот что нужно определить! — ответил Ержанов. — А это труд немалый. Нужно в совершенстве обладать современными методами разведки и анализа, чтоб ответить на этот вопрос. Впрочем, на этот счет я спокоен. Ведь здесь работает Нурке Ажимов.

— Так вот мы и дошли до основного пункта нашего разговора, — сказал Жариков и сделал, очевидно, какой-то резкий поворот в сторону Ержанова. — Оставайтесь здесь работать вместе с нами. Ведь Ажимов — ваш ученик! И не ездите больше никуда. Вам необходимо хорошо отдохнуть и посидеть на месте. А главное — вы здесь нам очень нужны. Прямо-таки позарез. Имейте в виду — это не просто разговор, это официальное предложение. Говорю от имени Геологического комитета.

— Спасибо, принимаю, — ответил Даурен, — наверно, это действительно будет умнее всего — поработать с Ажимовым. Однако давайте спать, вон как на небе стоит Большая Медведица... Скоро рассвет...

...Утром их разбудил рев мотора. Еламан возился с машиной. Солнце только что встало. Теперь можно было разглядеть всю окрестность. Озеро Балташы оказалось голубым-голубым. Другой берег едва видно и, если чуть прищуришься, можно подумать, что стоишь на берегу моря.

Утро стояло тихое, безветренное, волны бесшумно катились к берегу, и чуть-чуть покачивались золотые макушки тростника. Сочная речная трава, наполовину залитая водой, росла такой мощной и пышной, что казалась уже не просто травой, а каким-то оранжерейным растением. Само озеро дремало, но воздух вокруг гудел от крика, клекота и взмахов крыльев. Очевидно, бухта, где они остановились на ночь, служила ночевкой птичьим стаям. Сейчас они все пробудились и с криком носились над озером — чайки, лысухи, чирки. Изредка через этот шум прорывался трубный голос лебедя. Два огромных белоснежных красавца не спеша плыли около берега. Они погружали головы в воду и отыскивали какие-то нужные им ростки и корни. А на большом остром камне — целой маленькой скале — застыл пеликан. Цвет его пера был нежно-розовый, как небо в час заката, а сам он казался огромным, пожалуй, с овцу, и клюв у него был загнут, как ятаган. Он наблюдал за птенцами; с десятков их плескалось около берега.

Даурен посмотрел и расхохотался.

— Ну, птица здесь ведет себя прямо как в московском зоопарке. Там есть тоже такой пруд на новой территории. Но в нем всего с десятков метров, а тут целое море! Чем только не богата эта земля! Чего только в ней не отыщешь! А насчет меди... Ну, ничего, ничего, поработаем, отыщем, откроем.

— Товарищи, мотор заправлен, пора ехать, здесь этих чудес без конца и края! Не пересмотришь! — крикнул Еламан.

И они поехали. Теперь они держали путь уже на восток, в самую Саятскую степь, на место работы экспедиции.

Любимым местом у Дамели в Саяте была вершина сопки Акшоки. Сопка эта находилась у самого поселка, и

нынешним летом у ее подножья пробурили глубокую скважину. С вершины сопки открывался чудесный вид на окрестности, и Дамели могла часами смотреть на рабочих, копающихся вокруг скважины, на дощатые крыши бараков, на вышки, похожие на ветряные мельницы без крыльев,— и дальше — на пустую серую степь. Приходила сюда Дамели утром, а уходила уже вечером. Сидит читает, и никто ее здесь не видит, и никого ей не нужно. И сейчас в руках ее книга, но глаза только скользят по строчкам. Она думает о другом.

...В тот злосчастный день, вспоминает она, Хасен увел ее далеко за околицу. Там он сам опустился на большую глубину и ее усадил рядом.

— Дорогая моя,— сказал он, обнимая ее за плечи,— этот день должен быть счастливейшим в моей жизни, но... впрочем, решай сама. Сегодня,— сказал я сам себе,— Дамели Ержанова становится Дамели Ажимовой... Пусть так, но пока она еще Ержанова, ей нужно узнать все... Вот я и решил...— Старик вынул из кармана трубку, неторопливо набил ее (желтый палец дрожал) и продолжал:

— Да, я и решил. Давно надо было это сделать, да все язык не поворачивался. Все медлил, мямлил, раздумывал...

— О чем, отец? — со страхом спросила девушка.

— Сейчас скажу,— вздохнул Хасен, опустил голову, просидел так с целую минуту,— не отец я тебе, Дамели, совсем не отец.— Девушка приглушенно вскрикнула, и лицо ее сразу стало мокрым от слез.— Стой, не перебивай, не отец я тебе, а дядя. Твоя мать скончалась от родов, а отца в ту минуту около нее не было, он добровольно ушел на фронт с первого же дня войны, и с тех пор про него никто ничего не слышал. Ну, об этом после. Да, вот так, об отце твоём ни слуху, ни духу. Пропал. А тут и мне пришла повестка: явиться в военкомат.

— Так Даурен Ержанов ваш родной брат? — воскликнула девушка.

— Брат, брат! Брат, милая. Твой отец — мой брат, учитель этого прохвоста, отца твоего нареченного. Но об этом тоже после. Ты слушай и не перебивай, мне и так нелегко говорить. Ведь меня тут прозвали сумасшедшим. «Сумасшедший хазрет Хасен»,— так говорит Ажимов, что греха таить — есть у него для этого повод: я ведь вернулся с



ранением черепа. Ах, да что это я все не про то! Так вот, пришла мне повестка явиться с вещами. Ну, куда тебя девать? На счастье, полюбилась ты одной женщине. Соседка она была твоей матери по палате. Койки их рядом стояли. Ребенок-то у нее родился мертвый, вот она и тосковала: в общем, взяла она тебя из роддома к себе. Я это за великое счастье почел. Посмотрел я на тебя последний раз, поддержал в руках, поцеловал и ушел на призывной. А оттуда сразу на фронт. Два года на передовой пробыл, а на третий — слепое ранение в голову, и полгода пролежал в госпитале. Признали неспособным к несению службы и отправили домой! Прихожу — в руке костыль, на голове повязка. Устроили работать кладовщиком в Геологострое, место не прибыльное, но тихое, чистое, спокойное. Стал приходить в себя, и вдруг вызывает меня начальник и начинает гонять. Твой брат, говорит, добровольно перешел к немцам, и нет ему теперь места на советской земле. А ты уходи, уходи, мы брата изменника держать не можем. У нас работают только надежные люди. А почему я ненадежный? Я надежный, и брат мой надежный, и ни черта он сам в плен не сдался, может, только захватили раненого... А этот на меня тигром. Послал я его потихоньку в одно хорошее место, хлопнул дверью и ушел. И начались тут мои беды. Затаскал меня один проклятый майор. Харкин — его фамилия. Такой мозгляк, давни — брызнет, словно вошь... Говорить грамотно не умеет. А тоже кричит, орет, подлец, за родину умирать собирается! Это за письменным столом-то! Меня выводит в самострелы. «И ты, и брат твой одного поля ягода!» — орет. Ну что делать? А ведь ты значишься, как дочка изменника... Пошел я к этой женщине, рассказал ей все, и перевели мы тебя на мое имя. А сам я в горы, в степи, в леса подался. Сама знаешь, какой я охотник и сколько немцев у меня на счету. Первым снайпером в полку считался. Шесть наград за два года имел — вот только это и удержало обоих подлецов, чтоб разделаться со мной уж по-настоящему. Ну, а тут война стала к концу идти, времена полегчали. Ни тому, ни другому до меня уж не добраться.

Я этой женщине и муку, и сахар, и жиры, а иногда и шоколад таскал. Нас тогда очень хорошо за пушнину отоваривали, и жила ты, девочка, без забот. В садик тебя отдали. И тут вдруг, как гром на голову, — письмо от Дурена. Я его давно похоронил, а он, оказывается, жив. Пишет из Сибири. Пишет, что никогда в плену не был, а про-

Это относилось уже к Жарикову. Генерал слегка улыбнулся и протянул бумагу. Он держал ее наготове.

— А, Афанасий Семенович,— лицо Ажимова сразу прояснело (до того оно было хмурое и деловое: большой человек давал интервью, и ему помешали). Рад, рад видеть. Прошу проходить и садиться. Ну, а с вами, молодой человек...— обратился он к корреспонденту, но того уже не было в кабинете: Еламан выпроводил.— Поздравляю вас с благополучным приездом в наши Палестины,— Ажимов любил щеголять исконно русскими словечками.— Я как раз вчера получил телеграмму о вашем назначении, а сегодня вы сами здесь. Хвалю! Вот что значит военный навык. Вы ведь сапер, кажется?

— Нет, пограничник.

— Ах, вот как! Да, специальность, что и говорить, немного далекая от нашей, но, я думаю, что мы сработаемся. Нужны только добрая воля и взаимопонимание.

— Ну и знания у меня кое-какие есть. Надо только многое возобновить,— сказал Жариков,— двадцать пять лет тому назад я окончил геологоразведочный институт. А в общем, сработаемся, конечно. Моя работа, ваш опыт,— мне сказали, что вы принимаете эту формулу.

Ажимов улыбался все ласковее и ласковее.

— Совершенно верно,— сказал он мягко.— Очень даже принимаю, но только для своих подчиненных, а не для своего начальства. Мой начальник,— а сейчас вы именно мой начальник!— должен знать больше меня. Так повелось с тех времен, когда я впервые выехал в степь вот с этим человеком,— и он показал на портрет.

Жариков мельком взглянул на портрет и кивнул головой.

— Курить разрешается?

— Вам — пожалуйста!

Генерал еще раз взглянул на портрет, почему-то покачал головой, вздохнул и стал уминать табак в трубке.

В лице Нурке вдруг что-то дрогнуло.

— Вот я вижу у вас трубку. Вы что, служили где-то далеко, вроде не нашенская трубка...

— Нет,— ответил Жариков,— я служил последнее время на афганской границе. Это просто подарок. Один мой сослуживец подарил. То есть, теперь наш общий сослуживец. Я вам немного погоды его представляю. Он...

Вот в это время в кабинет и вошел Даурен с портфельчиком в руках. В черных очках. В запыленной одежде.

С легким пыльником через руку. Нурке вдруг приподнялся из-за стола, и лицо его вспыхнуло. Он раздраженно нажал звонок. Появилась секретарша.

— Слушайте, Нина Иванова,— сказал Ажимов раздраженно,— я ведь просил вас: когда я говорю с кем-нибудь наедине, никого ко мне не пускать.

— Ты не узнал меня, Нурке?— тихо спросил посетитель.

— Что?— в ужасе вскрикнул Ажимов и вдруг побледнел почти до зелени.

— Смотри, смотри,— сказал тихо посетитель,— смотри, сравнивай!— И он с грустной улыбкой кивнул на портрет.

— Даурен, Даурен!— вдруг отчаянно, совершенно помолодому крикнул Нурке и бросился к старику. Обнял его, сжал, затрясся и заплакал. По-мужски заплакал, бурно, горячо, облегченно. Так они стояли и держали друг друга в объятиях, плакали, задавали друг другу какие-то незначащие вопросы.

— Да как же! Да где же вы были до сих пор, да почему не написали?— спрашивал Нурке и плакал.

А в кабинет уже набились сотрудники экспедиции. Два пожилых рабочих бросились к Даурену тоже со слезами и причитаниями:

— Ой, братец ты мой,— кричал один,— да до чего же ты похудел и постарел. Да где же твои черные волосы? А и зубы у тебя все серебряные. А Жаркын-то, Жаркын, помнишь? Сколько же мы с тобой троп прошли, сколько ущелий облазили!

И тут Даурен увидел девушку. Она стояла прислонившись к косяку и дико смотрела на него. Лицо у нее было бледное-бледное, а глаза огромные-преогромные, такие огромные, что ничего, кроме них, кажется, и не осталось на этом лице. Вся жизнь сосредоточилась в них. «Ты? Ты? Ты?» — спрашивали эти глаза, и Даурен повернулся к ней и сказал громко и спокойно:

— Дочка, а ты ведь вылитая мать. И лет вы сейчас одних. Такой я ее увидел в первый раз.

— Отец,— сказала тихо Дамели и пошла навстречу.

Даурен схватил ее за плечи, прижал к себе и заплакал сладко, по-отцовски, с болью и радостью. И все глядели на них и вытирали слезы. Даже хмурый Нурке, даже генерал Жариков. И только один человек стоял возле стены и

смотрел на все, что происходит, спокойно и сосредоточенно, с чисто деловым интересом.

— Ну, не знаю, не знаю, что из всего этого выйдет,— пробормотал Еламан, выходя из конторы, а дальше шел молча и думал: «А Нурке — артист. И книгу не зря, значит, он посвятил Даурсну. Уже пронюхал, волк, что учитель жив и вот-вот свалится ему на голову! Ах, хитрецы! Ах, лицемеры! А Еламан все нехорош! Да ты Еламану сто очков еще дашь вперед. Перед тобой и майор Харкин — дурак и простофиля! Всех обвел, всех обыграл, а сейчас небось струсил. Не выдержали нервы! Заплакал!»

...А с утра Жариков уже ходил по поселку. Одежда на нем еще была военного покроя. Костюм надо было отгладить, но он уже твердо решил, что с завтрашнего дня будет носить только штатское. «Раз и навсегда — хватит! Отвоевался! Какой я, верно, генерал?!»

Он подошел к химической лаборатории. Это был небольшой домик, белый, аккуратный, похожий на украинскую мазанку. Таких много около Воронежа. Перед домиком громоздились ящики с образцами, и рабочие — все молодые парни — перетаскивали их в лабораторию. Было шумно и весело. Дело в том, что в лаборатории за столами, уставленными химическим стеклом, сидели четыре девушки, и о них, верно, и шел сейчас развеселый разговор. Увидев генерала, ребята замолкли, а один вытянулся и выкрикнул по-военному.

— Здравия желаю, товарищ генерал!

— Здравствуйте, здравствуйте, друзья.— Генерал подошел к ребятам, поздоровался со всеми за руку и представился:— Афанасий Семенович Жариков.

И тут вечный балагур Семенюк — парень лет двадцати пяти — тракторист, заводила, с прической ежиком, поднес руку к голове и воскликнул:

— С благополучным приездом, товарищ генерал! У нас тут все были: и профессора, и академики, и писатели, и художники — только вот генерала не хватало.

— Генерал в отставке, не генерал, дорогой, а полный шпак! — улыбнулся Жариков. — Опустит, опустит руку. Руку к пустой голове не прикладывают, нужна хоть беретка.

Все засмеялись.

— Нам все одно, что в отставке, что не в отставке, — сказал Семенюк. — Главное, что форма. Вот женюсь я осе-

нею на одной красючке,— и он подмигнул в сторону лаборатории,— и приглашу вас. И будет у нас свадьба с генералом! Как у Чехова! Да с такой свадьбой за меня любая пойдет!

— Э, брат,— засмеялся Жариков.— Уж больно ты образованный. Чехова и я читал. Значит, вы пить, а я вам устав пограничной службы читать буду! Нет, не на того напали, ребята. Что это ты вертишь в руках?

— А болванит,— спокойно ответил Семенюк,— мы из него медь гоним.

— Сам ты болванит, хороший,— опять засмеялся Жариков.— Нет, я хоть генерал и пограничник, но до того четыре года в геологоразведочном отрубил. На круглые пятерки учился. Так что, как сказал Гамлет, коростеля от цапли отличить могу. А кто такой Гамлет, ты знаешь? Как же так, а небось семилетку кончил? Не годится, друг! Раз других разыгрываешь, сам должен быть на высоте. Ну-ка, возьми свой болванит. Его и в лабораторию таскать нечего. Вот кто его сюда притащил — тот, действительно, как ты говоришь, болванит. И теперь вот что, ребята...— Он обернулся и увидел, что рядом стоит Ажимов и внимательно слушает.

— Передо мной здесь сейчас каждый из вас генерал!— сказал он.— Я ведь двадцать пять лет то в песках, то в степях, то в лесах, то во льдах, в общем — на границе пробыл. И кто хочет добра в работе — пусть мне помогает. Я любой совет приму, выслушаю и поблагодарю. А смеяться мы потом все вместе будем. Вот так, ребята! И тут мне, конечно, особенно нужны вы, товарищ Ажимов. Прямо-таки жизненно необходимы мне ваши советы и указания. Как говорят: побей, но выучи.

Так произошло первое знакомство Жарикова с людьми экспедиции.

А Даурен целые дни пропадал с Дамели на сопках. Отец и дочь сразу подружились. Дамели рассказала отцу про свою жизнь, сначала у тети Насти, потом в интернате, наконец у дяди Хасена и в общежитии университета. Не утаила она и ни о своем чувстве к Бекайдару, ни о случае на свадьбе. Отец выслушал ее и сказал:

— Голубка! Правда это или не правда, что тебе сказал дядя Хасен, но дети за отцов не ответчики. Это ты запомни твердо. Каждый отвечает только за себя. И счастье каждый зарабатывает тоже только сам себе! Что ты качаешь головой? Ты не согласна?

— Нет, папа, не согласна. Если сын знает, что отец его — преступник или просто очень нехороший человек, не будет и он счастлив.

— А если отец осознал свою вину и страдает?

Дамели подумала.

— Да ведь страдать мало,— сказала она наконец.— Надо еще сделать выводы. А для этого прежде всего нужно покаяться хотя бы перед тем же сыном. А если отец молчит? Какая же тогда польза от его страданий?

— Ну хорошо, отец покается, так что от этого изменится? Сын, положим, узнает все? Как же он должен вести себя дальше?— спросил Даурен.

— А вот это уже дело совести сына. Он должен что-то решить. От этого его решения и будет зависеть его будущее.

— Хорошо. А если все это действительно выдумки больного Хасена, и Нурке ни в чем не виноват? Тогда что?

Дамели нахмурилась.

— Папа, папа, ну зачем хитрить и все путать?— сказала она.— И зачем ты меня обязательно хочешь выставить виноватой? Ведь это значит, что я просто так, по глупости, по капризу осрамила любимого человека в самый лучший день его жизни. Ведь я всю жизнь не найду себе покоя, если это только так. Ой, не мучайте меня так, пожалуйста. Мне без того тяжело.

И она заплакала.

Даурен долгую минуту просидел неподвижно, потом положил ей руку на голову.

— Ну ладно!— сказал.— Прости! Виноват! Ты права! Говорить так, значит действительно перекладывать вину на твои плечи. Но вот что я тебе скажу твердо: каждый отвечает только за себя — это верно. Но если с ним связан другой, более слабый человек, или, положим, он его воспитатель, то ошибки ученика — и его ошибки. Я не сумел воспитать отца твоего жениха, и он сделал... Ну, скажем так: он просто поступил непорядочно. За эти его поступки отвечаю и я. Так что пойми, прости и сама проси прощения у своего жениха. Иначе ни ты, ни я, ни он, ни его отец не будем счастливы. Да и дядя твой, Хасен, тоже. Он ведь любит тебя не меньше, чем я. Так что не играй жизнью пяти человек. И еще послушай одно: вот я вернулся после двадцатилетнего отсутствия. Хожу, гляжу, думаю, и мне кажется, что все, что было: война, госпиталь, смерть одной жены, смерть дру-

гой, мои скитания,— это просто страшный сон, а настоящая жизнь моя так ни на минуту и не прерывалась. Что ж мне думать о прошлом? С кем-то там считаться обидами, кого-то там обличать — зачем мне все это? Я работать хочу! Работать! Так уплотнить свое время, чтоб больше ни одна минута не пропадала даром! Чтоб у меня все в руках огнем горело, а вы меня суете в прошлое, заставляете копаться в прошлых обидах! Ну к чему это? Кому это нужно? Мне? Тебе? Твоему жениху? Нет, нет, помиритесь, живите счастливо — вот все, что требуется! Обещаешь мне это?

Дочь встала и крепко поцеловала отца сначала в лоб, а потом в обе щеки.

— Хорошо, папа, обещаю. Только не сейчас, дай мне прийти в себя, освоиться с этой мыслью. Это тоже нелегко!

— Ну вот и отлично,— сказал Даурен, невесело улыбаясь.— Вот и сговорились,— и сам подумал: «Ты-то старый, конечно, хочешь забыть прошлое, но ведь не от тебя это все зависит, захотят ли этого они — Еламан и Нурке».

Наутро Ержанов появился в кабинете директора. И новый хозяин кабинета — Жариков, и прошлый хозяин — Нурке уже ждали его. После обмена несколькими, ничего не значащими фразами Нурке сразу приступил к делу:

— Ну, что ж, Дауке,— сказал он,— давайте брать сразу быка за рога. Принимайте любую партию и работайте. Могу даже и этот кабинет уступить, хотя он уже и не мой.

Даурен засмеялся.

— Э, брат, какой ты приткий. Мне с отвычки братья за такую работу? Нет, я простой геолог-поисковик, и ты дай мне рядовую работу и то на первых порах не слишком сложную.

— Значит, хотите сначала поработать в партии? Что ж, любая к вашим услугам, Афанасий Семенович уже написал приказ о назначении вас начальником отряда экспедиции.

— Я хочу быть поближе к Дамели,— сказал Даурен.— А то уж больно далеко мне к ней ездить.

— Это Второй Саят. Ну что ж! Там сейчас Айдаров. Переведем его, к тому же он сам давно просится оттуда. Говорит, работы нет.

— Как это работы нет? — удивился Даурен.

— Да вот так! Бурим, бурим — и без толку! В этом году, очевидно, уже кончим бурить. Так что не будет ли вам там скучно? Не по вашему характеру этот участок!

— Посмотрим. Я знаю, человек тугой, пока своими глазами не убежусь — ничему не поверю. Как это так — нет руды? Не может быть!

К вечеру того же дня Даурен был во Втором Саяте. Квартиру ему сняли у бурового мастера Абилхайра. Тот встретил старого геолога с распростертыми объятиями. Имя Ержанова было большим именем в тех кругах, где работал этот старый бурильщик. Даурену он отвел отдельную комнату, поставил в нее новую металлическую кровать (она предназначалась для гостей). Ковров в доме не нашлось, так пол застелили кошмой. Хозяйка сразу же выгребла из чемодана гостя все его белье и унесла стирать. Возвратила чистым, выглаженным, аккуратно сложенным в стерильно чистую стопку. Так его и положила в спальную тумбочку. Белье пахло свежими огурцами и земляничным мылом. Через несколько дней квартирант уже садился за стол как полноправный член семьи. Никогда, даже живя со второй своей женой, Даурен не чувствовал себя так свободно и спокойно, как в этой рабочей семье. А ведь именно Саят был его отчизной. Именно отсюда сорок лет тому назад, — в тяжелый холерный год, когда вымер почти весь аул, — оставив дом, он пешком добрался до Семипалатинска. Кто-то посоветовал ему обратиться в горно, там о мальчишке позаботились, выдали одежду, определили на работу, устроили учиться. С тех пор он не видел родины, но думал о ней часто. Вернее, даже так: никогда не забывал ее. Он понимал: здесь должна быть медь — огромные ее залежи. В прежние годы он не раз говорил об этом Нурке, но ведь предположить — одно, а доказать — совсем другое, а Даурен понимал, что никаких прямых доказательств у него в руках нет. И сейчас он их искал, искал жадно, дотошно, не жалея ни времени, ни сил. И все-таки ничего найти не мог. Ни одна канава, ни один шурф, ни одна скважина, образец или проба не давали какого-нибудь намека на залежи ценного металла. Огромное пространство — сорок тысяч квадратных километров — казалось безнадежно пустым. Даурен никак не мог понять, в чем гут дело. И трудность состояла совсем не в геологическом истолковании района. Нет, тут как раз все было ясно. Основу составляли осадочно-вулканические породы. Ценная руда вмещалась в них пластами, жилами или гнездами. Но в том-то и дело, что было ее очень мало.

Промышленного интереса район не представлял. Это было видно из материалов бурения. Скважина, правда, бу-



рилась неглубокая — метров восемьдесят-сто, но продолжи ее на столько же — ничего нового это не даст. Так говорил Ажимов. В противоположность ему старый геолог верил, что медь здесь есть и ее даже много. Верил интуитивно, потому что никаких иных оснований у него не было. Не произошло ли здесь какого-либо изменения тектонического характера, или, может, этот гигантский сброс скинул медь в сторону вниз, и она находится рядом, и ее только надо нащупать?! Тогда расположение верхних слоев ничего не доказывает, надо бурить глубже. Конечно, все это было фантазией старого геолога — Саят лежал перед ним, словно шкура огромного зверя с ободранными краями. Ключья шкуры — это то, что уже разведано. Меди здесь нет. Следы ее, очень обильные на севере и востоке, вдруг к югу исчезают неизвестно куда. Слово действительно через землю проваливаются. А запад вообще пуст. Вот и получается то, что говорит Нурке: промышленной меди во Втором Саяте нет вообще. Даурен был уверен, что это не так, но понимал также и то, что на одной интуиции далеко не уедешь и, тем более, ничего не докажешь. Правда, были у него факты, вернее, фактики, но фактики мелкие и необязательные: скорее намекающие на что-то, чем говорящие о чем-то. Значит, надо просто идти и искать. И вот с рюкзаком за плечами Даурен отправился путешествовать. Рядом с ним шагала преданный ему, как собачонка, рыжий Мейрам, сын хозяина, ученик седьмого класса. И тот тоже шел не порожняком, — за спиной у него висел рюкзак, а в руке он нес настоящий геологический молоточек. И была на нем еще отцовская войлочная шляпа и кирзовые сапоги. Кроме того, он достал где-то светозащитные очки, и в них действительно походил на настоящего геолога. Старик и мальчик очень привязались друг к другу и могли часами болтать на самые разные темы. Но особенно Мейрама увлекали рассказы старого геолога об ископаемых чудовищах. Как у него округлялись глаза, пресекалось дыхание, когда Даурен рассказывал ему про огромного зубастого дракона с хвостом, ненгуру с маленькими детскими ручками и шеей страуса. Пройди такой дракон по нашим улицам, он остановил бы движение и легко мог заглянуть в окно пятиэтажного дома. И о другом драконе — летающем гаде — рассказывал он, с треугольной гребенчатой головой, с черными перепончатыми крыльями, рассказывал про схватку саблезубого тигра Махайрода со слоном, у которого из пасти торчали не два, а целых шесть бивней.

Даурен отлично рисовал: у него в чемодане хранился набор немецких анилиновых красок, и скоро на столшке Мейрама собралось несколько тетрадок для рисования, сплошь заполненных акварелями. Кого здесь только не было! Злые плезиозавры, похожие на гигантских лебедей, сцеплялись друг с другом в смертной схватке. Над ними горела луна, а первобытный океан был безбрежен и таинственно тих. Черный стегозавр, похожий на ожившую кремлевскую стену, тяжело шел по болоту, и голова у него была маленькая, приплюснутая, змеиная, а глазки сверкали лютым зеленым огнем. Были тут еще снежный человек Лоо, нахесское таинственное чудовище и другие неведомые звери. За этими рассказами и альбомами Мейрам мог проводить сутки. Именно он первым и принес Даурену весть о том, что Нурке выехал в тропическую Африку — страну мечты Мейрама — для изучения медных копей, по геологическому строению очень напоминающих Верхний Саят. Вместо себя главным геологом он оставил Даурена. Приказ был подписан Жариковым. Таким образом старика просто поставили перед фактом. Через несколько дней после этого — в соответствии с приказом — Даурен переехал в Первый Саят. С собой он прихватил и Мейрама. Это был уже самый конец июня.

## 6

Бекайдар приехал в Алма-Ату ровно в полдень, а уже часа в четыре он стучался в садовую калитку где-то в районе Медео. Сад этот был окружен таким высоким забором, что из-за него были видны только вершины плодовых деревьев: яблоневых, урючных и вишневых, да красная крыша дома. «Хороший сад, — подумал Бекайдар, — так вот где ты выросла, Дамели!» Он постучал еще раз, посильнее, и тут послышался лай, бряцание цепи, визг проволоки, затем чей-то сердитый голос.

— Ансаган, Ансаган<sup>1</sup>. А ну смирно, на место! И наконец осторожные, словно крадущиеся шаги. «Он, — подумал Бекайдар, хотя никогда не слышал этого голоса, — сумасшедший Хасен. И собака здесь сумасшедшая. И имя у нее тоже сумасшедшее. Ну, держись, Бекайдар, сейчас начнется!»

Калитка резко распахнулась. Высокий, худой сердитый старик стоял перед Бекайдаром. Но на сумасшедшего он

---

<sup>1</sup> Ансаган — тоскующий.

отнюдь не походил. Аккуратно подстриженная желтая бородка, расчесанный пробор, подбритые усы, и одет очень прилично, хотя и совсем по-домашнему. Почти новый шелковый халат с отложным воротом, чистейшая голубоватая сорочка, на ногах красные мягкие туфли с какими-то полумесяцами, на голове черная бархатная тюрбетейка. Только вот глаза красные и бегают, да рот чуть скошен в сторону.

Так они стояли друг перед другом и молчали.

Первым прервал молчание хозяин.

— Ну, долго будем так стоять? — спросил он. — Ты что, шкурки принес (в руках Бекайдара был небольшой портфель).

— Шкурки? Нет, шкурки я не принес... — сказал Бекайдар, с трудом преодолевая свое волнение — я так... я поговорить пришел.

— Поговорить?! — старик недоуменно поглядел на него. — Да кто ты такой? Что ж я тебя не знаю? Ты что, мулла или следователь? Эти все любят говорить с незнакомыми.

— Нет, я не мулла, — Бекайдар был так растерян, что до него не доходили ни насмешка старика, ни комизм своего положения — пришел неведомо зачем, неведомо к кому — я из Саята («А-а, — сказал хозяин, — а-а!»). Я, знаете, сын Ажимова... Бекайдар. Я поговорить...

— А-а, — повторил старик, внимательно изучая его. — А-а!

Почти с целую минуту они молчали.

— «Я Бекайдар», — вдруг передразнил старик. — Бекайдар! Здорово звучит! Я! Бек! Айдар! — Он засмеялся. — Ах вы... Недаром говорят: самого плохого щенка хозяин называет Борибасар<sup>1</sup>. Ну, говори, Бек! Айдар! — он с особым шиком произнес эти слова. — Что тебе от меня нужно? Ведь у меня, кроме ядовитых змей, ничего нет. — И вдруг на иконописном лице старика проступило что-то совершенно иное. — Да! Ведь ты из Саята приехал! — воскликнул он. — Ну, как там моя Дамели, жива, здорова, а?

Бекайдар поглядел на старика и чуть не вскрикнул от удивления, до такой степени он переменялся. С его лица исчезло все колючее, насмешливое, глумливое. Теперь оно было ясным и простым — глаза улыбались, и сам он весь сиял, как будто в этом имени «Дамели» таилось что-то действительно разрешающее. Кажется, ответь ему сейчас

<sup>1</sup> Борибасар — задиряющий волчонок

Бекайдар: «Не видел я вашей Дамели»,— и старик расплачется, как ребенок.

«Да, перед такой любовью Дамели устоять было трудно»,— подумал Бекайдар.

— Я вашу дочку видел за день до отъезда,— сказал он,— шла с подругами по улице и узнала, что я еду в Алма-Ату, велела вам кланяться. «Ну что я несу такое,— в ужасе подумал он,— ведь вот я сейчас буду говорить о том, что со свадьбы я с ней не встречаюсь и не разговариваю».

— Маша, Маша,— вдруг закричал старик, поворачиваясь к дому.— Ты слышала, что рассказывает жигит? Он только вчера видел нашу Дамели. Говорит, идет веселая, здоровая, смеется. Нам привет передала.

«Маша! Что еще за Маша...?» — только и успел подумать Бекайдар, как из дома появилась сама Маша. Первое, что пришло в голову Бекайдару, когда он ее увидел: «Вот кустодиевская купчиха». Маша и в самом деле походила на женщину Кустодиева — красивая, полная, круглолицая, голубоглазая женщина, лет сорока пяти. Как и все такие женщины, была она крупна, ширококостна, полна, но и это шло к ней, а легкий пестрый сарафан очень выгодно подчеркивал ее высокую грудь и тугую талию. Ноги были, пожалуй, чуть великоваты, но и это не портило ее.

— Здравствуйте,— сказала женщина подходя и протянула Бекайдару руку с тяжелым золотым браслетом.— Если бы вы знали, какую радость принесли нам сейчас. Ведь он меня замучил! Через каждые три слова: «Дамели, Дамели, а что сейчас с Дамели?» Как она уехала учительствовать, так он и сон потерял. Вот, посмотрите на него: в чем только душа держится? Так, значит, все в порядке? Ну, слава богу! А что ты, Хасенюшка, остановил человека среди двора? Разве это казахский обычай? Веди его в комнату.

— Да, да, прошу, прошу,— как будто вспомнив что-то, заторопился и забеспокоился Хасен,— идем, идем. Маша, ты знаешь, нынешняя молодежь какая? Так вот надо бы на этот случай...

— Ладно! Знаю,— отрезала женщина,— проходите.

Хасен двинулся к дому, Бекайдар за ним, и тут вдруг Хасен опять остановился и спросил подозрительно:

— Эй, а ты не женился на ней случайно?

«Вот проклятуший! И что он против меня имеет?» — подумал Бекайдар и покачал головой.

— Нет, нет, как она ушла с вами, так я ее и не видел.

— А! — кивнул головой старик. — Ну, идем, идем! — и последние потки неприязни исчезли в его голосе.

Они повернули на узкую песчаную тропинку, и тут вдруг Бекайдар чуть не вскрикнул. Часть сада была обтянута мелкоючейстой решеткой и за ней по кустам летали птицы! Каких только здесь не было: черные дрозды, розовые скворцы, золотистые щурки, голубые сизоворонки, какие-то небольшие серые птички — соловьи, наверно, саксаульные сойки, которых так редко можно увидеть на воле. Большой пестрый удод сидел неподвижно на бугорке и, откинув голову с пестрым хохлом, неподвижно, как будто насмешливо, смотрел на них. В другой вольере по камням бегали горные куропатки и кеклики. Затем была еще высокая квадратная клетка, и в ней на камнях, на стволе дерева, просто на подставках неподвижно сидели или чистили перья хищники: беркут, орел, могильник, красный ястреб. Они, кажется, так привыкли к неволе, что отпусти их — они не полетят.

— Вот тот у меня десять лет живет, — сказал Хасен мимоходом, показывая на беркута, — птенцом его из гнезда вынул, а теперь вот какой красавец!

Прошли еще немного и завернули за сарай. Здесь тоже была клетка, и в ней сновала горная лисица и лежал на песке серый корсак.

— Недавно поймал, — сказал Хасен, — для Москвы.

В другой клетке около крошечного бетонного водоема спала выдра.

— Совсем ручная, — сказал Хасен, — беру с собой купаться в пруд. Вот плавает, плавает, а наплавается — залезет мне в шапку. Я шапку нарочно на берегу оставляю. Ждет, когда я выйду и возьму ее на руки.

Козленок белой антилопы подошел к старику и стал настойчиво тыкаться носом в его руки.

— Захватил, захватил! — сказал ему деловито Хасен и вынул из кармана кусок сахара. — Поведение у тебя не то! Да уж ладно.

Небольшой козленок архара стал поодаль и смотрел на них.

— Вот никак не могу их помирить. Бьет этот рогатый маленького, ревнует, дурак. Иди, иди! Ты сегодня ничего не получишь. Вон там соль. Лижи!

Но архар постоял немного, посмотрел, подумал и решительно подошел к тете Маше и лизнул ее руку. Та стала гладить его и что-то сунула ему в мордочку.

— Вот всегда находит заступницу, — искренне огорчился старик. — Маша, ты же мне портишь Тилектеса<sup>1</sup>: он не чувствует, что я на него сержусь.

— Ладно, ладно, — примирительно сказала тетя Маша. — Твоя любимая Умит<sup>2</sup> тоже хороша. Я ее сегодня два раза с грядок гнала.

«Да тут целая республика, — подумал Бекайдар. — И имена какие! Надежда, Единомышленник, Тоскующий — прямо как у доктора Айболита на приеме».

И в это время раздался тихий, но такой пронзительный и страшный свист, что Бекайдар похолодел. Он обернулся и увидел длинный, как огромный пенал, сетчатый ящик. Он был полон змей. Были в нем змеи черные, были змеи пестрые, были змеи цвета сухого песка — все это шипело, ползало, сплеталось, карабкалось вверх по проволоке. И такая непонятная притягательная сила была у этих гадов, что Бекайдар невольно остановился перед ящиком.

— Здесь еще не самые большие, — сказала мимоходом сзади Маша, — самые большие там, в доме. Три кобры и две гюрзы. Эти уж для заграницы.

Голос женщины был ясный, ласковый, но Бекайдар почти со страхом поглядел на нее. «Что? Тоже сумасшедшая?» — подумал он. — «Нет, как будто не похожа, но разве их различить, Хасен-то, ясно, не в себе, а какая нормальная женщина выйдет за тронутого?» И вдруг сразу без всяких переходов — это часто у него бывало, ему стало стыдно. «Нет, это я сошел с ума, — подумал он в горькой и твердой уверенности. — Только я, и больше никто. А они просто хорошие, добрые люди: Дамели, ее отец, эта тетя Маша (он ее как-то сразу окрестил для себя тетей), а вот я верно какой-то не такой. У всех ищут недостатки. Вот поэтому и Дамели...»

И тут тетя Маша вдруг заговорила с ним.

— Что? Удивляешься, дорогой? — спросила она, сразу переходя на ты, и Бекайдар с благодарностью посмотрел на нее. — Целый ноев ковчег, правда? Это все заготовлено для московского зооцентра. Я каждый год приезжаю сюда месяца на два. И никто не знает, где я. Пропала Мария Ивановна Бойкова — и все, в песках утонула. А я тут из кандидата наук становлюсь просто Машей или еще тетей Машей, так называет меня Дамели. Ведь она мне как доч-

---

<sup>1</sup> Тилектес — единомышленник.

<sup>2</sup> Умит — надежда.

ка. Ты никогда от нее, наверно, и не слышал обо мне? Ну, правильно! Это секрет, и знали его до сих пор только трое, не считая соседей, ну им ни до чего дела нет, а теперь ты вот четвертый, кто знает, правда, Хасен?

Хасен стоял рядом. Он молчал и смотрел на Машу, и необычайную теплоту излучали его светлые тихие глаза. «А ведь он чем-то похож на Дамели,— вдруг остро подумал Бекайдар,— и в молодости он, наверно, был хорош. Да он и сейчас, впрочем, хорош».

— Он храбрый у меня,— вдруг сказала женщина и каким-то неуловимо быстрым движением чуть погладила старика по плечу.— Всех этих гадов он просто руками берет, как червяков. Я его за эту храбрость люблю.

«Дочь за доброту, любовница за храбрость,— подумал Бекайдар,— а я за что не люблю его? За то, что он расстроил мою свадьбу? Господи, какая же чепуха? Надо немедленно объясниться! Не может быть, чтоб он не понял!»

И тут вдруг Хасен сказал совсем иным голосом, деловым и, пожалуй, даже сварливым:

— Маша! Барсуки-то не кормлены. Ты сходи, сходи за сбоем, не поленись, а я поговорю пока с жигитом, у нас с ним большой разговор.

— Да, да, да! — быстро, как будто вспомнив что-то, сказала женщина и ушла. Хасен поглядел на Бекайдара.

— Ну что ж,— сказал он,— пока Маша не позвала нас к столу, посидим тут. У меня здесь есть любимое место, пойдем, покажу.

Любимым местом Хасена оказался камень в углу двора. Большой серый варан дремал на песочке рядом. Он даже не двинулся, когда к нему подошли. Хасен сам сел и Бекайдара усадил рядом на какое-то бревно.

— Так вот почему Дамели не боится змей! — воскликнул Бекайдар.

Хасен усмехнулся.

— А я ей с детства объяснил: змея первая никогда не нападает на человека, она всегда, если может, уползает от него, а вот человек на человека...

«А все-таки при всем при том, при всем при том — он мизантроп», — подумал Бекайдар и ответил:

— Впрочем, у нас и змей нет.

Хасен вдруг выставил перед его лицом два пальца.

— Две! Целых две змен у вас в экспедиции,— и, чтоб было более понятным, добавил: одна большая, а рядом маленькая, но тоже очень ядовитая.

— Ой, не геворите вы загадками! — взмолился Бекайдар. — Вокруг меня уже столько набралось тумана, что я совсем ничего не понимаю.

— Что ж ты не понимаешь? — спросил старик.

— Да ровно ничего я не понимаю, — сказал в отчаянии Бекайдар. — Что такое случилось на свадьбе? Почему ушла от меня Дамели? Что это за записка? Что вы имеете против меня? Ведь с этого дня я места себе не нахожу. Ну, имею я наконец право узнать, что случилось? Ведь речь-го идет о моей жизни.

Он даже вскочил с бревна. Хасен смотрел в землю.

— Сядь, — сказал он наконец. — Ведь так не разговаривают.

Бекайдар сел.

— Теперь так, — продолжал Хасен. — Ты действительно любишь Дамели?

— Больше жизни! — это вырвалось у Бекайдара с такой искренностью и болью, что Хасен только кивнул головой.

— Так вот, сын мой, — сказал он, — что случилось — того уже не поправишь. Но запрет свой я снимаю. Так и скажи Дамели. Снимаю. А вини во всем своего отца.

— Мой отец? — воскликнул Бекайдар и тут же подумал: «Чувствовало мое сердце, чувствовало». — Хасен-аке, расскажите мне, все, все, — попросил он.

— Нет, мой жигит, — мягко сказал Хасен, — я ничего тебе не скажу, пусть он сам и скажет. Пусть, пусть наберется мужества! Ладно! Все! — Хасен встал с камня. — Вон Маша идет. Значит, уже к столу пора. Больше ни слова!

В этот день Бекайдар впервые попробовал черепашьего супа, медвежьей колбасы, жаркого из кабана и настойки на лесных травах. И вообще — все было очень хорошо.

«Ну, я сегодня побывал в гостях у робинзона, — думал он, шагая по шоссе к автобусу, — да иного отца для моей Дамели, я, пожалуй, и не желал бы».

Он идет мимо соснового бора, мимо горного потока, злобно крушащего камни, мимо зарослей каких-то невероятных лопухов, блестящих, зеленых, похожих на складные китайские веера, мимо воркованья горлиц, кукования кукушек, пения дроздов. Мимо фар и стремительных огней, летящих на него. Он идет пешком. Ему надо переварить все, что он сегодня узнал и услышал. «Отец, отец, неужели ты можешь быть не прав?» — думает он. А о Дамели он почти не думает. Он знает — все будет хорошо. Надо только ско-



рее вернуться в Саят. В кармане у него письмо Хасена с припиской тети Маши. Его надо передать Дамели лично.

Быстро закончив свои служебные дела в Алма-Ате, на второй день он уже был в Саяте.

...Дамели в это время кончала свое выступление. Видно, что она подготовилась к нему тщательно — весь стол был завален зубчатыми листочками из блокнота, газетными вырезками, брошюрами с закладками.

— Итак,— сказала она,— подытоживаем: счастье — понятие всецело субъективное. В природе такого понятия не существует. Его создает сам его носитель — человек. По образу и подобию своему. По индивидуальному образу и подобию. Поэтому можно сказать так: скажи мне, на чем ты успокоился, и я скажу кто ты. Счастье — цель жизни, но оно иногда простирается и дальше самой жизни. Бывает так, что счастье и жизнь несовместимы. Тогда приходится отказываться от жизни. Именно во имя личного счастья — отказываться! И Изольда, и Джульетта, и Баянсулу, и Козы-Корпеш погибли именно во имя своего счастья. Но, как и всякое понятие, и понятие счастья не является застывшей категорией. В наше время личного семейного счастья для человека стало недостаточно. Еще Чернышевский сказала: «Не существует одиночного счастья». И верно: счастье — понятие общественное. И если была счастлива Джульетта, отдавая свою жизнь за любимого, то счастлива была и Маншук, погибая за Родину. Так мы видим, как на наших глазах расширяется и делается все более социальным понятие — счастье. Это раз.

Второе: счастье — понятие динамическое, а не статическое, оно не останавливается на достигнутом, а требует и дальнейших побед, дальнейшего движения вперед. Чтобы сохранить счастье — нужно все время завоевывать новые вершины. Счастье меньше всего терпит автоматизм.

Третье: если счастье идет дальше смерти, то, вероятно, это одно из средств человека победить смерть. Счастье вечно. Вечно счастлива Джульетта, Козы-Корпеш, Баянсулу. Вечно несчастливы Иуда и Гитлер. Предатель, друг, обманувший друга, не могут быть счастливы. «Ты осужден последним приговором», — писал о таких людях Пушкин.

Четвертое: никто тебя не может сделать счастливым. Счастье в твоих руках. Оно не нуждается ни в каких условиях. Оно нуждается в тебе. Вот и все.

Она собрала бумаги и села. Поднялся Ведерников.

— Ну, я думаю, товарищи, перерыва мы делать не бу-

дем, не такой уж это большой доклад. Переходим к приемам. У кого есть вопросы?

Поднялся длинный, нескладный и какой-то узловатый парень. Так часто выглядят юноши в свои восемнадцать — девятнадцать лет.

— У меня такой вопрос, — сказал он хмуро, разглядывая свои руки, — вот вы говорите. Маншук была счастлива, умирая, ну а вы согласились бы на такое счастье?

— Дорогой мой, — ответила Дамели ласково, — такие вопросы не задают докладчику. На них слишком легко отвечать. Ясно, что ответ может быть только один — да. Но много ли стоит такой ответ в этом зале — сам реши. Так же, как и другой вопрос: как ты смел не застрелиться, когда тебя забирали в плен?

В зале зааплодировали, а Бекайдар с глубоким убеждением подумал: «Да, Дамели могла бы быть такой же, как Маншук».

— Тогда другой вопрос, — продолжал парень, — ну, а руки наложить на себя во имя любимого, как та Джульетта, вы могли бы?

Дамели подумала и ответила:

— А вот этого действительно не знаю. Но тут все упирается в другой вопрос: есть ли в наше время любовь, подобная любви Ромео и Корпеш? В этом вопросе, прямо сказать, я не компетентна.

Сразу вспыхнули споры: говорили и так, и этак. А Бекайдар сидел, опустив голову, и думал:

«Она сказала, что сомневается, есть ли в наше время совершенная любовь, что значат эти ее слова? Намек? Вызов? Разочарованность? А почему мы сегодня не можем любить друг друга, как наши родители любили тридцать лет назад? А ведь как они любили! Уж, во всяком случае, моя мать не ушла бы со свадьбы. Никогда не ушла бы. Значит, верно — любовь наша не такая. Как же мы будем жить, если поженимся? Ведь если Дамели могла уйти со свадебного ужина, то и в дальнейшем, если ей что не понравится... Хасен сказал, виноват во всем мой отец, но если отец виноват, то мы-то при чем? Зачем мне взваливать себе на спину еще эту страшную тяжесть! Впрочем, любой камешек тяжел — для того места, на которое он упал».

Собрание кончилось. Люди двинулись к выходу, и тут к Дамели с решительным видом подошел Бекайдар.

— Здравствуйте, Дамели, — сказал он, — во-первых, вам привет и письмо от отца, а во-вторых, — вопрос к до-

кладчику: итак, вы утверждаете, что любовь подобная любви Ромео, невозможна в наше время, так я вас понял?

Девушка остановилась и взглянула на Бекайдара. Конверт, который он ей вручил, она сразу же сунула в карман. Сейчас только Бекайдар увидел, какая она бледная, исхудавшая, осунувшаяся.

— Здравствуйте, Бекайдар,— ответила она.— Спасибо за письмо.— Повернулась и быстро пошла прочь. Он догнал ее и схватил за плечо.

— Дамеш,— сказал Бекайдар,— слушай, ведь мы же близкие люди! Давай же разберемся во всем, что случилось. Ты что? Не любишь меня больше?

— Я вас люблю больше, чем когда-либо,— тихо ответила Дамели.

— Тогда что же случилось? — закричал Бекайдар, не обращая внимания на то, что на них уже смотрят.— Почему ты ушла? Ты же знала, что вырываешь у меня сердце. как же может любящий человек...— Он схватил себя за голову.— Нет, я, кажется, сойду с ума! Я ровно ничего не понимаю. Твой отец... Но ладно, бог с ним, с твоим отцом, но неужели мы не можем жить самостоятельно, а? О чем написал бы Шекспир, если бы Дездемона и Джульетта послушались своих отцов?

Дамели слегка улыбнулась сквозь слезы.

— Да, конечно. Но тогда бы они обе остались живы. правда? Но вот ты заговорил об отцах, скажи, своего отца ты очень любишь?

Бекайдар нахмурился.

— Ну, а как ты думаешь? — Дамели молчала и смотрела на него.— Нет, дорогая, как бы тебе ни забивали голову, но такого отца, как у меня, поискать надо. Ведь он, овдовев в молодости, так и не женился. Не хотел вводить в дом мачеху. Как хочешь, а это подвиг, и отцу я обязан всем.— Бекайдар остановился, поглядел на Дамели. Она молчала.— Но вы его почему-то не любите. А твой отец его попросту травит. Нет, нет, не возражай,— продолжал он ожесточенно,— я знаю: мне все рассказали. Я только не могу понять, что он вам всем сделал?

Дамели дослушала, потом вдруг улыбнулась и сказала:

— Бекен, я дня через три поеду во Второй Саят. Поедем со мной, я тебя познакомлю с отцом.

Бекайдар вытаращил глаза.

— Вот те раз! — сказал он.— Во-первых, я с ним уже

познакомился, во-вторых, при чем же тут Саят: ведь он живет в Алма-Ате!

Дамели улыбнулась.

— Ты не про того отца говоришь,— сказала она.— Тот, что в Алма-Ате живет,— это мой отец названный, а настоящий мой отец здесь, в Саяте. Как, по-твоему, меня звать по отчеству?

— Дамели Хасеновна.

— А вот и не так: Дауреновна, Дауреновна. Настоящий мой отец — Даурен Ержанов.

— Постой,— сказал совершенно ошалелый Бекайдар.— Даурен? Учитель отца, тот, известный...

— Отец не терпит, когда его называют известным,— засмеялась Дамели. «Приходите, поговорим об этом ровно через сто лет»,— отвечает он, когда к нему обращаются так. Но он сейчас ждет меня в Саяте.

— Слушай, да ведь он мертв, погиб, зарыт где-то не то в Сибири, не то на Дальнем Востоке.

— А вот не погиб и не зарыт, а вернулся целым, здоровым и руководит геологическим отрядом в Саяте. Ну что ты так смотришь: раз в сто лет и не такое бывает.

— Раз в сто лет...— ошалело пробормотал Бекайдар и схватил Дамели за руку.— Слушай. Я так рад за тебя, так рад... И он вдруг схватил и обнял ее и несколько раз поцеловал. И она тоже поцеловала его, хотя потом сразу же осторожно отстранила его руки.

«А больше всего я рад за себя,— подумал он,— теперь Хасен мне не указ. Какой бы он ни был. Безумный или нет. А с Дауреном Ержановым я сговорюсь».

И в порыве радости он сказал:

— Значит, Хасен — твой дядя. Ты знаешь, Дамели, я ведь был у него. Он меня угощал медвежьей колбасой. Я и с тетей Машей познакомился.

— Боже мой! — воскликнула Дамели, останавливаясь.— С тетей Машей! Что ж ты молчишь!

— Может быть, сядем,— продолжал Бекайдар.

Как раз на дороге лежали огромные белые валуны, возможно, остатки какого-то доисторического селя, и они опустились на них.

Бекайдар подробно рассказал о своем посещении домика в горах. Дамели слушала молча, не перебивая, и только, когда Бекайдар произнес: «Так он ничего мне и не сказал, кроме того, чтоб я лучше обратился за ответом к отцу, но

о чем я могу спросить отца?» — она пошевелинулась и тихо сказала:

— Какой-то человек смотрит на нас сзади, отпусти мои плечи. Не оборачивайся.

Это чудо, что она могла почувствовать затылком чей-то чужой взгляд, но она его точно почувствовала.

Но Бекайдар обернулся и напоролся на взгляд Еламана. Завхоз экспедиции стоял за камнем и смотрел на них. Луна ярко освещала его лицо — сухие резкие черты и поджатые губы.

Бекайдар посмотрел на него с гневным недоумением.

И сейчас же Еламан заюлил, закривлялся, заулыбался, и сразу с его лица исчезло то напряжение, которое делало его значительным и страшным. Перед Бекайдаром опять стоял завхоз.

— Ну, я очень рад, очень рад, — забормотал он, — молодые, хорошие! Любите друг друга! И ваш батюшка...

Но тут Бекайдар поднялся так медленно и грозно, что Еламана как ветром смело.

— Уполз, гадина, — сказал Бекайдар, усаживаясь опять на камень и обнимая Дамели. — Если бы ты только видела, какими глазами он на нас смотрел.

— Кто это? — спросила Дамели. Она не видела или не разглядела эту столь внезапно появившуюся и снова сгинувшую тень.

— Да так! Мерзавец один, — пробормотал Бекайдар и вдруг усмехнулся: — Вот кого бы я спросил кое о чем...

А мерзавец, отойдя метров на сто от парочки, развел руками и сказал:

— Ну что ж, Еламан, говорят же: «Когда кулан свалится в колодец, тогда и муравьи лезут ему в ухо», — все правильно!

## 7

За два часа от Второго Саята начинаются тростниковые джунгли. Именно так здесь их и называют — джунгли. Это густейшие непроходимые и неодолимые заросли тростника вышиной с человека; тянутся они на много десятков километров и доходят до самого озера. Впрочем, они и в озеро заходят тоже: то около того берега, то вдоль этого, то посередине его тянутся зыбкие, проваливающиеся под ногами островки. Почва в них рыхлая, влажная и состоит она почти исключительно из бурых и белых корешков. Острова эти совершенно необитаемы, и даже сколько их все-

го, никто толком не знает. Да их и не сочтешь — этим летом они есть, а на следующее пропали бесследно. Ни охотники, ни рыбаки их не посещают. На них ни хаты не построишь, ни даже уши не сваришь; тростник, ржавчина, рыжая и черная, вскипающая между пальцами вода поймы — это, пожалуй, и все.

Вот на такой остров, непонятно каким образом, и забралась семья кабанов. Огромный черно-рыжий секач, самка и с десяток потешных полосатых поросят! Они ходили по острову, хрюкали, фыркали и рылись носами в грунте.

— Не иначе как был подранен и заплыл, а мамаша за ним, — сказал Даурен, опуская бинокль, — только так! Но я бы сюда, Нурке, не сунулся. Походим еще по джунглям. Еще не поздно.

Но Нурке, злой и багровый от раздражения, только передернул плечами. Ему сегодня, как нарочно, не везло. А между тем, у всех охотников была уж добыча — даже счетовод Никанор Григорьевич убил пару фазанов, а Гошовили, возбужденный, счастливый, слегка пьяный, ходил с ружьем через плечо и клялся, что он не уйдет отсюда, пока не застрелит последнего балташинского тигра. Есть здесь такой тигр, есть. Его месяц тому назад видел дед-травоед (бог знает, откуда такое прозвание появилось у смиренного старика Травнина. Он прожил в этих местах сорок лет и знал озеро километров на двести вниз), что ж касается Жарикова и Даурена, то они — каждый — положили по кабану и больше уж даже и не стреляли. Даурен, тот и вовсе оставил ружье в грузовике. А ему бы хоть утку, хоть серого гуся подстрелить! И этого не было! А потом он еще вдобавок осрамился. Они шли с Жариковым и Дауреном вдоль джунглей по сухому месту и тут вдруг под ногами Ажимова что-то ухнуло, фукнуло и как будто взорвалось. Он так обомлел, что даже чуть ружье не уронил и вскрикнул. И тут же увидел большого буро-красного фазана. Фазан поднялся из-за куста, свистя крыльями, пролетел дугой по оранжевому небу и опустился где-то за другим кустом. Потный от стыда — пошел охотиться, да дичи и испугался, — Ажимов пробормотал:

— Я... — и тут же осекся — сказать было нечего.

Но Жариков с Ержановым сразу же заговорили о чем-то другом, и будто ничего и не видели.

Но он-то знал: они все видели и все поняли. Вот какой он охотник, вот какой он мужчина!

«Ну, врите, проклятые, я вам сейчас покажу», — поду-

мал он, весь внутренне сжимаясь в кулак, и, не отвечая Даурену, крикнул проводнику:

— Дед! Дед-травоед. Ну-ка, прокати меня на этот островок.

Он думал ехать в лодке один, с дедом, но неожиданно рядом с ним оказался и Даурен, уже с берданкой за плечами, и Жариков, и даже Гогошвили («посмотрю, что у вас за плавучие острова такие. Никогда не видел, и кабанят захвачу домой парочку»). Остров оказался похожим на губку, рыжая вода с металлической радужной пленкой вскипала у них под ногами. Рос тростник, осока, мелкие незабудки и какие-то фиолетовые цветы необычайной формы, нежности и раскраски. В одной из больших промонн покоилось в черной воде несколько белых водяных лилий.

«Где же кабан-то?» — подумал Ажимов. Он был почему-то убежден, что теперь он покажет всем им, что он за охотник. Они обошли весь остров. Прошел час. Кабанов нигде не было.

— Вот что, товарищи, — сказал Ажимов, останавливаясь и опираясь о ружье, — так толку не будет. Мы их только пугаем, давайте разойдемся по разным сторонам.

— Я с тобой, — шепнул Даурен.

— Нет, нет, Дауке, мне и так сегодня не везет, — пытаю счастья один, — ответил он.

Даурен хотел что-то сказать, но поглядел на Ажимова и молча отошел в сторону.

И вот что получилось дальше из-за этого проклятого деда-травоеда. Только из-за него и больше не из-за кого! Будь он тысячу раз проклят! Ажимов пробирался между тростниками. Идти было трудно, земля качалась под ним так, как будто он шел по пружинистым, прогибавшимся матрацам. Один раз он даже ухнул в какую-то яму. Он уже окончательно обессилел, когда вдруг услышал выстрел, а за ним крик Жарикова: «Что? Попал, дед?» Что ответил дед, он не расслышал. Только где-то впереди, а потом сбоку послышался треск и шум чего-то огромного. Как будто кто-то слепо ломился через заросли. Он взял ружье наизготовку и пошел в сторону этого шума. Прошел десять шагов, двадцать, сто — шум вдруг замолк, ничего и никого не было.

— Эге-ге-ге! Где вы, Нурке! — послышался где-то вблизи голос Жарикова.

Он ничего не ответил, только губу закусил.

На небольшой полянке, величиной с комнату, лежала

коряга. Он сел на нее и задумался. Очень быстро темнело, и через редкий тростник он видел, как на берегу загорелся большой желтый огонь. Это развели костер, чтоб испечь фазана. Даурен научил, как это делать: ощипанную птицу обмазывают толстым слоем глины и зарывают в золу. Когда прогорит костер — жаркое будет готово. Птица печется в собственном соку.

В следующую секунду Ажимову показалось, что на него обрушилось небо. Какая-то невероятная тяжесть прижала его к земле. Он помнил только ослепительный взрыв, (вот что, наверно, значит — искры из глаз посыпались), страшную боль в боку, запах тлена и звериного смрада, от которого у него пресекалось дыхание. Зверь хрипел и катал его по земле. К счастью, дальше он ничего не помнит, кроме последнего толчка, которым и выбило у него память.

Очнулся он уже на борту машины на кошме, над ним сидел Даурен и держал его за руку. Вероятно, от этого он и пришел в себя. Он хотел поднять голову, но сразу же его затошнило, заломило в глазах, сжало виски железными тисками, и он рухнул опять на кошму.

И тут же услышал голос Дауке.

— Лежи, лежи, сейчас поедem.

— А его не растрясет по дороге? — спросил чей-то голос.

Что ответил Даурен, он не знает, потому что опять впал в забытье.

Окончательно пришел он в себя на квартире. Над ним сидели Бекайдар и медсестра. Они о чем-то тихо толковали. Он поглядел на них и закрыл глаза.

— Глядит,— шепнула сестра.

— Тс, тс, тс! — произнес Бекайдар и утер глаза.

...Все полностью он узнал только через неделю. Оказывается, Даурен сразу же пошел за ним («потому и пошел, что понял — какой я охотник», — скорбно подумал он), и все время ходил, не выпуская его из виду («значит, видел и как я ухнул в пойму! И ведь ходит-то он, как шпион: ничего не услышишь»). Когда он сел на корягу, Даурен стоял за его спиной. Это и спасло Нурке. Подраненный кабан кинулся в тростники, добежал до поляны (наверное, до места своего обычного стойбища) и залег там. В это время и угораздил Ажимова черт опуститься на эту корягу. Раненый зверь, увидев человека, кинулся на него, ударил в спину и подмял под себя. Опоздай бы Даурен на три минуты, и с ним было бы кончено. Но и это еще не все.



Даурен, выбежав на поляну, крикнул. Кабан в неистовстве катал Ажимова по земле и все норовил повернуть его так, чтобы клыками вспороть живот. Обыкновенно, когда кричат, разъяренный кабан либо не обращает внимания, либо поднимает голову и на секунду оставляет свою жертву. Вот тогда и надлежит бить. Но этот кабан был особенный; он поглядел на Даурена и вдруг бросился к нему. У Даурена были считанные секунды, чтоб прицелиться, если бы он ошибся хоть на волос, ему бы не избежать гибели. Ничто на свете не могло бы его уже спасти. Но он подпустил зверя на пять метров и всадил ему пулю как раз в лоб. Зверь с разбегу успел еще сбить Даурена с ног, но сейчас же рухнул рядом.

— Да за подобный подвиг у нас награждали орденом, — сказал Жариков, — кончив рассказывать. — С таким человеком я вдвоем в любой рейд пошел бы. И еще «языка» привел бы.

А старый счетовод, который сидел рядом (они оба пришли поздравить Ажимова с выздоровлением), добавил:

— Это такой человек, такой человек! Скромный, мягкий, легко смущающийся, а за друга готов жизнь отдать.

— И все понимает, — добавил Бекайдар, — все понимает. Разве другой пошел бы за тобой бродить по болотам? Для этого надо иметь умное сердце.

«Ну, конечно, — подумал горько про себя Ажимов, — и тут начался культ Ержанова. Как и в годы моего студенчества! Вот бессмертный, черт! Ни одна пила не берет!»

Очень много бумаги исписано на тему о вдохновении. О Мочалове, играющем Гамлета; Белинским, например, создан целый труд — трактат о вдохновении. Вдохновение озаряет и ученого, но если великий актер Мочалов не только зажигался сам, но и зажигал других и знал это, то что же может воспламенить душу ученого, перебирающего в десятый раз стопу спектрограмм? Как можно из этих серых, черных и белых полосок почерпнуть восторг творчества?! Оказывается, можно. Ведь ученый знает, во имя чего он перебирает эти скучные кусочки картона и читает эти надоедливо однообразные листочки анализов, где главное в самых разных формах слово — «нет»: «не оказался», «не обнаружено», «отсутствует»... Ведь он-то цель понимает: цель его бессонных ночей, бесконечных исканий, не прекращающихся поражений одна — освобождение человека. «Цель всех усилий человечества — освобождение разума от власти неразумного», — сказал один старый русский фи-

лософ, учитель Циолковского, и кто знает, какую роль сыграли эти или подобные этим слова в стремлении основателя космонавтики открыть человечеству дорогу в космос, приделать ему крылья, сбросить с него гнет самой могучей и универсальной силы — всемирного тяготения. И он достиг всего этого — скромный калужский учитель физики, глуховатый и подслеповатый — только потому, что поверил: это не только нужно, но еще и возможно. Вот это и было источником его вдохновения. А неудачи... Ну что ж... «Очень редко мне приходят в голову счастливые мысли», — сказал Эйнштейн одному репортеру. ««Вы спрашиваете, как я достиг этого (создал электрическую лампочку)? Очень просто, для этого мне потребовалось 99 процентов корня и один процент вдохновения — вот и все», — ответил Эдисон другому.

Бессонный труд сотни ночей ради одного радостного дня, когда вдруг вспыхивает первая искра надежды, — как хорошо знал ее Даурен Ержанов! Он увидел эту искорку перед самой войной, когда наткнулся в Жаркынском ущелье на первые несомненные признаки рудного месторождения. Он не сомневался: где-то здесь находятся залежи медных руд, но только где, где? Грянула война, и на эти вопросы, оказалось, некому отвечать. Даурен ушел на фронт. И вот почти через двадцать лет он держит в руках книгу Ажимова. Все его мысли приведены в систему, проиллюстрированы цифровыми таблицами, подтверждены анализами и положительными результатами поисковых работ. Да, медь есть в Жаркынском ущелье, она должна быть в Саяте, вот основной вывод, который следует сделать из этого обширного труда. Ну и что же из того, если неделю тому назад Нурке сказал, что он ошибся и меди здесь нет? Нет ее — и все!

Даурен стоит на чиевом косогоре — так называется цепь холмов и небольших сопок, которая находится километров за пятьдесят от геологического поселка. Чия здесь много, и он высокий, прямой, очень зеленый и доходит до пояса. Зато невысокие горы, к которым примыкают эти холмы, совершенно голы и безлиственны. Одни красные блестящие скалы да розоватые осыпи камней. Вот и все.

Зато с юга блистает голубейшее озеро Балташы. Смотришь, смотришь на него и не поймешь, где начинается небо и кончается вода. Прохлада, безлюдье, умиротворенье. Да еще тишина! Мертвая, глухая тишина. Мейрам собирает разноцветные камешки, рядом пасутся стреноженные

кони. Выходит солнце. Они приехали вечером и провели ночь под кошмами на этих склонах. Даурен встал с рассветом и успел осмотреть несколько старых, заброшенных шурфов, но ни одного образца оттуда захватить не удалось, настолько ему было ясно, что меди среди них нет. Да, если смотреть на эти результаты поисков, то выходит, что Нурке прав, но в то же время Даурен убежден, что это не так.

А как эти места похожи на западный берег Тихого океана, думал он, рельеф один и тот же. Да и сопки тоже похожи. И даже камень такой же — красный, древний, растрескавшийся. Только вот тайги нет. Нет мощных таежных кедров и поднебесных сосен с тихими родниками в корнях, нет муравьиных куч, смутного шороха леса, кусочка кустарника, через который не пролезешь. Птичьих голосов и осторожного шороха в кустах тоже нет. И нет, к счастью, гнуса. Ох, какое несчастье этот гнус! Через десять минут он доводит тебя до иступления. Ты готов по земле валяться, всю кожу с себя сорвать, а в накомарнике больше получаса не продюжишь — и жарко, и душно, и пот разъедает кожу. Но те сопки действительно таили в себе то, что нам было нужно. Олово! Ценнейший военный металл. Все тогда, кто работал в поисковой партии, получили правительственные награды. Стой, а как же мы все-таки нащупали олово? Ведь и там мы долго не могли ничего обнаружить. Неудача шла за неудачей, и вот однажды...

Он остановился, вспоминая.

Да, да, вот когда шурфы и неглубокие скважины канатно-ударного бурения ничего не дали, тогда он и предложил бурение глубинное: не на сто, а на двести и триста метров.

Он еще раз рассеянно посмотрел вокруг, вдруг встрепенулся! Правда, рельеф местности ничего не означает для нахождения полезных ископаемых, но то, что Даурен вокруг себя увидел, заставило его удивиться: он словно стоял на западном берегу Тихого океана и, как тогда, неожиданно пришло решение.

А что если попробовать искать медь и на Саяте такими же глубокими скважинами? Ну, прорубить, скажем, триста-четырееста метров?! Ведь таких скважин здесь не закладывали! Те, что были, служили иным целям и для расшифровки самого Саята практически ничего не дали. Меди не нашли. Да иначе и быть не могло. Поиски велись поверхностно. Тектоническая структура участка глубже ста метров учтена не была. А ведь совсем не исключено, что

разгадка Второго Саята именно в этом. Медь искали не так, как нужно, и не там.

У Афанасия Семеновича еще остаются неосвоенные средства. Пусть он передаст их на эти новые поиски. Даурен кивнул головой, как будто после долгих споров и колебаний ему наконец удалось убедить какого-то незримого оппонента в своей правоте, и крикнул: «Мейреке!»

И сейчас же из-за холма показалась рыжая головенка. Мейреке ползал на четвереньках и собирал камешки.

— Ну как, Мейреке, найдем мы здесь медь — то есть не здесь, а вот там, поближе к озеру? — спросил Даурен.

Мейрам подумал и солидно ответил:

— Да вроде должны бы.

Он старался во всем походить на взрослого и говорил, как взрослый.

— Почему же ты так думаешь?

Мейреке опять подумал.

— Да вроде раньше здесь река текла. А в реке все есть: и медь, и серебро, и золото. Вы сами говорили, сколько его растворено в воде.

Даурен засмеялся.

— Э, брат, нет, того золота нам не достать. Как говорят русские: овчинка выделки не стоит. А с Саятом так: где есть медь, там золоту делать нечего. Это запомни: здесь медь и золото вместе не встречаются.

Нет, тут нужно исходить из других закономерностей: земная кора развивалась по своим особым законам, но везде эти законы одинаковы. А законам соответствуют признаки. На этом основании и существует наука, специально занимающаяся рудными месторождениями, изучающая закономерности их распределения, и называется она металлогения. Ею я занимаюсь. Вот, судя по ней, медь здесь есть, а вот где она и почему ее мы не находим, — вопрос другой. На него я и стараюсь ответить.

...В поселок они вернулись с заходом солнца, и первый, кого увидели, был Бекайдар. Он сидел на камне около входа в палатку и читал какую-то толстую книгу, другая книга лежала рядом на земле. Даурен знал: Бекайдар читает «Очарованную душу» в подлиннике. Так он изучает французский язык. Непонятные слова отыскивает в словаре и записывает в особую тетрадочку. Сейчас словарь лежит на земле, а тетрадочки и вовсе нет. Значит, в нее почти уже нечего записывать. Молодец Бекайдар! Даурен сразу же полюбил этого не особенно разговорчивого, серьезного,

вдумчивого парня. В первый же день, когда его привезла Дамели,— значит, что-то около двух недель назад — Бекайдар рассказал ему одну историю и этим сразу же купил старого геолога. Вот что сказал Бекайдар:

— Медь здесь есть. И вот почему я так думаю:

Со мной в горном институте учился один парень, Сережа Верзилин. Мы с ним даже слегка дружили. Ну, во всяком случае, пару раз были на вечеринках вместе. Потом он уехал в Ленинград, поступил в ЛГУ. Я слышал, он стал историком. Передавал пару раз мне приветы. И вот как-то я стою на дороге, голосую — смотрю: вилик останавливается. «Вам куда?» — «В Саят-первый». — «Садитесь». Влез я, смотрю на шофера, а это сам Сережа. Ну обнялись, конечно. «Ты сюда как?» — «А ты как?» — «Ну, я как — понятно, я же геолог». — «А я археолог и пишу работу об энолите в Казахстане». — «А с чем этот энолит кушают? Палеолит знаю, неолит знаю, мезолит знаю. Век нетесаного камня, век тесаного камня, век мелких тесаных изделий, а вот про этот твой энеолит — первый раз слышу». — «А зря, у вас в Казахстане его много! Это иначе то, что раньше называлось «медный век». В Академии наук Казахстана собрана замечательная энеолитическая коллекция, и половина вещей из ваших мест. Вот добыл у них археологическую карту, еду все увидеть на месте». — «Да не может быть, Сережка, — ты ошибся, говорю, — какой там медный век? Мы там уж третий год копаемся, все эту окаянную медь ищем и не находим, а ведь мы геологи». А Сережка смеется: «Ну, значит, так же уж, говорит, вы геологи. Древний человек нашел ее одной мотыгой, а вы со всеми вашими приборами ничего не можете. Вот посмотри». И, верно, вынимает из планшета и подает мне кипу фотографий. Посмотрел я: тут и бусы, и какие-то фигуры животных, и кольца, и еще много чего. И везде надписи: «Медь, медь, медь». Из находок такого-то — у меня фамилия записана, сейчас не помню — 1912 год. Большой Саят. «Какого же черта, — говорю, — мы-то ничего не находим». — «Не знаю, — говорит, — не так, наверно, ищите», — и больше я его не видел. Только когда был в Алма-Ате, по телефону с ним переговорили. «Ну что, спрашиваю, нашел еще что-нибудь стоящее». — «Да нет, стоящего, говорит, не нашел — тут основательные раскопки нужны, а вот на следы старой медеплавильной печи, пожалуй, наткнулся, привез образцы шлаков. Сейчас она у нас, в музее Академии. Заходи. по-

смотришь». Собирался я зайти, да что-то помешало. Так что медь здесь есть, Дауке. Это тверже твердого.

Поистине Бекайдар, сам того не зная, нашел самый верный и короткий путь к сердцу старого геолога. Ни один рассказ в мире не мог так заинтересовать Даурена, как этот. Он попросил повторить его еще раз и тщательно занес в записную книжку.

К сожалению, мест, где Сергей Верзилин обнаружил древние шлаки, Бекайдар не знал. Но это было уже и не столь важно. В Академии наук, конечно, можно было найти все эти сведения.

— Ну, сынок, спасибо! — сказал растроганный Даурен. — Вы сами не знаете, какую услугу мне оказали.

И к вечеру они уже перешли на «ты». Только, конечно, Даурен перешел на «ты». Бекайдар продолжал называть его на «вы», но отношения у них уже начали складываться в совершенно определенном направлении. «Вот этот красивый, черноволосый, высокий и молчаливый юноша — так решил Даурен — и есть муж моей дочери. Будущий или настоящий — это не важно. Важно, что они близкие друг другу люди, и с этим я, Даурен, обязан считаться. Обязан, если хочу, чтоб они были счастливы, чтоб мы все были счастливы: она, он, я».

...Бекайдар читал. Даурен тронул его за плечо.

— Ну, друг дорогой, — сказал он, — и терпелив же ты, я бы давно бросил этот роман — длинен, многословен, вял. Выдуман с начала до конца. Нет, не для меня все это.

Бекайдар радостно засмеялся.

— Да, таксму, как вы, — я сказал об этом Дамели, — Роллан вообще не может прийти по вкусу. Вы слишком деятельны и энергичны. А вот моему отцу нравится.

Даурен подошел, полистал книгу, положил ее обратно.

— А он читал ее?

— Читал!

— Читал. — Даурен снова взял книгу. — Ну вот, слушай только: «Зло, причиненное живому, исправимо». Что, оно, действительно исправимо, а?

Бекайдар посмотрел на Даурена и опустил глаза.

— Не знаю, — сказал он. — Опять посмотрел на него, подумал и вдруг решил принять бой. — Тут ведь все зависит от сознания человека. Если человек сделал кому-то пакость и чувствует себя превосходно... Ну, конечно, этот человек ничего не стоит. Ну, а если он мучается...

— Тогда что? — спросил Даурен. — Улитка свершила

какую-то гадость и мучается от этого в своей раковине. Кого это касается?

— А что же нужно? — спросил Бекайдар. — Публичное покаяние, свеча в руках, растерзанная рубаха? Вообще, что нужно, чтоб такому человеку поверили?

— Не знаю, — сказал Даурен и бросил книжку. — Что такому человеку нужно, я не знаю.

— Ах, значит, вы...

— Значит, я никогда не был в шкуре такого человека, — резко сказал Даурен. — Во многом был грешен, а в этом нет. И ты меня не спрашивай... Тут я не советчик.

Бекайдар хотел что-то сказать, но подошла Дамели (она приехала вместе с Бекайдаром), и разговор прекратился.

А вечером появился Жариков. Он распахнул полы палатки и остановился. Необычайная картина представилась ему. За столом сидели трое: Дамели, Бекайдар и Даурен. Весь стол был заставлен крошечными деревянными фигурками животных: здесь были лось, глухарь, лисица, лебедь с расправленными крыльями, кабан, медведь, рысь.

Даурен показывал Дамели рысь и говорил:

— Я назвал ее Багира. Помнишь, пантеру в «Маугли»? Мне принесли ее еще котеночком. Я ее выкормил с пальца. Она так привязалась ко мне, что всюду со мной ходила. Да вот недосмотрел — уехал, а ее убил лесник.

— Э, брат, да у тебя целый гамбургский ЦОО<sup>1</sup>, — сказал Жариков, подходя. Что, неужели сам все и вырезал? Чем?

— Да вот этим самым ножом, — ответил Даурен и вынул из кармана большой садовый нож с ручкой из оленьего рога. — Вот, когда зимой выпадала свободная минута, а читать было нечего, я сидел перед печкой и резал. Ты говоришь, зверинец — да у меня было их много больше, только часть раздарил, а часть растерялась. А ты что, разве был в Гамбургском ЦОО?

— Да, пришлось однажды, — ответил Жариков, усаживаясь. — Ездил я раз в американскую зону для переговоров с комендантом, а он, человек вежливый, обходительный, захотел просветить русского медведя — вот и поехали мы с ним в этот ЦОО. Только не понравилось мне! Зверей было мало: часть сдохла, а часть, очевидно, сами сторожа слопа-

<sup>1</sup> ЦОО — зоологический сад.

ли,— он засмеялся.— Ладно! Надо мне с тобой поговорить. За жизнь, так сказать, поговорить.

— Ну что ж, и поговорим,— собирая со стола своих зверей, ответил Даурен,— вот, кажется, и люди кстати подходят.

И действительно, в палатку вошли еще двое: высокий блондин с румяным, полным лицом и небольшой бородкой — Васильев и маленький черный грузин, подвижной, с орлиным носом и жесткими курчавыми волосами — Сандро Гогошвили. Оба они были начальниками отдельных отрядов.

— Дамели, дорогая,— сказал Даурен, поздоровавшись с гостями,— ты бы взяла Мереке да вышла бы прогулялась, а ты, Бекайдар, посиди. Будем говорить— это и тебя касается.

Внезапно в комнате зажегся свет, это заработал движок экспедиции.

— Да будет свет! — привычно изрек Афанасий Семенович и вынул трубку.— Я закурю у тебя, Дауке, можно?..

— Тебе, да еще из моей трубки, дорогой, всегда можно,— улыбнулся старый геолог,— это трубка не простая. В ней, наверное, не один пуд махорки побывал. Вот, кажется, и еще гостя бог посылает. Входите, входите!

Вошел счетовод экспедиции Никанор Григорьевич, энергичный, сухой старик с насквозь прокуренными усами. С его лица никогда не сходила иронически-снихождительная усмешка. Разговаривая, он всегда язвительно улыбался и шурился, хотя проще и сердечнее его наверное не было человека в экспедиции.

— Ну здравствуйте, здравствуйте, друзья,— сказал он,— что, дымите? Отлично! И я закурю! На огонек зашел. Смотрю, горит окно, на занавеске тень Афанасия Семеновича, а мне как раз его и надо. Да и тебе, Даурен Ержанович, надо бы два словца сказать.

— Вот так славно!— засмеялся Жариков.— К нему ты шел, а меня припел так, для красного словца, чтоб обидно не было. Ну, так в чем дело, говори?

И пока старик выкладывал свои надобности, Афанасий Семенович смотрел на старого геолога и думал:

«Ведь вот всего два месяца, как этот старик появился среди нас, а уже без него дня прожить невозможно. Конечно, все началось с того случая на охоте, но именно только началось, а какой он человек — простой, умный, благожелательный — люди узнали после и вот идут они к



нему, идут. Кто с нуждой, кто за советом, кто просто так посидеть, чайку попить. А уходят от него все удовлетворенные, у него великое искусство разговаривать — говорит он просто, ясно, ничего не навязывая и никогда не подчеркивая своего я. А вот Нурке не такой. У него все не просто, он не говорит, а изрекает, не советует, а приказывает, и его все боятся. Уважают, конечно, но боятся. И даже родной сын чувствует себя с ним неловко. Я замечал это».

— Ну что у вас, товарищи, с рудой? — обратился он к начальникам отрядов. — Есть она?

— Плохо, Афанасий Семенович, — ответил Гогошвили, — идет, идет руда с севера на юг и вдруг исчезает. Вот уж подлинно сквозь землю проваливается. Шестнадцать шурфов заложили — и ничего!

— А в северном направлении медь есть? — спросил Васильев. — Нет, тут что-то не так. Не может она, дойдя как раз до этой отметки, вдруг испариться. Что-то мы тут недоуваем.

— Так что же вы предлагаете? — спросил Даурен.

— По-моему, далее отметки идти не следует, — сказал Гогошвили.

Жариков взял со стола геологическую карту и стал ее рассматривать.

— Это пометки Нурке Ажимовича, — сказал он. — И карта эта сводная. Смотрите: руда повсюду исчезает вот около этой линии! То есть, очевидно, здесь рудная зона выклинивается вот куда. Так, по крайней мере, думает Нурке. Он считает, что продолжать работу южнее этой отметки бессмысленно, это только трата денег и труда.

Ержанов наклонился над картой.

— Денег мы и так истратили порядком, но порядком их еще и осталось. По плану мы должны были заложить тут еще пятьсот кубометров шурфов, но Нурке Ажимович склоняется к тому, чтоб перевести все работы на восточную часть Саята. Он, кажется, и вам говорил что-то подобное.

— Говорить он говорил, — ответил Жариков. — Но тогда было рано что-то говорить, работы-то только что начались.

— Я вот что предлагаю, — сказал вдруг Даурен, — рыть не шурфы, а мелкие или глубокие скважины. Они и покажут, есть ли здесь медь или нет ее.

— Такие работы у нас в проекте не предусмотрены, — сказал Жариков.

— Но средства-то все равно остаются неосвоенными,— сказал Даурен.— Давайте их нам, Афанасий Семенович, и мы вам принесем медь.

— Да на тарелочке с голубой каемочкой,— улыбнулся Жариков.— Так, кажется, говорил Остап Бендер. Ладно, запрошу Алма-Ату. Что уж там скажут. Ну, а теперь, товарищи, давайте пройдемся. В такой вечер грешно сидеть в комнате. Пошли, пошли на улицу, а то тут так накурено...

Ответ из Алма-Аты пришел дня через три. Даурену Ержанову были разрешены дополнительные поиски на юге Саята в районе озера Балташы и прокладка новых скважин глубинного типа.

Старый геолог спешно выехал на новое место работы.

## 8

Встречать Нурке выехал Еламан. Уже на аэродроме, неся вещи начальника к машине, он понял, что Ажимов чем-то расстроен. Идет опустив голову и думает о чем-то своем. Машина мчалась по степи, мимо сероватых сопок. Тишина, безлюдье, желтая выгоревшая трава. Еламан ведет машину молча, не сбавляя хода. И только раз он резко затормозил. Они проезжали мимо одной из скважин, пробуренных в осуществление плана Даурена.

— Вот тебе и первый подарочек,— сказал Еламан.— Гениальная идея твоего учителя. Как только ты уехал, мы все твои мелкие скважины, шурфы, канавы забросили, и теперь только по Даурену и работают. Вот сейчас еще встретятся. Полюбуйся.

Но Нурке на скважины не стал смотреть. Он только еще ниже опустил голову.

«Он, конечно, все уже слышал и знает,— подумал Еламан,— рассказали в Алма-Ате. Тоже дурак хороший! Пустил козла в огород! Нашел себе заместителя! Заместитель тебя и меня слопают: найдет медь — и конец тебе! Ты два года искал — не нашел, а он пришел, поглядел и сразу понял, как и что! Вот и все».

И другая мысль вдруг пришла в голову.

«А вдруг они помиряются? Вот тот случай на охоте их и помирят. Ведь как-никак Даурен спас ему жизнь. Ну, тогда уж мне конец! Объединятся и слопают. А где я найду еще такое место, как Саят,— тихое, укромное, прибыльное. А он что все молчит и сидит как истукан? Как будто и не слышит меня!»

— Ау, или вы язык проглотили!— крикнул Еламан.

Нурке вздрогнул и посмотрел на Еламана так, как будто только что проснулся. Он был далеко отсюда. Очень, очень далеко был он сейчас: в 1930 году на стройке Турксиба. Именно тогда он, большеротый, большоголовый мальчишка в дырявой куртке, залатанных брюках и сыромятных сапогах появился на полотне железной дороги. У него в ту пору не было ни отца, ни матери, ни родственников — ничего, кроме страстного желания учиться. Он гонял тачки, копал землю и уставал так, что к вечеру, придя в барак, падал от усталости на нары и сразу же засыпал. А утром снова поднимался по первому удару рельса и шел на полотно. Он работал полторы смены, считался ударником, и была у него одна мечта: стать десятником. Вероятно, так бы и случилось, если бы не одно обстоятельство, вернее, одна встреча. Пронесся слух, что недалеко отсюда, в степи, появился прораб, и он набирает рабочих. Зачем он это делает, слухи ходили разные (будут искать золото, бурить на нефть, закладывать угольные копи). В общем, ясно было одно: там можно хорошо заработать. Что ж, попытка не пытка! И под воскресенье Нурке отправился в степь. Он до сих пор помнит, как впервые увидел этого прораба. Перед ним стоял широкогрудый плотный человек, с волнистыми волосами и внимательным, добрым взглядом. На нем была студенческая куртка. Он только что окончил московский геологоразведочный институт и получил назначение. Звали его Даурен Ержанов. В тот день же день Нурке стал членом его геологического отряда, еще через неделю переселился в палатку прораба. Проработали лето. Копали, бурили, закладывали шурфы — работали весело и споро. За это время Нурке научился довольно бойко читать по-русски, и после окончания работ молодой инженер увез его в город и там устроил на рабфак. Парень оказался не только способным, но и на редкость усидчивым. Рабфак окончил не за четыре года, а за три, затем последовал геологоразведочный институт (Нурке окончил его в 1938 году), а за институтом — практика и три года совместной работы. И вот обоих — уже довольно известного ученого (к тому времени у Ержанова появился ряд работ) и вчерашнего студента — одолевает одна и та же страсть: вывести на свет те несметные богатства, что таятся в степных недрах. Оба геолога верили, что сопки не пусты: они хранят залежи свинца, цинка, меди, вольфрама, серебра. Все это в десятках миллионов тонн. Даурен Ержанов даже знал, где приблизительно следует искать эти клады. «Жаркынские

хребты,— говорил он,— вот что надо разведывать. Может быть, ни одно месторождение Союза не заключает в себе таких богатств, как это. И не буду я жив, если не доберусь до него».

Война помешала этим смелым планам. Даурен ушел на фронт, оставив все свои бумаги Нурке Ажимову. И Ажимов через год подал за двумя подписями докладную об огромном рудном богатстве Жаркынских хребтов. Дело было летом, и Нурке недели через две уехал вместе со студентами в Восточный Казахстан на производственную практику. Вернулся он уже осенью и в первый же день приезда получил телеграмму: «Прошу незамедлительно зайти в управление. Еламан Курманов».

Курманов! Это имя было Ажимову достаточно хорошо известно. Про Курманова говорили как про наиболее вероятного кандидата в министры. Встретил Курманов молодого геолога в своем кабинете стоя. Стол, из-за которого он поднялся, был огромный, тяжелый, весь заставленный бронзовыми безделушками; на отдельном столике помещались два телефона. Тяжелые, массивные кресла, тяжелый складчатый бархат на дверях и окнах— все это давило и прижимало к полу. Но больше всего давил и прижимал к полу сам ладный хозяин кабинета — мускулистый человек средних лет, с тяжелым взглядом серых холодных глаз. Он был одет в глухую военную форму и армейские сапоги.

Почти с целую минуту продолжалось молчание. И гость, и хозяин стояли друг против друга. Первым не выдержал Ажимов. Он протянул руку и забормотал какое-то приветствие... Еламан продолжал молчать, и рука Нурке так и повисла в воздухе. И вдруг лицо Еламана озарилось улыбкой: ласковой, насмешливой или просто ехидной. Нурке тогда так и не понял, какой именно.

— А, товарищ Ажимов! Здравствуйтесь, здравствуйтесь, товарищ Ажимов,— произнес Еламан и опустил в кресло.— Прошу присаживаться. Вот сюда, за этот столик, садитесь.

Еще с полминуты продолжалось это молчание. И опять Ажимов не выдержал первым:

— Вы меня позвали...— начал он.

В серых глазах Еламана что-то зажглось и сразу же погасло.

— Позвал, позвал,— произнес он, не двигаясь.— Вот хотел бы с вами поговорить!

Он выдвинул ящик стола и вытащил отсюда докладную.

— Получил, прочел и остался очень доволен. Поздравляю вас. Открытие Жаркынского месторождения — фактор величайшей ценности, особенно в наше время.

«И из-за того, чтоб поздравить, ты меня и мучил, идиот», — чуть не вырвалось у Ажимова, но сейчас же он опомнился и еще ниже опустил голову.

— Да, я тоже так думаю, — сказал он, — материал Ержанов собрал исчерпывающий. Правда, он нуждается еще в проверке практической, но...

— Стойте, стойте, при чем же тут Ержанов? — нахмурился Еламан. — Нет, вы что-то тут... Жаркынское месторождение открыли вы! Только вы! Вот! — он положил руку на папку с докладной.

Ажимов пробормотал:

— Да, но до этого товарищ Ержанов написал несколько работ, в которых доказывал...

Еламан поморщился.

— Я не хочу слушать ни про работы Ержанова, ни про его доказательства, — отрезал он. — Его больше не существует. Ни для меня, ни для нас. Он изменник.

— То есть как? — совсем обомлел Нурке.

— А вот так, как слышите: добровольно сдался в плен, бросил оружие — и все.

— Это невозможно, это совершенно, совершенно невозможно, — пробормотал Ажимов. — Даурен совсем не такой человек.

— Нам известно, что он за человек! — проговорил Еламан. — И если не хотите больших неприятностей, запомните: Даурена нет и никогда его не было. Открытие принадлежит вам. И все труды, соответственно, тоже ваши. Вы обязаны нам гарантировать, что имя изменника не будет упомянуто в ваших работах. Я прошу вас просмотреть их с этой именно точки зрения. Мы ведь оба не желаем себе неприятностей. Так ведь?

...Вот все это и вспоминал Нурке, когда машина пролетала по степи.

— Ау, ты что — язык проглотил? — воскликнул Еламан.

Нурке вздрогнул, поднял голову и опять увидел перед собой то же самое ненавистное сухое лицо, что и десять лет назад. «Нет, кто, кто, а Еламан не переменялся», — понял он.

— Хорошо, — сказал Еламан, поняв, что молчания Нурке ему не переждать. — Но ты понимаешь, зачем бурят

эти канавы? Это подкоп под тебя. Даурену во что бы то ни стало надо показать, что руда есть. А твои скептические прогнозы... Хорошо, если они просто идут от невежества, — а ведь можно повернуть и на политическую ошибку, и на вредительство.

Нурке обернулся и посмотрел на Еламана.

— Слушай, что ты каркаешь? Что, в конце концов, случилось? Но конкретно, конкретно.

Еламан коротко развел руками.

— Пока ничего слишком плохого, но все в будущем.

— Перестань меня интриговать! — прикрикнул Нурке. — Я не женщина, если что знаешь — говори прямо, а не то молчи. В чем ты подозреваешь старика?

Еламан повернулся к Ажимову всем корпусом.

— В разложении коллектива. В том, что он его постоянно настраивает против тебя, руководителя всех работ. Все это делается, конечно, очень осторожно и не в лоб. На честную схватку ты его не вызовешь, тут он знает: ты положишь его сразу.

— Кого же? Кого же он переманивает на свою сторону, геологов, что ли? Васильева, Гогошвили, Ведерникова? Кого?

— Мало, мало назвал, прибавь еще хотя бы Жарикова и Ажимова-младшего. Тут Ержанов ничего не жалует: кого берет лаской, кого эрудицией, кого панибратством. Что ж? На дудочку и кобра вылезает из норы! Хороший старик Даурен — уважительный, мягкий, совсем не то, что Нурке! Вот поэтому люди к нему и тянутся, ласковому-то! А он ждет момента. Улучит его, и так тебя бахнет в спину, что ты и жив уже не останешься.

— Да как он это сделает, как?! — закричал Нурке. — Бесчестный ты человек! Тебе бы только кого-нибудь в чем-нибудь подозревать! Что ж, меня народ не первый месяц знает.

Еламан покачал головой.

— А кричишь ты здорово! На всю степь! Знаешь римскую поговорку: «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав». Не сердись, Юпитер! Я тут ни при чем! А еще вспомни уже нашу, а не римскую пословицу: «Ярость — нож, палка — ум, — чем больше строгать, тем тоньше становится». Присмотрись к Ержанову, ко всем его делам присмотрись. А потом так дай ему по шее, чтоб он больше не встал. В скважине и похороним!

Нурке вздохнул. Машина летела теперь во весь опор. Только ветер свистел в ушах.

— Вот что,— заговорил наконец Нурке, не глядя на Еламана,— что-то подобное я уже однажды от тебя слышал и поддался, а вот теперь хожу перед Дауреном согнувшись и боюсь, что он мне в глаза ненароком поглядит. Довольно, напился я из твоей навозной лужи, больше не хочу, спасибо. И если не желаешь со мной терять отношения, ни слова плохого о Даурене! Я и тебя, и его хорошо знаю! Вот так. Исполняй!

Еламан всего ожидал, только не такого ответа. Он лихорадочно нажал на стартер. Машина понеслась. Попадись под колеса кочка или большой камень — они опрокинулись бы.

«Ну так и черт с тобой!— думал он,— и иди к дьяволу. Я с тобой не так еще поговорю!»

А Нурке ничего не замечал. Он сидел, смотрел по сторонам и улыбался. Он был доволен собой: чувствовал, что наконец-то ответил негодяю как следует.

После полудня они уже были в Саяте.

...Несмотря на то, что Даурен, Жариков и Бекайдар были в соседнем отряде и за ними послали машину, Ажимов сразу же после приезда решил, не ожидая их, созвать производственное совещание. Собственно, даже не совещание он созвал, а просто попросил рассказать, что же у них делается и как ведутся поиски. Оказалось, что шурфы и мелкие скважины заменили более глубокими скважинами, по совету Даурена Ержановича. Даурен каждый день выезжает на место работ и, кажется, доволен.

И пошло, и посыпалось. «Это мнение самого Даурена», — «Даурен сказал...» — «Даурена просили». — «Он провел беседу». — «Дауке предполагает». — «В этом надо, безусловно, согласиться с Дауреном». В общем, Даурен, Даурена, о Даурене. Сначала Нурке все это принимал с улыбкой, а потом взорвался. Видно, не совсем зря предупреждал его Еламан: в коллективе что-то, безусловно, происходит, и в центре этого «что-то» стоит Ержанов.

Нурке скомкал конец совещания, наскоро сказал несколько заключительных слов и вышел на улицу.

И тут к нему подошли Даурен и Жариков. Но Нурке был уже опять прежним, он тепло поздоровался со своим учителем, горячо расцеловал его, а на вопрос о том, что было на собрании, ответил со слабой улыбкой:

— Завтра, завтра, друзья. Все деловые разговоры на завтра. Сегодня и так голова идет кругом.

...А наавтра они поехали на озеро Балташы. Выехали рано утром на четырех экспедиционных машинах. Уже почти за полверсты почувствовалось прохладное дыхание озера; прохлада шла от воды, холодной и прозрачной до самого дна, прохладен был луг, поросший высокой, очень зеленой травой, прохладна была роса на листьях. Озеро казалось безбрежным; голубые волны на горизонте сливались с небом. В прозрачной воде отчетливо был виден песок на дне, а глубина даже у берегов достигала трех-четырёх метров. Озеро заросло камышами — это степной, очень высокий камыш (его здесь называют куга), и он высотой до двух метров. Через заросли виднелась огромная черная глыба. «Слон» — прозвали его геологи, и, действительно, глыба походила на слона, опустившегося на колени. Голова слона возвышается над водой метров на пять, и с нее было хорошо прыгать в поток. Волны все время налетают на этот камень, поэтому вокруг него постоянно висят перламутровые радужки.

Старики — Даурен, Нурке и Жариков — отделились от молодежи и с полотенцами через плечо пошли к каменному слону. Особенно, кажется, радовался предстоящему купанию Даурен. Он даже что-то напевал под нос, ворот его рубахи был распахнут, в одной руке он нес нераспечатанный кусок мыла, на другой висело махровое полотенце; лицо ясное, чистое, глаза сияют так, что он очень похож на свой портрет в кабинете Ажимова. Когда он начал снимать рубаху, Ажимов удивленно спросил:

— Дауке, так вы вправду собираетесь купаться? Я думал, что только такой сумасшедший, как мой сын, может ухнуть в эту ледяную купель.

— Ну, меня этой купелью, как ты говоришь, не запугаешь, — засмеялся Даурен. — Я ведь сибирские реки переплывал, а здесь что? Ты смотри, смотри, как он плышет, — Даурен показал на Бекайдара, который уже вылез из воды, отряхнулся и полез на голову слона. — Молодец! От такого купания и нервы стальные.

— Ну, положим, нервы-то у них ничего не стоят, — сказал Ажимов неодобрительно. — Хоть с купаньем, хоть без купанья. Чуть что — так истерика. Да из-за чего истерика-то? Из-за какой-нибудь такой мелочи, что об ней и говорить стыдно.



— А возможно, причина и не совсем мелкая? — спросил Даурен. — Так ведь тоже бывает.

— Какая причина может быть у девушки осрамить парня, да еще на свадьбе? — сердито спросил Ажимов. — Глупые еще, не умеют ценить отношения, не дорожат ими! Им бы пережить то, что нам пришлось! И больно за них, дураков, и ничего не сделаешь! — он искоса посмотрел на Даурена, но тот молчал и смотрел на слона. — Слушайте, Дауке, скажу без уверток — сын у меня один. Больше у меня ничего нет и не было. Поговорите с Дамели, она вас послушает. Вы понимаете, о чем я вас прошу.

Даурен нахмурился. Он не знал того, что разговор о нем, начатый в машине два дня тому назад, продолжился потом на квартире у Нурке. На этот раз Еламан, как показалось Ажимову, высказал наконец мудрую мысль. Он сказал: какую политику ведет старый геолог и как он относится на самом деле к Ажимову, выяснить очень просто. Если старик действительно хочет жить в мире со своим бывшим учеником, он сумеет уговорить Дамели принести извинение, и тогда все устроится очень просто, если же он этого не сделает, то, значит, затаил за пазухой камень.

— Да это, пожалуй, логично, — согласился Ажимов.

Всего этого (как и дорожного разговора) Даурен, разумеется, знать не мог, но то, что сейчас Ажимов взвалил всю ответственность на плечи Дамели, а свою вину как будто совсем не увидел, ему очень не понравилось.

— Дети наши сами уже взрослые и сами во всем разберутся, — сказал он. — А я в советчики им не гожусь, — и он с размаху прыгнул в воду.

— Вот это называется вода! — крикнул он через секунду, выныривая и отфыркиваясь. Вот это благодать! Сразу двадцать лет прочь с плеч.

Он доплыл до слона и ловко взобрался сначала ему на плечи, а потом на голову. Тут Бекайдар протянул ему руку. Старый геолог дружески ему улыбнулся, влез и обнял юношу за плечи. Они о чем-то оживленно заговорили. Нурке сидел на берегу и наблюдал за ними. «Вчера Бекайдар не пришел ко мне, — думал он. — Ну, положим, он мог не знать, что я приехал. В это я могу, пожалуй, поверить. Но такая холодная встреча... ни искренней радости, ни распростертых объятий!.. А может, мне только показалось, что холодная? Может, конечно, и показалось! Не решай поэтому сразу — присмотришься. Поговори, подумай, но если

этот старик действительно работает против тебя, то зарой его в первой же его глубокой скважине. Тогда Еламан прав во всем, и ты зря с ним спорил».

...Через час поднялось солнце, нагрелся песок, потеплела вода.

— А ну, девушки,— искать место для купанья! — командовала Дамели.— Так, чтоб и песочек был мягкий, и дно ровное, без камней, и спуск удобный. Пошли, девушки!

И девушки убежали.

А старики напились чаю с топленным молоком — костер был разложен тут же на месте — и стали разматывать удочки да спиннинги. Жариков уж раза два съездил на это озеро и знал место, где хороший клев.

— А вы не с нами, Нурке? — спросил он Ажимова.

— Да нет,— ответил главный геолог,— не увлекаюсь я этим спортом, а вы идите, идите. Я здесь полежу, погреюсь позагораю.

— Отец,— сказал Бейкайдар, подходя,— а я вам привез сюда верстку. Почтальон неделю тому назад привез.— Он раскрыл порфель и вынул оттуда кипу печатных листов.

«Вот самый раз и поговорить наедине»,— подумал Даурен и сказал:

— Да и я, пожалуй, тоже останусь с Нурке. Хочу погреть старые косточки. А то поламывает их что-то.

И только он сказал это, как вокруг все зашумели.

— Это у вас-то старые косточки?! — возмутился Бейкайдар.— Если б вы видели, товарищи, как наш Дауке плавает!

— Нет, нет, идемте, Даурен Ержанович,— серьезно сказал комсорг Ведерников.— Там, знаете, какие форели водятся? С руку! Пойдемте!

— Инженер-ата, пойдемте, ну пойдемте,— вертелся под ногами у Даурена и молил его Мейрам.

— Да это уж что-то вы не того, Даурен, про косточки-то, а? — сомнительно протянул Никанор Григорьевич.

— Если вы не пойдете с нами, то и я останусь здесь,— сказал Бейкайдар очень решительно.

Нурке повернулся к сыну и минуту смотрел на него, почти не скрывая злобы. «Еламан прав,— подумал он,— прав, прав, прав! Пора и прекратить это шаманство».

Даурен не знал, что и делать, но тут вдруг раздался спокойный голос всегда и все понимающего Жарикова.

— Товарищи, Даурен Ержанович в самом деле устал. Пойдемте. Пусть поговорят два старых друга на свободе.

Они ведь так и не виделись без посторонних. А ты, Бекайдар, в самом деле, пожалуй, останься.

И рыбаки ушли, оставив двух стариков.

Нурке расстелил на песке одеяло, лег на живот и начал читать. Он читал уже минут десять, когда раздался голос Даурена:

— А мне познакомиться с твоим трудом можно?

Нурке вздрогнул и поспешно ответил:

— Пожалуйста, пожалуйста. Вот первые страницы,— и протянул листки Бекайдару:

— Передай.

Даурен сразу же погрузился в чтение и потом поднял голову только затем, чтоб попросить новую порцию листов. Это было пятое, дополненное, издание труда профессора Ажимова «Геологическое прогнозирование. Опыт изучения Жаркынских хребтов». Во многом оно походило на четвертое, тоже посвященное другу и учителю Даурену Ержанову: те же таблицы и снимки, такое же количество страниц, но появилось в этом труде и кое-что совершенно новое — даже, пожалуй, прямо противоположное всем прежним изданиям. Автор отказывался от всех своих прежних выводов в части Саята. «Ну, понятно,— подумал Даурен,— медь-то ведь не обнаружена. Вот он и крутит».

— Ну, и что же,— сказал он, собирая листы и укладывая их в аккуратную стопку,— в таком виде эта книга, посвященная мне, значит, и должна увидеть свет?

Голос его звучал спокойно, но почти сурово — это была измена, а измену он никогда не простил бы себе, да и не прощал ее и другим, хотя бы более слабым, чем он сам.

— А что?— спросил Нурке невинно.

Даурен пожал плечами.

— Да не советовал бы так ее выпускать. Книга в этом виде теоретически беспомощна и перечеркивает весь труд твоей жизни.

— А все-таки какие ошибки вы нашли в ней?— повысил голос Ажимов.

— Ошибка одна, основная,— все остальное уже не в счет. Ты вот пишешь, что в Саяте меди нет, а ведь она есть, мы сами держали в руках куприты, так?

— Когда это было!— грустно улыбнулся Нурке.— Мы тогда так были молоды, энтузиазм из нас так и пер, мы все желаемое принимали за действительность. А сейчас ясно — меди нет!

— Да? Ты так думаешь? — усмехнулся Даурен.—

А вот твой сын мне обещал привезти образцы древних медных шлаков, найденных в Саяте. Значит, здесь медь есть, есть! Еще две тысячи лет назад ее добывали древние промышленники! Наши с тобой предки, усунь, и вытапливали ее в глиняных печах. Неужели мы отстанем от них? Бекайдар рассказал мне об этой встрече. Его товарищ, молодой археолог...

— Да не археолог я, а геолог! — крикнул Ажимов, не сдержавшись. — И не молодой, а уже старый. А вы уж и до моего сына добрались! Уж и он заражен вашим бредом. Похвально, нечего сказать, похвально!

— Что ты сказал? «Мои бредом?» — спросил старик более изумленно, чем рассерженно. — Ну, друг мой!

Ажимов опустил голову и некоторое время просидел так.

— Хорошо, — сказал он наконец, — я вижу, что надо действительно поговорить начистоту. Бекайдар, слушай. Эту несчастную экспедицию в Саят, в сущности, организовали вы. Еще в довоенные годы вы подали свою заявку. Подали, понадеявшись на свою научную интуицию. Потому что, будем говорить прямо, фактов у вас в руках не было. Из-за вас пропали миллионы государственных средств. Из-за вас — Даурен Ержанович! А я поверил вам и потянулся за вами! Решил выполнить свой долг перед вашей светлой памятью. Вот и напартачил. Эх, и вспоминать-то стыдно! И вот теперь, когда все окончательно проваливается, я не знаю, как мне придется выворачиваться. Мне, мне, а не вам, потому что вы рядовой геолог, а я руководитель! Ответ-то весь на мне. Вы плетете интриги, выдумываете эти сумасшедшие глубинные скважины, наконец натравливаете на меня моего же сына. Эх, разве для этого я старался увековечить вашу память? Нет здесь меди! Нет и нет! Так я говорю! А вы, как желаете...

И он встал, повернулся к сидящим спиной и стал разгневанно ходить по берегу.

Бекайдар с тревогой и удивлением смотрел на отца. Он не знал, кто прав в этом споре, но эта нервная вспышка отца его страшно расстроила.

«А что он так на него кричит? — подумал он. — Если Даурен Ержанович не прав, то и скажи это спокойно. Криком-то ничего не докажешь. А потом и верно: как же возможно писать то так, то эдак! Да и может ли ошибиться такой геолог, как Ержанов? А потом эти древние шлаки...»

Ажимова мучила другая мысль.

В общем-то, и Нурке тоже считал, что если медь до сих пор не найдена, то это результат какого-то промаха или ошибочности поискового метода. Как геолог, он не мог этого не знать. Перед отъездом в командировку даже сам начал подумывать о глубоком бурении, но отказался от этой мысли, потому что она требовала новых расходов, новых работ и новых докладных записок. Одним словом, это требовало уже изрядных усилий, а к ним он не привык. Казахстан велик, недра его богаты, так что ему какой-то один проклятый Саят?! Свернуть здесь работы — и все! Что сомнительно, то не для нас! А Даурен, не спросившись его, начал работы на свой страх и риск. Сумел вовлечь других, и вот уж его сын тоже увлечен этими глубинными скважинами и тоже думает, что медь здесь есть и Даурен ее найдет. Ажимов не сумел, а Ержанов сумеет.

Он поглядел на Дауке.

— Каждый в конце концов выбирает свою дорогу, — сказал он уже спокойно. — Но беда вся в том, что в науке не одна дорога, а добрых сотня их, и вот из этой сотни надо выбрать свою.

— Так вот и найди свою, сотую, и иди по ней, — быстро ответил Дауке. — Но иди так, чтоб не упереться лицом в каменную стену, а ты, по-моему, не дорогу выбираешь и не собираешься, а катишься по склону. Вот и все.

— Качусь, но сам, — упрямо ответил Нурке, — сам, сам! Поддержки другого мне не надо.

И они оба замолчали.

«Да вот и перешагни эту пропасть, — горько подумал Ержанов, пересыпая песок из руки в руку. — Да и стоит ли перешагивать — ведь теперь все ясно! Надо кончать! Жизнь коротка, и прожить ее в одиночку невозможно. Но если твой товарищ нарочито хитрит, злобно ошибается и не хочет ничего слушать, тогда действительно лучше остаться одному. Я попросил его еще раз подумать над книгой, а вот чем он мне ответил. И ведь книга пройдет в таком виде, пройдет, пройдет! Найдутся подхалимы, полужнайки, просто негодяи, и в какой-нибудь рецензии книга будет названа «Новым словом в геологии Казахстана», и опять латунь пройдет за золото. Ведь эти люди постоянно забывают, что не все то золото, что блестит. И вот появится скоро другая книга, такая же половинчатая, как эта, и опять ее встретят криками и аплодисментами: «Давайте, давайте! Наш великий! Наш единственный!» И вот ошиб-

ка на ошибке, с одной стороны, подлости — с другой, и — пренал для науки умный человек. Эх, как это горько!»

Между тем в голове Нурке возник совсем иной план. Да, Еламан просто негодяй, но тут он прав. Во всем, во всем прав! Даурена Ержанова надо убрать, но убрать мягко, мотивированно, так, чтоб никто не мог придаться. Чтоб все было чище чистого и правильнее правильного. Надо собрать совещание и на нем решить все.

И вот на другой день в кабинете Жарикова состоялось это совещание. Открыл его Нурке.

— Итак, после моего отъезда экспедиция перешла на глубинное бурение, — сказал он. — Этот способ был предложен нашим уважаемым Дауреном Ержановичем и преподнесен как нечто новое в методе поиска. Ну, новый, конечно, он только здесь, в Саяте, а вообще-то ничего Даурен Ержанович не открыл... О такой разведке и мы тоже иногда подумывали, но в конце концов решили, что овчина не стоит выделки. Кому нужна руда с глубины полкилометра, когда в пятистах километрах, в Мысконуре, эта же медь лежит почти на поверхности? Да и вообще есть ли она? А если ее нет? Отпущенные нам деньги мы съели и теперь уж скоро не сможем не только бурить глубокие скважины, но и шурфить. Вот я и хочу спросить вас, товарищи, что же нам теперь делать? Без денег, без планов, без всякой уверенности — накануне зимы?

Жариков сидел неподвижно и внимательно слушал. Только теперь он понял, что хочет Нурке.

— Да, так что же вы все-таки предлагаете? — спросил Гогошвили.

— Вот! Это, конечно, главный вопрос. И вот мое практическое предложение. Отряды, бесплодность поисков которых стала уже очевидной, полевые работы прекращают, приступают к намеченной обработке материалов. Приготовиться к зиме. Вот все, что я могу предложить. Какое будет ваше слово, товарищ начальник?

Жариков пожал плечами.

— Да принципиальных возражений у меня не имеется. Раз меди нет, так нет. Но какие отряды вы имеете в виду, конкретно?

— Ну, в первую очередь, это касается Второго Саята, — сказал Ажимов. — Инженеру Васильеву объявляем благодарность в приказе. Он закончил поисковые работы на сезон раньше срока.

— Да, но в этом отряде, кажется, находится и Даурен

Ержанов, — осторожно сказал Жариков и поглядел на старого геолога. Тот сидел молча.

Нурке улыбался все ласковее и ласковее.

— Ну, с моим учителем всего проще, — сказал он, — любой институт предложит ему кафедру. Он должен быть доктором гонорис, без защиты диссертации. Это мы делаем. Тут я беру все на себя.

Гогошвили вскочил с места.

— Так, значит, экспедиция остается без Даурена Ержановича?

— Товарищ Гогошвили, товарищ Гогошвили, — сказал укоризненно Нурке, — ну что вы такое говорите? Из-за вашего отряда вы хотите лишить нас одного из самых светлых умов в геологии? А? Как же так можно?

И мельком взглянул на Еламана. Тот улыбался. «Молодец Нурке, даже и не ожидал! Орел», — говорил этот его взгляд.

— Назначьте Даурена Ержановича в мой отряд! Вместо меня, — крикнул Гогошвили.

— Ну, опять двадцать пять! — развел руками Нурке. — Вы как будто не слышите, что я говорю. Даурен нужен...

— И я уступаю ему свое место... — вдруг крикнул Васильев.

— Слушайте, — нахмурился Ажимов, — надо, во-первых, уметь себя вести на собрании, во-вторых, не перебивать старших и, в-третьих, не командовать. Все-таки, куда кого назначить — это мое дело, а не ваше. Если не желаете работать, подавайте заявление. Вот если за три дня отчет будет у меня на столе, можете считать себя свободными. И на этом я считаю вопрос о Даурене Ержановиче исчерпанным. На нашем собрании во всяком случае... Теперь вопрос второй...

С первых же слов Нурке Даурен опустил голову, он сидел и думал. И чем больше думал, тем ниже склонял голову. Ему было уже все ясно. Еще вчера было все ясно. Может быть, ясно даже раньше, чуть ли не с первого дня их встречи. Ажимов — негодяй. А раньше, в годы молодости, замечал ли он тогда за Нурке какие-нибудь, ну, мягко говоря, странности? Да, были, были, конечно, но он их пропускал мимо глаз и ушей, думал — ну, молодой, ну, глупый, ну, чувствует свою неполноценность, ну, мало ли что там еще! А впрочем, и к этому надо быть готовым! Измена друзей — это очень тяжело, но это еще не самое худшее. Да, да, как ни странно и ни страшно, есть вещи и постраш-

нее. И первая из этих страшных вещей — это потеря веры в себя! Да, верность себе — это главное. А Нурке... — ну что ж, скверно, больно, но он выносил и кое-что куда более скверное и болезненное. А потом, может, еще и с Нурке не все потеряно. Может, еще можно попытаться бороться за него. С ним же самим придется вести эту борьбу, но если он человек сильный, то справится. Даурен поднял голову и стал слушать. «Я считаю вопрос об Ержанове исчерпанным, на этом собрании во всяком случае», — сказал Ажимов. Что же это значит, он ожидает его к себе? С просьбой? С преклоненной головой? Раскаявшегося? Ну, этого ты не дождешься, милый. А остаться в экспедиции необходимо. Любым путем.

— Теперь другой вопрос, — продолжал Нурке. — Что делать со вторым отрядом, тут положение несколько иное...

— Пойдите, пойдите, — поднял руку Жариков. — Хотя вы считаете вопрос о Даурене Ержановиче законченным, я, как начальник экспедиции, с этим согласиться никак не могу. Кажется, и собрание считает так. Как, товарищи? — обратился он к сидящим.

— Да, да, так, так, конечно, — раздался голоса.

— И с увольнением двоих геологов я тоже никак согласиться не могу. Но это особая статья, и мы ее решим сами. А вот с Дауке... — Жариков и не заметил, как он перешел на ты. — Ну, Дауке, скажи свое веское слово, что ты молчишь, как форель? Согласен ты с нами работать или тебе правда необходимо отдохнуть, хотя профессорская кафедра дело тоже не простое? Говори прямо, что предпочитаешь?

— Я, Афанасий Семенович, не профессор, — ответил Даурен. — Это уж товарищ Ажимов из любви ко мне так меня возвысил. Я самый обыкновенный полевой геолог. И готов я работать на любых должностях — хоть топографом, хоть коллектором — куда уж поставите. Вот и все.

— Вместе с нами, со мной! — крикнул Гогошвили. Слова Ажимова об увольнении как будто совсем не дошли до его сознания. — Вы в моем отряде будете!

— Ну, товарищ Ажимов, — называя в первый раз руководителя научной части по фамилии, заключил Жариков, — ваше слово.

Нурке развел руками.

— Была бы честь предложена, — сказал он, — я предложил своему учителю столицу и пост профессора — он отказался, а здесь все принимается как-то не так. Как-то странно все здесь вы принимаете! Все будет, конечно, так,



как хочет Даурен Ержанович, только, конечно, ни о каких коллекторах и топографах говорить не приходится. Но раз руководящих постов нет — значит...

— Значит, Даурен Ержанович остается геологом в отряде Гогошвили,— подытожил Афанасий Семенович.— Горько, конечно, но!.. Ладно, товарищи! — Он встал.— И на этом собрание я считаю законченным. Расходимся!

## 9

Слух о том, что отец Бекайдара сделал все, чтоб выжить ее отца из Саята, и только потому согласился оставить его рядовым геологом, что не рискнул пойти против большинства,— эта весть дошла до Дамели дня через три. И все-таки она не все еще понимала, вернее, не все допонимала. Разве не своими глазами она видела встречу двух старых людей? Их слезы, объятия, поцелуи? И разве она не подумала тогда в первый, раз, что в словах дяди Хасена, вероятно, не все правильно, что, возможно, его личная неприязнь все перевесила и исказила? Конечно, думала. Поэтому и ее отношение к Бекайдару изменилось. Кроме того, она понимала, что осрамила своего нареченного перед доброй сотней людей. И все они смотрели, перешептывались, возмущались, высказывали разные предположения. И, верно, одно было обиднее другого. Что такое натворил этот отвергнутый и ошельмованный публично жених, думали и говорили люди. Украл, убил, подделал, ограбил, связался с другой, заболел какой-нибудь страшной позорной болезнью? И сознавая, что она виновата, Дамели первая подошла к парню и заговорила с ним.

И вдруг такая страшная, ни на что не похожая весть! «Кто-то из двух, безусловно, виноват,— думала она, но кто! Отец!.. Об этом не может быть и речи! Тогда Нурке? Он создал ту глубокую пропасть, которая пролегла между мной и его сыном? Ну, предположим, что Бекайдар ни в чем не виноват — сын за отца, действительно, не в ответе, но как я стану дочерью Нурке Ажимова? Как разговаривать-то с ним я буду? Хорошо, Бекайдар уйдет от него! Из-за меня уйдет! Но не возненавидит ли он меня после этого? Не станет ли упрекать меня за то, что я разлучила сына с отцом?! Разве я знаю, какие отношения у Нурке с сыном? Только то и знаю, что отец боготворит сына, а сын любит и уважает отца. Как же я во имя личного сча-

стья смогу различить двух самых близких людей? Моя печаль — это моя печаль, мне ее в себе и таить, и носить.

Счастье, счастье — сколько говорит это слово, но никто не знает точно, что оно значит. А ведь оно, по-видимому, как весы, — на одной чаше его лежат истина и доброта, на другой — ложь и зло. И чтоб человек был счастлив, надо, чтоб первая чаша стояла выше второй. Вот и все. А у Дамели было не так. И поэтому она лежала ночью с открытыми глазами и думала, думала.

К счастью, в школе начались занятия и девушка ушла с головой в работу. Ей просто надо было хорошенько забыть все и забыться самой. Не лучше чувствовал себя и Бекайдар. Он давно хотел поговорить с отцом, но после встречи на озере понял, что лучше этого сейчас не делать. Во-первых, он никогда не видел отца с той стороны, которая ему внезапно открылась на озере: на минуту ему тогда показалось даже, что отец невменяем, и, следовательно, говорить с ним бесполезно, что вообще, кроме криков, угроз и истерики, из разговора ничего не получится. Потом он подумал, что надо, чтоб прошло какое-то время и отец пришел в себя. Тогда он станет прежним Нурке Ажимовым, суровым, немногословным, замкнутым, но все-таки всегда справедливым и человечным. Во-вторых, и в самом споре Бекайдар чувствовал какую-то неясность. По-видимому, и отец был в чем-то прав, но и возражение Даурена в чем-то было справедливым. Медь действительно на южных участках пока не найдена, хотя на поиски ее затрачена уйма денег, но как обойти соображения о том, что явные следы присутствия меди обнаружены во многих местах Саята и что поисковая работа попросту не доведена до конца? Глубокие скважины — это совершенно новая форма работы для Саята, и, может быть, благодаря ей действительно удастся нащупать медь? А потом эти шлаки древнего человека — ведь он сам держал их в руках! А поделки из меди? Ведь он их рассматривал, вертел в руках в институте археологии. Они тоже из южных участков Саята. В общем, где правда и кто прав, — понял Бекайдар, — разобраться нелегко, и ему тем более нелегко. А тут вдруг грянуло собрание это несчастное в Саяте. Отец предложил уволить Даурена! Тут уж не вставал вопрос кто прав, кто виноват. Виноват был его отец, и это признавали все. Нет, подумал Бекайдар, объясниться необходимо и сейчас же!

И на другой день он выехал в Саят. Он понимал: ему предстоит не только разговор с отцом, но и бой за Дамели.

И первый, кого встретил в Саяте Бекайдар, был Еламан. Завхоз сидел около двери кабинета отца и читал газету. «Так вот чья машина стоит у входа»,— подумал Бекайдар. Увидев входящего Бекайдара, Еламан опустил газету и улыбнулся.

— Э, ясный сокол, Беке! Здравствуй, здравствуй, дорогой!— сказал он ласково.— Хотя первым здоровается тот, кто входит, в особенности, если он младший. Что это ты как будто не в духе, а?

И Бекайдар, которому всегда было не по себе, когда он встречался с Еламаном, хмуро пробормотал:

— Да так, нездоровится что-то.

— Что же это у тебя вдруг заболело?— с веселой насмешкой спросил Еламан.

«Вот скотина-то,— подумал Бекайдар,— еще издевается»,— и ткнул себя куда-то между животом и грудью.

— Тут вот что-то болит.

— Понятно! Сердечко ноет! Зубная боль в сердце, как некогда прекрасно выразился великий Гейне. Ничего, это не смертельно! От этого еще никто не умер! Кстати и лекарство твое у тебя под боком,— и Еламан кивнул головой на дверь. «Не финти, не финти,— говорил этот нагловатый жест,— мне же все отлично известно».

Бекайдар ничего не ответил, он только повернулся лицом к окну.

— А время для посещения ты выбрал неудачно,— продолжал Еламан,— Нурке уже машину вызвал. Сейчас уезжает.

Бекайдар снова промолчал. В нем все так и кипело. Но взгляд Еламана сверлил ему затылок, и он спросил, отворачиваясь от окна:

— А что, отец занят?

— Ничего, сейчас освободится,— успокоил его Еламан.— Слушай, да зачем тебе он нужен? Что вы сами не можете разобраться? Подойди к ней, она из школы возвращается поздно— возьми ее за ручку, поцелуй в сахарные губки и скажи: «Дамеш ты моя, Дамеш!..»

— Слушайте!— Неизвестно, что Бекайдар сказал бы или сделал, но в эту минуту дверь кабинета отворилась, и Ажимов, провожая посетителей, вышел из кабинета.

— О! Здорово, дорогой,— сказал он радостно, увидев сына,— входи, входи! Осунулся ты, похудел! Скулы стали, как у волка!— и он слегка обнял Бекайдара за плечи и подтолкнул в кабинет.

— Садись, дорогой,— сказал он, сам усаживаясь,— в ногах правды нет, так говорили старики.

Но Бекайдар продолжал стоять.

— Ты по делу или так, по дороге? — спросил Ажимов, хмурясь и перебирая на столе какие-то бумаги. Он не хотел показывать, что заметил настроение сына и оно ему не понравилось.— Только быстренько, я очень тороплюсь.

— Раз торопишься — лучше не начинать,— сказал Бекайдар.— Это долгий разговор.

— Ах, как вы все любите долгие разговоры! — покачал головой Нурке.— А вот Дамели с тобой поговорила очень коротко. Ну, на долгий разговор у меня, уж извини,— Нурке потряс какими-то планами и кальками,— времени сейчас нет. Надо проехать по партиям и посмотреть, что они там натворили без меня. Так что придется нам...

— Мой разговор важнее твоей поездки,— сказал Бекайдар, глядя отцу прямо в глаза.

— Это для тебя, дорогой, самое важное на свете — твоя неповторимая личность,— нравоучительно сказал Нурке,— а я руководитель экспедиции. Так что времени на то, чтоб разводить с тобой слякоть, у меня — повторяю — сейчас совершенно нет.

— Слякоть? — гневно переспросил Бекайдар.

— Слякоть, слякоть, дорогой,— подтвердил Нурке.— И главное: я уже знаю, что к чему. Начинаешь ты с дочки, кончаешь ее отцом. Но имей в виду: семь раз отмерь, а восьмой отрежь. Обвинять собственного отца — дело нелегкое, скажу тебе по совести. Ладно! Поговорим обо всем на днях, а теперь давай руку — и всего хорошего! Еду!

Бекайдар молча повернулся и вышел из кабинета. Нурке проводил его долгим взглядом.

— Да, камень! Камень! Ударишь — искры полетят и паленым запахнет! — сказал он любовно и вздохнул.— Беу ты мой, Беке, Бекентай, ребенок мой, ну откуда тебе — при твоей глупости и необузданности — понимать, как тебя любит твой нехороший отец?!

Он вышел из кабинета и крикнул:

— Машину!

Через несколько минут его неутомимый газик уже мчался по широкой степи к отрядам.

...Но и сын чувствовал себя не лучше, чем отец. Из того, что разговор не состоялся, он сделал вывод, что отцу есть что скрывать, и поэтому вряд ли он когда-нибудь добьется прямого и честного ответа. «Отец, отец,— думал он

не то вслух, не то про себя,— ты же любишь меня, ты руку готов за меня отдать на отсечение, так почему ж ты меня так мучаешь? Почему не хочешь поговорить со мной откровенно — ведь это так необходимо и для тебя, и для меня. Неужели ты в самом деле сделал что-то такое, чего нельзя не только простить, но даже и высказать?.. Не верю, не хочу верить я в это!»

И он вспомнил: когда он был мальшом в коротких штанишках, отец всюду водил его с собой за руку — и в детский парк, и в детский театр, и в зверинец. Как он покупал ему заводные автомобили, смешных мишек, которые рычали, если их повалишь набок, оловянных солдатиков, а однажды, в день рождения, принес аквариум с золотыми рыбками и чудесными золотисто-зелеными водорослями. И никогда отец не говорил, что он занят, что ему не до него. До сих пор стоит у него в глазах такое: отец сидит в кабинете и пишет, а он играет рядом на диване; или отец рассматривает образцы пород, и он вертится тут же под ногами; или отец принимает гостей, а он тоже гость, тоже сидит в своем кресле, пьет чай и ест торт и смеется наравне со всеми. Словом, детство у Бекайдара было действительно счастливым и светлым. Он так никогда и не почувствовал, что ему не хватает матери. А сейчас какая-то темная хищная тень нависла и над ним, и над его любовью, и даже над всей жизнью его, и все это было так несовместимо с тем образом отца, который он себе создал, что парню вдруг показалось: он по-настоящему сходит с ума. Может быть, и действительно он был близок к этому.

И надо же такому случиться, что в этот день судьба послала ему еще испытание: около школы ему повстречалась Дамели. Она шла, думая о чем-то своем. Он окликнул ее.

Она подняла голову, и он увидел, как ее лицо вдруг вспыхнуло от радости. Они бросились друг к другу и заговорили так, как будто между ними ничего не произошло. Руку у него Дамели так и не отобрала, и он благодарно взглянул на нее.

— Ты давно тут? — спросила она.

— Да нет, только что приехал.

Ее ладонь, лежавшая на его ладони, слегка дрожала, была холодной и влажной, и это ощущение покорности и робости все время волновало Бекайдара.

— Дамели,— сказал он,— слушай, я тебе верю, как самому себе. Я знаю, ты не солжешь. Ведь мы с тобой действ-

вительно оба, как из одного куска выточены. Ответ же мне, что случилось на свадьбе? Почему ты ушла?

Она тихонько отобрала от него руку.

— Ну в чем дело, дорогая? Ты же меня любила! А посмотри: от меня одна тень осталась.

Она вдруг повернула к нему лицо, и он увидел, что она плачет.

— А ты на меня хорошенько посмотри! Что? Можно меня узнать? Эх, Беке, Беке. Ты как-то все забываешь, что я дочь Даурена.

— Ну и что же из этого? — воскликнул он.

— А вот то, — сказала она, — то самое, что наши отцы были друзьями.

— Ну, я знаю это. Так что же?

— Какой-то негодяй распустил слух, что мой отец добровольно сдался в плен.

— Я слышал! Но мой отец никогда этому не верил.

— Ах, что из этого! — горестно воскликнула девушка. — Что из этого, что он не верил. Вера-то без дел мертва!

— Про какие дела ты говоришь? Что мой отец должен был сделать и не сделал? Говори прямо, пожалуйста. — Голос Бекайдара звучал даже резковато.

Девушка вдруг остановилась.

— Слушай, ты ведь хочешь, чтобы я была счастлива, да? — спросила она. — Чтоб я была верной женой? Верной матерью, верной подругой! Так вот, мне трудно было бы жить под одной крышей с человеком, который изменил и пошел на компромисс с совестью. Больше я тебе ничего не скажу. Хоть убей, не скажу! Все остальное узнавай сам, — и девушка резко пошла вперед. Но Бекайдар догнал ее и взял под руку. Некоторое время они шли молча.

— Так, — сказал наконец Бекайдар, — значит, дело в моем отце. Но говорить ты ничего не хочешь! Хорошо — узнаю сам! Если он действительно виноват в чем-то ужасном... но ведь я люблю его! Люблю больше жизни! — вырвалось у него вдруг криком.

Дамели остановилась и посмотрела на Бекайдара.

— Теперь ты, может быть, хоть отчасти поймешь, отчего я ушла со свадьбы. Я боялась. Боялась за тебя.

— Боялась? Ну хоть за это тебе спасибо, — горестно улыбнулся Бекайдар. — А что за меня бояться? Не утоплюсь, не повешусь! А зло должно быть отомщено.

— Нет, нет, — внезапно испугалась чего-то девушка, — ты помнишь слова одного из героев фильма «Девять дней

одного года?». «Коммунизм,— говорит он,— будет построен только добрыми людьми».

Бекайдар покачал головой.

— Не помню. Не помню, кто это говорит и по какому поводу. А вот из «Короля Лира» помню: «Нужна мне твердость, чтоб суметь простить»,— он отпустил ее руку.— Ладно, до свидания, Дамели! Сейчас мне надо остаться одному. Когда решу что-нибудь, я найду тебя. Прощай, дорогая. Помнишь, как в Гамлете: «Прощай, прощай и помни обо мне». Помни обо мне, пожалуйста. Прощай.

И несмотря на горестность минуты, Дамели не могла не улыбнуться. Она знала — без Шекспира Бекайдар ни на шаг.

А Бекайдар еще долго тоскливо ходил по поселку. И ничто другое, кроме его горестей, не занимало его. И чтобы несколько рассеяться, он решил съездить к Даурену. Да, давненько он не видел старого геолога, надо было поглядеться, поговорить...

Отряд Гогошвили расположился на месте древнего караванного пути, много сотен лет раньше по этим перевалам казахи гнали на юг стада из Акмолинска. Этими же дорогами шли и первые переселенцы. Место, выбранное для лагеря, было удобное, отлогое, и лучшего Гогошвили и найти бы не смог.

А между тем наступила уже осень; по утрам и вечерам дули холодные ветры, но дни по-прежнему стояли теплые и ясные. Кругом расстилалась холмистая степь, поросшая скудной растительностью и кое-где уже затянутая песками. Невысокие сопки по-прежнему были покрыты зарослями особой черно-желтой полыни, в которую не дай бог попасть неосторожному или неопытному путнику — сразу брюки его становились желтыми, руки, которыми он их отряхивал, мертвенно желтыми, а рубаша или пиджак, если он их касался, покрывались тоже желтыми, плохо очищаемыми пятнами. Над этими зарослями всегда стоял ни с чем не сравнимый горьковатый, пряный запах. Запах степи. Рос степной тростник — высокий, светлый, весь ушедший в стебель, а поодаль от него стояла странная невысокая трава, похожая на кустарник, — ее зовут кокпек — и другая трава — баялыш, похожая одновременно на кустарник и на растрепавшиеся мотки черной тонкой проволоки; ею казахи топят зимой печи.

Одинокий путник едет по этой степи.

Путь долог и скучен, едешь, едешь и не на чем остано-

виться глазу. Все настолько неотличимо друг от друга, что кажется — ты и не трогался с места: сопки, темно-серые заросли полыни, сухие пустотелые тростники. И ни бабочки, ни зверя, ни птицы. Серо, пусто, безлюдно! Как, кажется, тут не сбиться с пути, не потерять дорогу — да и где она, эта дорога? Но путник едет и едет ему одному зримой тропой, смотрит на серую степь, на голубое небо, кое-где покрытое легкими барашками, напевает что-то под нос и, кажется, он безраздельно отдался этой тишине, пустоте и безлюдно. Очевидно, этот парень геолог, а для геолога все полно невидимых примет. Он везде найдет путь: и в тайге, и в пустыне. Великое это слово — геолог. Если задуматься на минуту, то даже в наше время, когда покорили космос и измерена глубина океанов, не много найдется таких замечательных профессий, как геолог-разведчик. Еще мало покорить океан, или взять самую высокую в мире вершину, мало даже взлететь в подлунное пространство, надо еще суметь хорошо разобраться в своем доме, в кладовых и закромах нашей планеты. А сделать это не легче, чем достичь Луны. Самый мощный бур проникает в глубь земли пока не больше, чем на десять километров, а дальше что? За пределами Мантии, которой окутана наша земля? Какие богатства хранятся там? Мы исчисляем запасы руд, нефти, каменного угля на миллиарды тонн и на долгие годы выработки, но это опять-таки относится только к Мантии, вернее, к самым верхним краям ее, к каким-нибудь сотням метров, а дальше, в глубину на тысячи километров — что? Адский котел там? Залежи алмазно-твердых пород? Хромоникелевое ядро? Доисторический мир Жюль-Верна и Обручева? Кто может ответить на эти вопросы? Мы топчемся только на крыше нашего дома и не смеем заглянуть в окошко чердака! Словом, Бекайдар очень любил свою беспокойную профессию и не променял бы ее ни на какую другую.

...Он вдруг очнулся от своих дум, ударил коня и пустил его рысью. Ему не терпелось увидеть Дауке — Даурена Ержанова.

А Даурен Ержанов, работая рядовым геологом в отряде Гогошвили, чувствовал себя самым счастливым человеком на свете: ведь он был на своем месте и делал свою работу. А что может быть для человека более важного, чем делать свое собственное дело. К тому же и Дамели он мог видеть раза три в месяц, а разве это не великое счастье?

С рассвета дотемна с рюкзаком за плечами лазил Дау-



рен по скалам. Он искал молибден, вольфрам, но не был бы особенно удивлен, если бы встретил золотоносные породы. И еще он искал остатки древних энеолитических поселений. Ведь именно в этот период человек научился добывать медь, но больше всего ему хотелось наткнуться на шлаки, подобные тем, которые раз привез из археологического музея Бекайдар. Даже в норы лис, корсаков и сурков он залезал особым, специально сконструированным им для этой цели совком. Он был бодр, весел, не знал усталости и только сильно скучал по Мейраму: в школе начались занятия, а мальчик кончал десятилетку, и ему нельзя было дольше оставаться с экспедицией. Он уехал с ценной коллекцией образцов пород и окаменелостей. Только одно это и утешало Мейрама (вот уж раскроют рты ребята, когда он выложит перед ними свое богатство!), а то он несколько раз готов был заплакать при прощании — так ему не хотелось покидать Дауке.

Когда Бекайдар подъехал к стоянке, то сразу увидел и Даурена. Его палатка была крайняя. Старик сидел на корточках и рассматривал какие-то образцы. «Ну как? К сердцу прижмет или к черту пошлет после этого собрания?» — подумал Бекайдар и крикнул:

— Дауке!

Старик посмотрел, и вдруг лицо его сразу просияло. Он положил образцы и пошел к спешившемуся всаднику.

— Бекен? Откуда ты, мой свет? — спросил он, подходя и обнимая его.

— Из Саята, Дауке-ага, — ответил Бекайдар.

— По делу или так, повидаться ездил?

— Да к отцу поехал. Не застал его. То есть застал, да был он уже в машине. Собирался ехать по отрядам. Так обидно. Поговорить не удалось!

— Ну ничего, еще увидите! Так он и к нам заедет?

— Не знаю, не спрашивал.

— Да уж вряд ли нас минет, — усмехнулся старый геолог и закричал: — Саша, Сашенька, к нам начальство едет, выговора нам везет, приготовь образцы! Особенно те, что я вчера принес!

— Слышу, слышу, будет сделано, Даурен Ержанович, — раздался из палатки чистый девичий голос, и показалась сама Сашенька, высокая, светловолосая и ясноглазая девушка лет восемнадцати. Она поздоровалась с Бекайдаром кивком головы и сразу же скрылась.

Даурен проводил ее любящим отцовским взглядом и сказал:

— Еще институт не кончила. Горит при каждом слове, но девушка ничего себе, старательная. Толк, кажется, выйдет. Ладно, треножь своего коня и проходи. Я пока кое-что приготовлю.

Когда через пять минут Бекайдар вошел в палатку, Даурен уже успел накрыть белой скатертью небольшой походный столик и разложить на нем баурсаки, чужук, казы и прочую нехитрую снедь; ее старый геолог всегда имел наготове для гостей. В углу шумел примус.

— Садись, сейчас чай будем пить,— сказал Даурен.— Каким же ветром тебя к нам-то занесло, дорогой?

Бекайдар смутился.

— Да просто так! Хотел с вами поздороваться. Ну и узнать, как себя чувствуете? А тут и еще один вопрос подвернулся. Думаю, может, знаете?

— Спрашивай, спрашивай, дорогой. Если что знаю, охотно расскажу все. Постой-ка, кажется, чай уже закипел.

Он пошел в угол, поглядел на чайник и опять возвратился на свое место и спросил:

— Ну так что ты хотел бы знать, дорогой?

— Да вот про сакские курганы хотел спросить. Прочел я одну статью в «Вестнике Академии наук», но, наверно, там она не первая, так что ясности большой я от нее не получил, вот я и собрался к вам... Вы ведь, я знаю, интересуетесь такими вещами.

Лицо старого геолога просияло от удовольствия. Археология была его страстью. Он увлекся ею тогда, когда еще молодым ходил по степи и осматривал каждый бугорок, стараясь найти в нем хоть какие-то следы древних медеплавлен. Он даже небольшие раскопки производил на свой страх и риск, когда ему казалось, что он наткнулся на что-то достойное изучения.

— Так ты интересуешься работами профессора Руденко? — спросил он.— Запоздал, брат. Лет на десять запоздал! Лучше всего я тебя отошлю к его книжке «Горноалтайские скифы»: из нее ты узнаешь все подробно. Там и иллюстрации отличные есть, и, коротко, дело в том, что на Алтае впервые удалось обнаружить трупы скифских родовых вождей — то есть сакков Геродота, а иначе говоря, наших с тобой предков. Понимаешь, нетленные трупы их, а не скелеты! Две тысячи лет они пролежали в вечной мерзлоте, как в холодильнике. Поэтому сохранилось все!

Буквально все. Даже лошади! Целая конюшня этих лошадей! Надо же на чем-то ездить на том свете покойнику. А на трунах уделела даже татуировка. Сохранился и так называемый погребальный инвентарь. Не весь, конечно! Ценные вещи были разграблены еще в древности, но и то, что досталось археологам, является находкой мирового значения. Очень много предметов, украшенных скифским орнаментом. Этот, так называемый звериный стиль, о происхождении которого до сих пор идут споры. Так вот, находка Руденко пролила свет и на эту загадку. Ну, а самое важное другое: находка эта подтвердила абсолютную правдивость древнейшего из известных нам историков, отца истории Геродота. Он, правда, писал только о черноморских, так называемых «царственных скифах», но алтайские находки были бы совершенно нам непонятны, если бы не сохранилось то место из истории Геродота, где он описывает погребенье племенного вождя. Совпало все до последних мелочей. Оказывается, на дальнем Алтае скифы погребали своих покойников точно так же, как их родичи в черноморских степях. А это, в свою очередь, говорит об общности всех племенных групп этого народа — от Черного моря до Алтайских гор. Понимаешь? — Даурен вошел в раж и говорил теперь складно, неторопливо, тем особенным академическим голосом, которым, наверно, читал лекции.

«Да, студенты, конечно, должны в нем души не чаять, — подумал Бекайдар, — он им на их любые вопросы готов ответить. Вот отец-то не такой, о геологии спрашивай его сколько угодно — все расскажет и все покажет, а об ином он и говорить не захочет. Да и меня учил тоже только правилам поведения. Как вести себя в обществе, как одеваться, как обращаться к старшему, как к младшему, как к сверстникам. Нет, ученые должны быть именно такими, как Даурен. А мой отец... Ну, конечно, он большой геолог, но этим все и кончается. Разные они люди, очень разные. Отсюда их неприязнь друг к другу».

В это время за палаткой послышался шум голосов, и затем девичий голос сказал: «Дома, дома, заходите, пожалуйста». И в палатку вошел сначала старый счетовод, а затем Жариков. Даурен встал и с неясным восклицанием пошел к ним навстречу.

— Ну, какие вы молодцы, что догадались приехать! — сказал он. — Вот сегодня у меня полный праздник.

— А у нас вечные будни, — сказал Никанор Григорьевич и заключил старика в свои объятия. — Как ты уехал,

старик, словно свет погас. Все ходят унылые, скучные, не к кому на огонек забежать, не с кем душу отвести. Я — поверишь ли? — вчера ведомость трижды переписывал. Ну, Афанасий Семенович зашел, поглядел на меня да и говорит: «Вот что, дорогой! Я вижу, у тебя все равно все из рук валится. Берем сейчас мой вилик, две бутылки водки в портфель и катим к Даурену Ержановичу. Так, верно, лучше будет». Вот мы и прикатили. Примешь?

— Примет, примет, — засмеялся Жариков, — ты видишь: и у него на глазах слезы. Он тоже по нас соскучился! Ну, здравствуй, здравствуй, старина, ты еще нас не совсем забыл? Ну вижу, вижу, что не забыл! Ладно, друзья, чем здесь, в палатке, сидеть да чаем пробавляться, давайте выйдем на простор. Ведь последние ясные дни стоят, потом и не погуляешь!

Вчетвером они вышли из палатки и пошли по степи. Закурили. Заговорили о работе, о последнем собрании и о том, что Нурке Ажимов сердится, а на что сердится — понять трудно, ведь он сам начинал эти работы — так кого же еще винить? Но об этом говорили сдержанно, не договаривая до конца. Скорее, не говорили, а намекали. Бекайдар чувствовал себя очень неловко. Ведь он понимал, почему люди так сдержаны, а разговоры их столь уклончивы. И вдруг Жариков воскликнул:

— Э, да к нам еще кто-то едет. Смотрите-ка, смотрите, прямо, как в ковбойском фильме.

Действительно, два всадника скакали к ним во весь опор. Один впереди, другой сзади. У первого всадника была легкая и какая-то очень вольная посадка — он словно играл с конем.

— Гогошвили! — засмеялся Ержанов.

— Он самый! — Да горца за десять верст распознаешь, — подтвердил Афанасий Семенович. — Как он сидит подлец!

— А сзади Васильев, — сказал счетовод, — тоже научил ся держаться в седле. Но до Гогошвили ему все-таки да леко.

— Подождем, — сказал Даурен, и все остановились.

— Ну, друзья, вот что значит, метишь в ворону, а попадешь в корову, — закричал Гогошвили, подскакав и осадив лошадь, — вы смотрите-ка, что мы привезли: целогкинка! Как моя лошадь выдержала — не знаю, ведь в не пуда два не меньше.

— Зато в тебе вес мухи, — засмеялся Жариков.

Действительно, целый небольшой киик был приторочен к седлу Гогошвили. Прodelали это несомненно умелые руки — киика привязали с обеих сторон так, что голова и ноги приходились под живот лошади.

— Э, брат, хорошо, что не попал инспектор, — сказал Жариков, подходя и рассматривая добычу, — за это, знаешь, вашему брату что полагается?

— Да ведь случайно вышло.

— Ты мне сказки-то не рассказывай, — отмахнулся Жариков. — Знаем мы эти случайности! У меня так же бойцы то козу подстрелят, то парочку фазанов принесут, и все случайно. Товарищ Васильев, от этого кавказского человека всего можно ожидать, а вот от вас я такого не ожидал.

— Да нет, правда, правда, — подтвердил Васильев, рассмеявшись и слезая с седла. — Привет, дорские товарищи! Даурен Ержанович, давайте я вас обниму! Тут что вышло? Мы возвращались с дальних шурфов и вдруг видим: мчится стайка кииков, а за ними два матерых волка бегут! И так, не торопясь, сволочи, бегут, вразвалочку. Сразу видно, что в засаду их гонят. А там небось еще штук пять этих зверей сидит. Я знаю волчьи повадки. Сам в степях вырос. Ну, я и говорю Гогошвили: «Пали в волков». Но разве на всем ходу хорошо прицелишься? Вот и вышло: стреляли в разбойника, а попали в безвинную тварь.

— Ну, хоть она безвинная, да вкусная, — сказал Даурен, осматривая киика. — А волки, значит, целы остались?

— Убежали, сволочи, — выругался Гогошвили.

— Сволочи чаще всего убегают вовремя, а вот невинные-то... — покачал головой Даурен. — Ну, ладно, снимайте вашу жертву и идем ко мне. Я кое-что вам хочу показать. А из этого отличный шашлык выйдет. Что ж, загуляем на просторе, друзья, раз уж день такой.

Через пять минут киик был в походной кухне, а гости сидели в палатке и рассматривали образцы пород.

— Да, интересно, очень интересно, — сказал Гогошвили, вертя в руках то серые, то зеленоватые, то бурые камни. — Ну, конечно, все это надо в Алма-Ату отослать. Здесь, в нашей лаборатории, мы можем провести только самые примитивные полевые анализы, но на глаз сразу могу сказать: стоящие образцы. Недаром вы, Дауке, побродили по горам.

Гогошвили, несмотря на свою молодость, был уже опытным геологом, а главное — у него были здорово развиты

воображение и интуиция. За это его Даурен уважал особенно.

— Так вы что, так и думаете здесь оставлять Даурена Ержановича?— вдруг возмутился молчавший до сих пор Никанор Григорьевич— Мы ведь и приехали узнать, как тебе тут живется, Дауке. Смотри, если что не так — мы такой шум поднимем. Я хоть молчалив, молчалив, но за тебя любому глотку порву.

— А я давно уже жду к себе Даурена Ержановича,— сказал Васильев.

— Да что вы лезете с советами!— вдруг закричал Гогошвили и бросил камень, который он вертел в руках, на стол.— Что, он сам не знает, что делать, в какой отряд ему ехать? Что, он глупее всех нас, что ли?

Жариков засмеялся.

— Не бойся, Гогошвили, никто у тебя не собирается отнимать Даурена. Твой, твой он будет! Не пустим мы его к Васильеву!

А Даурен слушал и думал:

«Вот люди! Хорошие вы, в сущности, создания, а по чему-то редко стоите друг за друга. Поэтому и ходит в мире несправедливость. А если бы все мы пошли на нее скотом, от нее бы, проклятой, и следа бы не осталось. А вот такие, как Ажимов...»

И тут как раз Нурке Ажимов вместе с Ведерниковы вошли в палатку.

«Значит, и Еламаи тут,— остро подумал Даурен,— они всегда ездят вместе. Значит, верно я почувствовал — первый визит главного геолога будет ко мне».

— Здравствуйте, Дауке,— сказал Ведерников, робко кланяясь,— вот подскочил к вам на мотоцикле.

— Да уж это понятно,— неприятно улыбнулся Нурке,— куда конь с копытом, туда и рак с клешней: куда начальник — туда и комсорг. Здравствуйте, друзья,— да вас тут, я вижу, настоящий той готовится, проходил мимо столовой, заглянул, а там кника разделяют. В чем дело спрашиваю, отчего «пальба, и крик, и эскадра на реке»? Говорят: Даурен Ержанович велел. Так верно — той?

Все молчали: всем вдруг стало отчего-то трудно дышать всем казалось, что их накрыли за каким-то чуть ли не преступным делом. И тут вдруг заговорил обычно молчавший счетовод.

— Тоя нет, товарищ научный руководитель. А ки под пулю подвернулся случайно («Да-да-да»,— проинчес

покачал головой Нурке), совершенно, совершенно случайно! Стреляли в волка, который бежал за ним, а попали в него! Ну, а собрались мы затем, чтоб повидаться с Дауке и справиться о его здоровье.

— Так что, вы разве заболели, Даурен Ержанович? — обеспокоился Ажимов. — Ай-ай-ай! И наверно, все после того купанья? Вот моему сыну тоже что-то неможется. Лихорадит его! Бредит парень! Простудился, наверно! Так вы верно больны, Дауке? А что же не лежите?

— Чтоб справиться о здоровье друга — не обязательно, чтоб друг болел. Вы так хорошо знаете русские обычаи и пословицы, так что даже странно как-то... — не смутился Никанор Григорьевич.

— Понятно! И спасибо за консультацию насчет русских обычаев, — слегка поклонился Ажимов.

— А вам что, не нравится, что мы здесь? — вдруг очень прямо спросил Жариков.

— Ой, боже мой, — прижал руки к груди Ажимов. — Почему мне что-то должно не нравиться? Да собирайтесь у кого угодно и когда угодно. Я так же, как вы, уважаю Даурена Ержановича! Он мой учитель, я посвятил ему свою книгу...

— И отослали его сюда — за сто верст от нас и за сорок верст от себя! — вдруг окончательно осмелел старый счетовод. — Знаете, это как-то даже нелогично. Все стремятся к нему, все хотят получить у него совет, а вы, который больше всех знаете, сколько он стоит, угоняете его бог знает куда.

— А что, я его угнал на край света? Да? Странные у вас, друзья, представления о профессии геолога, странные! — усмехнулся Ажимов. — Ну, надеюсь, что хоть Даурен Ержанович иного мнения? — он поглядел на Ержанова, но тот молчал и смотрел на свои образцы. Тогда Ажимов резко повернулся к Гогошвили.

— Ну, так как день сегодня все-таки рабочий — суббота, я бы все-таки попросил вас познакомить меня с работой вашего отряда.

— Всегда готов, — улыбнулся Гогошвили, показывая сверкающие зубы. — Прикажете начать?

— Да, пожалуйста! Только выйдем отсюда. Не будем мешать веселью наших друзей. Афанасий Семенович, а вы не желаете пойти с нами, ведь это тоже вас касается.

— Да нет, пожалуй, не стоит, — вежливо ответил Жа-

риков.— Я ознакомился довольно подробно со всей отчетностью отряда.

— Это что? Даурен Ержанович ознакомил?— спросил насмешливо Ажимов.

— Да нет, мне сам товарищ Гогошвили доложил. Так что я в курсе!

...Через час, мчась назад по степи, Ажимов сказал Еламану:

— Ну, кажется, на этот раз ты прав! Во всем прав! Если бы ты видел, как они перепугались, когда я вошел в палатку. И лица у них были, как у заговорщиков! А самое главное, и мой сын сидел там за столом. И его они, видно, чем-то купили.

И Еламан спокойно, не поворачиваясь, ответил:

— Да, это и был действительно штаб заговорщиков, Нурке. А собрались они для того, чтобы решить, как действовать против вас.

Серая сухая степь мчалась мимо них. И снова ни куста, ни тени, ни бабочки.

— Останови машину, я пересею к тебе, поговорим,— сказал Ажимов.— Я вижу, что надо что-то действительно предпринять и немедленно.

## 10

Большой праздник в поселке Саят. Сегодня все его население справляет шестидесятилетие Даурена Ержанова — славнейшего и старейшего геолога Казахстана. Мысль об юбилее возникла совершенно случайно во время одной из очередных бесед Даурена. Тот говорил, говорил о несчетных богатствах этого края да и обронил ненароком: «Жаль, что мне через десять дней стукнет шестьдесят, а то бы я...»

Вот к этим-то его словам и прицепилась молодежь. Когда он встал со стула, его сразу обступили со всех сторон.

— Так что же, справим ваш юбилей, Даурен Ержанович?— сказал кто-то из самых юных и пылких.

И сразу вокруг все зашумело.

— Ну справим, справим, конечно, справим, что за разговор.

— Да как еще справим-то!

— Вот выпьем-то, ребята!

— Спрашиваешь!

— Ого-го-го!

Но тут старик сказал сухо и четко:



— Никакого юбилея не будет. И я прошу вас, товарищи, ничего не выдумывать. Во имя хорошего отношения ко мне прошу.

И в наступившей тишине объяснил:

— Ничего, друзья мои, радостного в моих шестидесяти годах нет. Доживете — сами поймете. Когда Эйнштейна друзья уговаривали сходить на пьесу Бертольда Брехта — есть такой хороший немецкий драматург, — он ответил: «У меня, друзья, ходить по театрам уже времени нет, и когда вам исполнится шестьдесят — вы это поймете». Вот так-то, дорогие мои юноши и девушки! Шестьдесят лет — это вам не тридцать.

И тут кто-то воскликнул:

— Именно, шестьдесят лет не тридцать! Второй раз уже не встретишь! Так что, хотите или не хотите, а через десять дней мы гульнем на славу.

Старый геолог сердито махнул рукой и ушел к себе.

Торжество наметили провести в Красном уголке и в смежных с ним комнатах. Составили столы, накрыли их белейшими скатертями, расставили тарелки, рюмки, стаканы, граненые и тонкостенные, — таких оказалось очень немного, а рядом поставили алюминиевые фляжки, эмалированные кружки и еще что-то, уже совершенно не праздничное. Зато закусок и бутылок было точно много — стояли коньяк, московская, столичная, и петровская старка. На видном месте сверкало серебряными горлышками пять бутылок шампанского. Угощение приготовили тут же, старался экспедиционный повар, поэтому от блюд валил пар, они шипели, дышали жаром, от них шел пленительный запах перца, лука, чеснока и других острых специй. Среди столов и табуреток — стульев нет — снуют озабоченные организаторы. То и дело то один, то другой залетает в кухню, и повар, маленький худой мужчина с красным распятым лицом, свирепо машет на них ножом и кричит:

— Все будет сделано, все будет сделано. За ради бога молю — не мельтеши ты под ногами! Дай работать! За ради бога прошу! Ну куда, куда к котлу полез! Ах ты, господи! Вот люди!

Дамели в кухню не входит: она распоряжается сервировкой. На ней шелковое небесно-голубое платье. Две тугие косы, отливающие черным смоляным блеском, свисают чуть не до пола. Около окна стоит Бекайдар и молитвенно смотрит на нее. На нем шелковая сорочка, тщательно выглаженный черный костюм, цветастый галстук.

А рядом, в комнате, где помещается убогая экспедиционная передвижка и лежат ящики, набитые образцами, сидят старики: Даурен, Жариков, Нурке, Еламан. На виновнике торжества светлый костюм с фиолетовой искоркой, белая сорочка и строгий черный бантик-бабочка. Так он больше похож на старого артиста, чем на геолога. А руки безостановочно бегают: хватают то блокнот, то карандаш, что-то чертят, жестикулируют.

— Между прочим, я остался еще потому, что там была очень хорошая рентгенометрическая лаборатория,— говорит Даурен.— Так что я, наконец, мог заняться рентгеноструктурным анализом, расшифровкой кристаллической постройки по методу профессора Болдырева. Замечательная это штука — рентгеноскопия! Воочию видишь кристаллическую решетку вещества. И вот тут мне в голову пришла идея,— и карандаш его опять побежал по бумаге.— Вот, предположим, кварц, и в нем заключено золото... Тогда картина будет, примерно, такая... вот смотрите.

Нурке улыбнулся и покачал головой.

— Ах, Дауке-ай, Дауке-ай,— произнес он каким-то странным тоном, не то соболезующим, не то насмешливым,— вы совсем, ну ни капельки не изменились за эти годы. Все такой же страстный, нетерпеливый и так же,— он вздохнул,— ничего, ну ничегошеньки не принимаете во внимание.

Даурен в изумлении поглядел на него и хотел что-то сказать, но в комнату влетела Дамели. Она вся так и свелась от радости.

— Папа, отец идет!— крикнула она, и сразу же в окне промелькнула костлявая, похожая чем-то на хищную птицу фигура Хасена. Он сегодня выглядел — кто его знал — совершенным франтом. На нем был хотя старый, но образцово вычищенный и выутюженный черный бостонский костюм, на голове академическая черная шапочка, черные, доведенные до блеска, но, конечно, выдавшие всякие виды штиблеты. Ко всему этому — белоснежный воротник, фрачная рубашка и красный в крапинку галстук! «На свадьбу-то ты пришел не так,— зло подумал Ажимов,— и опять посмотрел в окно: не идет, а бежит, скотиня, и лицо все время кривится — не поймешь — плачет он или улыбается».

Даурен вскочил и бросился из комнаты.

— Ну, послал бог дурачку праздничек,— зло усмехнулся Еламан.

— А ну!— рявкнул вдруг Ажимов.— Чем тут сидеть и болтать глупости, иди помоги Бекайдару.

Когда на Еламана кричали, он как бы растворялся в воздухе, так и сейчас никто не заметил, как он исчез.

Ажимов вышел из комнаты, он увидел: стоят в красном уголке двое мужчин, обнимаются и плачут. Он хмуро и молча прошел мимо.

— Да милый ты мой, да соколик ты мой!— причитал Хасен.— Я ведь совсем недавно узнал, что ты приехал. Хотел сразу же лететь к тебе, да подумал — нет! Сердце не выдержит. Я ведь и не чаял тебя видеть живым. Да и сейчас не верю, точно ли это ты!

— Я! Я! Я!— отвечал Даурен, тоже плача и не вытирая слез.— Э, брат, я самый! И видишь — живой и невредимый. Ну дай же, дай же и мне посмотреть на тебя.

— Аллах, аллах! Значит, и на самом деле есть ты, аллах, если мог послать мне такую радость,— плакал старый охотник.

И вдруг чистый девичий голос сзади выкрикнул:

— Вы обнимаетесь, а я-то что? Вы меня-то забыли, отцы мои!

И тут Хасен вдруг отпустил Даурена, кинулся к Дамели и заключил ее в крепкие медвежьи объятия.

— Айналайын, зрачок мой! Только и была у меня одна мечта: вручить тебя Даурену. Дауке, на! Бери! Вот тебе память о Кунсары.

Вокруг Даурена, дочери и брата собрались уже люди, и некоторые тоже, особенно девушки, вытирали глаза. В это время через круг пробился Жариков.

— Друзья, друзья,— сказал он, наклоняясь и обнимая всех троих, — вам всем троим досталось редкое счастье: встретиться через двадцать лет. Скольким моим товарищам не довелось дожить до этого дня! Ну, такую встречу надо достойно отметить. Прошу к столу. Дамели, командуй парадом — веди своих отцов на их места!

Первый гост провозгласил Жариков, он сказал:

— Товарищи, сегодня нашему уважаемому другу и самому старшему из членов нашего коллектива исполнилось шестьдесят лет. Только три или четыре человека здесь присутствующих знают его больше тех пяти-шести месяцев, которые он проработал с нами, но, товарищи, и этих месяцев оказалось достаточно, чтобы мы полюбили его всем сердцем.

— Правильно, кацо!—крикнул Гогошвили.

— А полюбили мы его,— продолжал Афанасий Семенович,— за его большое сердце и золотые руки. За то, что время, кажется, не коснулось нашего юбиляра. Пять месяцев — ничтожный срок, но за этот ничтожный срок он сумел стать для одних из нас братом, для других отцом, для третьих советчиком, и для всех нас без исключения — другом. И поэтому я думаю, что не ошибусь, если скажу от имени всех присутствующих: «Дорогой Даурен Ержанович! Друг наш хороший, мы все очень любим тебя!»

— Правильно, правильно!— зашумели вокруг.

— Итак, друзья, этот тост я поднимаю за первые шестьдесят лет жизни Даурена Ержановича, во-первых, а во-вторых, за те шестьдесят, которые за ними последуют,— итак, живите сто двадцать лет, дорогой Даурен Ержанович. Дай я тебя обниму, мой дорогой друг.

Зазвенели бокалы, выстрельнули все пять бутылок шампанского. Тосты следовали один за другим, сразу делалось весело и шумно, образовались группы, кружочки, компании. Через полчаса кто-то запел песню и полстола присоединилось к ней, а еще через пять минут окна дребезжали от мощного рева геологов.

Только два человека не поют. Они сидят и разговаривают. Им многое нужно сказать, а еще больше друг от друга выслушать.

— И вот наконец о Хасене. Прости, но я совершенно не понимаю тебя,— говорит Даурен Ержанов Ажимову.

— А чего тут не понимать? — пожал плечами Ажимов.— Что, ты его не знаешь?

— Не понимаю этой твоей раздражительности,— сдержанно отвечает Даурен.— Разве ты не знаешь, какие испытания выпали на его долю? Ведь сейчас это просто-напросто больной человек. По его мнению, все, кто во время войны остался в тылу да еще сумел подняться за это время по служебной лестнице,— дурные люди. Ну, полный бред, конечно. Его ушибленный мозг не может сообразить, что без активного тыла невозможен и фронт. Но это его пунктик, и тут уже ничего не поделаешь. Человек с чистой совестью поймет его правильно.

Ажимов вздохнул и наклонил голову.

— Ну, а у меня совесть нечиста, и в отношении меня он, возможно, и прав.

— В чем он прав? — раздраженно поморщился Даурен.— Чем твоя совесть нечиста?— и видя, что Ажимов что-то хочет сказать, резко махнул рукой.— Ладно! Хва-

тит! Хоть сегодня-то помолчи! Слышишь, как веселится молодежь?

— Нет, сегодня я буду говорить, — угрюмо и упрямо ответил Ажимов. — Я довольно молчал. У меня уже губы запеклись от молчания. Я молчал, когда заведомые прохвосты и публично, и с глазу на глаз ругали вас, моего учителя. Когда негодяи спрашивали меня: «Ты веришь, что Даурен добровольно сдался в плен?» — я, вместо того чтобы плюнуть им в лицо, мямлил и тянул: «Не знаю, но раз говорят...» А надо было крикнуть: «Ведь Даурен не ты, негодяй! Ведь Даурен — честный человек, скотина ты эдакая!» А сколько раз я пожимал те руки, которые надо было обрубить по самое плечо. Сейчас я проклинаю и свою глупость, и свое трусливое безверье, но толку-то что? Разве поверит в мое раскаяние такой человек, как Хасен? И он прав в своей ненависти, тысячу раз прав! Но, в конце концов, он жив, а меня-то он презирает за то, что я не стал двадцать лет назад трупом. Логично ли это? Впрочем, может, и логично! Не знаю! Я уж ничего больше не знаю.

Он говорил громко, страстно и, казалось, искренно и сам, пожалуй, не знал, притворяется он сейчас или нет. Он только знал одно хорошо: он боится. Страшно боится. Боится потерять место в науке, положение в обществе, боится утратить любовь сына и уважение коллег.

— Нурке, хватит, — вдруг резко перебил поток его излияний Даурен, — ни слезами, ни словами здесь не поможешь! И помни, пожалуйста, Белинского, он как-то написал: «Человек, бьющий по щекам другого, вызывает негодование, человек, бьющий по щекам себя, — омерзенье». Кончим на этом. И ты жив, и я жив. Вот работаем вместе! Ну чего еще желать? Ладно, кончили разговор! Вот уже и песня подходит к концу: давай присоединимся к молодым!

Кончили петь, и снова зазвенели рюмки, начались нескончаемые тосты: пили опять за Даурена Ержанова, старейшего геолога республики, за его ученика — Нурке Ажимова, авторитетнейшего геолога республики, за Афанасия Семеновича Жарикова, за самого молодого геолога республики, за Сандро Гогошвили — самого удачливого геолога республики: метил в волка, а попал в киика, потому в отряде целую неделю жарили свежий шашлык. Затем сдвинули столы, образовали круг, и начались танцы. Те, кто не танцевал, отодвинулись в конец комнаты и распались на три основных компании.

В первой компании — Даурен, Жариков, Гогошвили, Васильев. Они горячо что-то обсуждают, наверно, толкуют о делах экспедиции, потому что Даурен все время опять чертит, а Жариков что-то заносит в свой блокнот.

Во второй — Ажимов и несколько молодых ребят; Нурке Ажимов что-то рассказывает, у него ясное, умиротворенное лицо, порой он уже улыбается и кивает на Даурена. Очевидно, речь идет о его молодости. Очень редко видели начальника экспедиции таким простым и ясным. И ребята слушают не перебивая.

В третьей — Дамели, Бекайдар и Ведерников. Ведерников смотрит в сторону и думает о чем-то очень своем, наверно, о новом культурном мероприятии, зато двое влюбленных так увлечены друг другом, что не замечают буквально никого и ничего.

О чем же они говорят?

— Ты замечаешь, насколько запуталось твое положение как хозяйки стола? — говорит Бекайдар.

— Почему? — спрашивает девушка.

— Потому что вот сидит твой законный отец.

— Так все-таки почему ж оно запуталось?

— Потому что вот сидит твой названный отец и, кажется, он собирается скандалить из-за твоего законного.

— Ой, ради бога... — говорит испуганно Дамели и оборачивается. За столом отдельно от всех сидят Хасен и Еламан. Еламан улыбается и что-то тихо, убеждающе говорит Хасену. А тот лезет на него, нависает над ним, требует какого-то ответа и сует ему руки чуть не в лицо. И тут Еламан, все время мудро и сдержанно улыбающийся, вдруг сделал рукой какой-то легкий, не то сдерживающий, не то предостерегающий знак: «Подожди, мол!», — полез в боковой карман пиджака и вынул оттуда бумажник. Вынул, положил на стол, открыл и осторожно вытащил несколько ветхих, распадающихся бумажек, он разложил их на скатерти перед Хасеном и что-то сказал ему, потом достал из другого кармана планку с набором орденских лент, и Хасен вдруг смирился, поник, наклонился над столом. Тогда Еламан слегка тронул его за плечо и заставил поглядеть на себя. Потом, так же смиренно и мирно улыбаясь, откинул со лба длинную прядь волос, и вот обнажилось то, чего не видел до сих пор никто: косой глубокий шрам, идущий от левой брови к волосам. Такие шрамы остаются от ранения осколком или от удара саблей. Хасен даже вздрогнул, увидев это. Он сразу сделал массу мелких растерянных дви-

жений, замолчал, развел руками, пару раз ударил себя в грудь, потом порывисто схватил бутылку портвейна, налил две полных эмалированных кружки и подвинул одну себе, другую Еламану. Он улыбался, пожимал плечами, словно просил: «Ну, давай не сердись на меня, старого дурака. Давай выпьем, я все понял», — но Еламан, скорбно улыбаясь, опять сперва показал ему на свой шрам, а потом щелкнул по стоящей перед ними бутылке «столичной». «Где нам портвейны уж распивать — я солдат», — значил этот жест. И Хасен сразу же понял его: пошел, отыскал два граненых стакана и, строго нахмурившись, наполнил их почти доверху. Потом они оба встали и чокнулись и осушили все до дна.

— Ну, кажется, будет конец света, — улыбнулся Бекайдар. — Дядя Хасен пьет с Еламаном. Ой, смотри, смотри, обнимаются, целуются, значит, на брудершафт выпили... нет, нет, такого еще никто не видал.

Дамели нахмурилась.

— Ой, как это все-таки нехорошо. Ведь он, Бекен, вылил в себя целый стакан водки. Давно уж с ним не было такого. А если он напьется... Смотри, смотри, Еламан снова налил себе половину, а ему полный. Что же это такое? Нет, так не пойдет, коке! Что вы делаете, коке! — крикнула Дамели, поднимаясь.

Но Бекайдар схватил девушку за локоть и чуть не силой посадил обратно.

— Да ничего не будет, Дамелижан! — успокоил он ее. — Я отвечаю! Когда же и пить Хасену-ага, как не сегодня. Пусть, пусть себе пьет. Здесь все свои: напьется — отведем, разденем, спать уложим.

Загорелось электричество, опять принесли откуда-то поднос с бутылками и огромное блюдо с лангетом. Угощения встретили радостными криками и аплодисментами. Веселье вспыхнуло с новой силой. Но Дамели было уже не до веселья. Она не спускала глаз с того края стола, где сидели, беседуя, Еламан с Хасеном. Хасен уже сильно опьянел. Он опять что-то кричал и доказывал Еламану, когда тот осторожно возражал ему, сердито отмахивался и продолжал тараторить свое.

И вдруг он резко встал и со стаканом в руках пошел в тот угол комнаты, где сидели Нурке и Даурен.

— Вставайте! — приказал он Нурке, подходя к нему вплотную. И такая сила приказа и убеждения была в его голосе, что тот действительно поднялся.

— Так! Наполните свой бокал. Выпьем за вашего учителя, Ажимов, за Даурена Ержанова.

— Но у меня ничего...— пробормотал Нурке и растерянно оглянулся по сторонам. У него действительно не было ни бутылки, ни стакана, но кто-то услужливо сунул ему свой. Он взял его и чокнулся с Хасеном.

— Пей! — приказал Хасен.

Ажимов слегка пригубил свой стакан.

— До конца пей! — яростно крикнул Хасен.

Ажимов пожал плечами и отпил еще. К своему стакану Хасен не притронулся. Он стоял и смотрел на Ажимова.

— Что, нравится мой тост? — спросил он ядовито.— Я вот что хочу сказать тебе, Нурке. Вот что хочу напомнить, друг дорогой. Помнишь ли то время...— Хасен говорил медленно, с паузами, явно наслаждаясь унижением и страхом своего врага. И в комнате вдруг сразу настала почти полная тишина. Лишь иногда кто-нибудь спрашивал, и почему-то шепотом: «Что это они?»

— Хасеке,— поднялся Даурен,— Хасеке, я тебя прошу.

— Оставь, ты ничего не знаешь...— грозно крикнул Хасен.— Ты был там, а я здесь...— и вдруг сзади раздался дикий вопль — крик зверя или человека, сошедшего с ума. Затем зазвенела посуда и что-то забилось, заколотилось с пол. Это рухнул Еламан. Забыв все, расплескивая вино, Хасен бросился к нему. Завхозяйством бился в настоящем эпилептическом припадке. Он весь позеленел, поперек лба вздулась жила, в углах рта показалась пена. И кровью налился страшный шрам через весь лоб от левой брови до волос. Его крепко и осторожно держали несколько человек. Но он все равно вырывался и раскидывал их. Помещение сотрясалось от ударов головой об пол.

— Отойдите все,— вдруг раздался спокойный женский голос, и высокая женщина в халате наклонилась над припадочным.— Откройте окна, надо больше воздуха.

Стакан выпал из рук Хасена, поникший, сгорбленный, он молча поплелся к выходу. Дамели побежала за ним. Еламана тоже вынесли на улицу, но праздник был уже сорван. Потом уже просто пили. Веселье улетучилось, хотя той еще продолжался.

А Дамели схватила под руку своего названного отца, привела его в свою комнату, сняла с него пиджак, расшнуровала и сняла ботинки, осторожно уложила на чистую девичью постель поверх одеяла. Потом налила из графина в тарелку воды и начала осторожно тряпочкой обмывать



его воспаленное лицо, запекшиеся губы. Делала все неторопливо, методично, спокойно. Видно было, что это не первый раз, и тут вдруг Хасен поднялся и сел с закрытыми глазами на кровать.

— Сейчас, сейчас, коке,— сказала Дамели спокойно,— потерпите еще немного.

Хасен вдруг открыл глаза.

— Ну, что ты со мной возишься? — спросил он.— Жалеешь? Нечего меня жалеть, я дурак! А как же не дурак? Если бы не был дураком, разве я оскорбил бы хорошего человека?

Дамели несколько раз ласково провела ладонью по его волосам.

— Ну и волосы у вас, коке,— сказала она,— до сих пор густые и черные. А насчет того не думайте: ничего с ним не случилось — сидит и снова пьет. Он уже и забыл все.

— Да не про того я говорю, кто пьет, а про того, которого унесли еле живого,— ответил Хасен.— Того же, который пьет... Ну, я ему еще скажу одно хорошее слово: жив не буду, а скажу! Я ему...

— Ну ладно, ладно,— Дамели силой втиснула голову старика в подушку,— будет время — и скажете. А сейчас спать, спать, спать. Закройте глаза и постарайтесь ни о чем не думать. Да и мне завтра рано вставать. Спите, отец.

Хасен закрыл глаза и минут десять добросовестно притворялся спящим. Дамели подошла к шкафу, вынула простыни и начала стелить себе на диване, и тут вдруг Хасен поднял голову и упрямо сказал:

— И поговорю! И обязательно поговорю! Разве такое забыть можно?

— Какое, коке?

Хасен снова опустился на подушку, закрыл глаза и пролежал так с минуту неподвижно, потом поднял голову и заговорил:

— Когда ты была малюсенькой, ну вот такая,— он показал половину мизинца,— наступило такое время, когда у меня не стало ни работы, ни денег, ни еды, ну ничего, ничего! А ведь тебе молоко нужно, кашки там разные, потом няньке платить, а у меня, понимаешь, ни копейки. Кто возьмет на работу брата изменника Родины? Ну я подумал, подумал, плюнул на все и пошел к Нурке. Из великого горя пошел. Совсем меня тот Харкин замучил.

— Коке,— сказала ласково Дамели,— ну не надо, вы все это уже рассказывали тогда.

— Стой! Молчи! — нахмурился Хасен. — Я тебе не про это говорил в тот раз, я говорил, как он обокрал твоего отца. Это другое. Так вот, я пришел к Ажимову, а он тогда в большой чести был, и прошу: «Слушай, ведь так девчонка умрет от голода. Я-то ладно, а ребенок чем виноват?» Разводит руками: «А что я могу сделать — я преподаватель, работы у меня для вас нет». — «Но хоть рекомендацию дайте». Пожал плечами. «Какая же рекомендация? В вашей честности и работоспособности никто никогда не сомневался, а насчет политического момента, что я могу сказать? Страдаете вы из-за брата, а сдался брат ваш в плен добровольно или нет — кто знает? Я, по крайней мере, не знаю». Тут я даже с места вскочил. «Как не знаете? Столько лет вместе проработали и не знаете? Что ж, та скотина безносовая, Харкин, что ли, лучше вас знает!» Отвечает спокойно, сдержанно, без гнева: «Харкин, конечно, лучше знает, а я что могу сказать? Могу только сказать, что геолог Даурен Ержанов первоклассный, а вот какой он патриот — откуда же мне знать? Не знаю! А Харкина вы зря ругаете. Это большой человек, государственный деятель и патриот». — «Ну, говорю, если уж Харкины у вас в великие люди и патриоты попали...» — повернулся и вышел. Чувствую, что если еще одно слово он скажет, то я ему в морду харкну за этого самого Харкина. А он вдруг меня догоняет и сует мне что-то в руку. Смотрю — трешка. «Вот, говорит, девочке на молочко и кашку».

— Эх! — Хасен скрипнул зубами. — А теперь он хочет, чтоб ты вошла в его дом, стала его дочерью... — и он уткнулся лицом в подушку и затрясся, зарыдал.

Дамели стояла над ним и гладила его по голове, как маленького.

— Ну ладно, ладно, коке, — сказала она наконец, — вы же видели: я вас послушалась, ушла со свадьбы. А теперь ваш брат, мой отец, сам здесь, так он сам разберется. Одно только могу сказать: не сладко Нурке сейчас приходится, ох как не сладко! Спите, отец, я потушу свет.

И она повернула выключатель.

А перед общежитием в это время стоял высокий черно-волосый парень, стоял и ждал, когда выйдет Дамели, его бывшая невеста, бывшая дочь того самого старого пьяницы, которого она сейчас чуть не на руках притащила в свою

комнату, и постоянная его любовь и надежда. Он ждал, чтоб она вышла и сказала ему хоть пару слов, любых — ласковых или сердитых, любящих или ненавидящих, но когда погас огонь, он понял, что всякая надежда увидеть ее потеряна, и нехотя поплелся туда, где еще полчаса тому назад они были вместе. Там уже играла радиола и кто-то пытался танцевать, но все это выходило плохо, кое-как, и чувствовалось, что веселье утомилось, и никому по-настоящему не весело.

Он повернулся и пошел прочь от клуба.

— Эх, пропади все пропадом! — сказал он громко. — Все, все!

И направился к дому своего отца.

— Конеч! — сказал он так же вслух. — Либо так, либо эдак! Сегодня должно решиться все.

А сам подумал: «Век живи, век учись. Никогда бы не поверил, что мой отец мог лицемерить, а я ведь слышал сегодня, как он лебезил перед Дауреном».

Примерно в это же время, возвращаясь с тоя, Ажимов говорил Даурену:

— Конечно, вы можете меня обвинять сколько угодно, и я знаю, что вам поверят. Но правда есть правда — я всегда и везде называл вас первооткрывателем Жаркынского месторождения.

— Ты посмотри лучше, куда мы с тобой зашли, — засмеялся Даурен. Разговаривая, они незаметно взобрались на вершину небольшого, но очень крутого утеса. — Да, ответственное место, что и говорить! Но дело не в этом. Разве мне слава нужна? Разве я на твою славу покушаюсь? Э, все это чепуха! «Сочтемся славою, ведь мы свои же люди», — это Маяковский написал перед смертью. А я ведь еще не собираюсь умирать. Я работать собираюсь. Ну, а потом так: я исчез с горизонта, и вместе со мной исчезла бы и Жаркынская медь, а ведь она не исчезла. Ты подал докладную записку. Ты доказал правительству необходимость промышленных разработок. Ты достал металл из-под земли и кинул его на врага. Значит, ты стоишь своей славы, и книга твоя в конце концов тоже не плохая. Уклончивая, половинчатая — это так, но ведь все еще в твоих руках! Пока верстка не отправлена в издательство, хозяин книги — автор. Вот я тебе сказал: думай, исправляй, перестань вертеться! Кто идет против истины — тот прежде всего идет против самого себя. К ученому это относится вдвойне! Нет,

прежние вины я бы тебе отпустил. Но есть у тебя и другая вина, неискупимая, кровавая.

— Какая!

— Ты убил моего любимого человека.

— Я? Убил?..— Ажимов даже не мог окончить фразы.

— Да, ты убил моего любимого ученика Нурке Ажимова. Где он, смелый, чистый, упорный юноша, любивший шутку, смеявшийся так заразительно, хороший друг и преданный товарищ, где он? Я кричу ему, и он не слышит! Нет его! Нет! Передо мной сидит другой человек. Его однофамилец. Тот, кто любит и уважает только самого себя! Да и не себя даже, а свой авторитет! Поэтому он постоянно старается кого-то заесть, столкнуть с дороги, унижить, самолюбив он страшно, подозрителен он до мании, труслив до омерзения. На кой дьявол мне такой Ажимов! Мне нужен прежний Нурке, а ты убил его! Сумеешь ли ты мне его воскресить?

— Не знаю, не знаю,— пробормотал Ажимов, он и в самом деле был растерян.

— А кто тогда знает? — крикнул Даурен, сжимая кулаки.— Ладно, сейчас ты мне все равно ничего путного не скажешь. Да и должность у тебя не та — легкая уж очень! А я ведь видел виды. Я был и на Крайнем Севере, и на Дальнем Востоке, и знаю, за что человек может, должен уважать человека. В глубине колымской тайги есть такой прииск «Вакханка». Кто уж его так окрестил и зачем, со зла или подшутить хотел — не знаю. Там стоят шестидесятиградусные морозы. А это значит — плевков, не долетев до земли, превращается в ледышку. Так вот, если бы ты видел, как там работают люди! Не работают даже, а «вкалывают» — есть там такое хорошее словечко. И так вкалывают, что из-под кайла искры летят. Потому что там не земля, а камень. На мороз или на усталость там скидки нет, и никто их не просит. Вот там не могут родиться ни такие Еламаны, ни такие Ажимовы. Почва не та. Климат не тот! И никто там не думает о славе! Нет, не думает! Конечно, кому не хочется отыскать самый тяжелый в мире металл или открыть такое горючее, чтоб оно помещалось в ведре, а могло домчать тебя до Марса. Но что поделать, если это мне не дается в руки? Поэтому я только смотрю на людей, которым это доступно, и радуюсь за них. У меня на душе хорошо, что они это могут. А сегодня разве мы не радостно провели вечер? А почему? А потому, что мы не просто пили, а сидели среди друзей. И вот теперь,

под конец жизни, я думаю, что самое главное — уметь найти свое место в жизни. Только свое, и больше ничье. Можешь искать медь — ищи! Можешь пасти овец — паси! Строй дома, прокладывай дороги, делай, что умеешь! Это все будет счастье. А не можешь делать сам — помогай другим: будь подпаском, подмастерьем, подручным, но кем-то будь обязательно. Тогда все люди тебе будут друзья, и ты будешь другом всем людям. И будешь желать ты только одного, чтоб кругом были вечный мир и согласие. И самым большим злодеем тебе покажется тот, кто хочет не мирить людей, а натравливать их друг на друга.

И тут вдруг Ажимов повернулся и, ничего не говоря, пошел обратно. Что-то очень большое произошло в нем в эти считанные минуты, он как бы увидел себя со стороны. На кратчайшие секунды он посмотрел на себя глазами Даурена и увидел человека, который поразогнал всех своих старых друзей, — как-то душно стало друзьям с ним, — и остался с Еламаном; человека, который уже давным-давно не говорил ни с кем, кроме, пожалуй, как с сыном, по-человечески, а все только предписывал, настаивал, предлагал, отвергал, у которого было все: ум, заслуги, инициатива, знание, все, кроме обыкновенного человеческого тепла и простоты. За эти же кратчайшие секунды он посмотрел на себя со стороны глазами сына, единственного дорогого ему человека на свете, несостоявшейся невестки, ее отца, которого он — что уж тут таиться! — продал и предал, брата его, который дрожит от ненависти при одном слове «Ажимов». Почему скопилось столько тумана, злобы, недоумений вокруг его имени? Ведь, кажется, ничего преступного он не делал, просто выполнял указания, данные свыше, и вот вдруг оказался совсем-совсем один... Нет ни друга, ни любимой женщины, ни семьи, а может быть, и сына нет. Отдай мне прежнего Нурке, — сказал Даурен. Да, но как, как это сделать?!

Ажимов шел, а Даурен стоял и смотрел на него, вернее, не на него, а в ту темноту, в которую он уходил. Он понимал, что сейчас делается в душе его бывшего ученика.

«Эх, старик, старик, — подумал он, может быть, впервые называя себя таким именем, — шестьдесят лет тебе стукнуло, а ты все в молодые лезешь. Все-то всех критикуешь, все-то чем-то недоволен, все-то учишь других жить, ну а сам хорошо ты прожил жизнь? Скажи, положи руку на сердце, хорошо? А? Нет, — ответил он себе, — нехорошо! Трудно я ее прожил. Но по-иному жить бы я не смог. Это

точно. Многого не сделал, на многое зря замахивался, много надавал лишних обещаний, но в общем-то... но в целом-то... в целом все правильно! Что мог, то я делал, а что было не по силам и не по способностям — того кто же от меня и потребует? Нет, нет, жалежь мне, пожалуй, нечего. А теперь вот и старость пришла, и на пенсию пора. Шестьдесят лет, друзья мои, шестьдесят! Скоро и честь пора знать. Скольких друзей я похоронил, сколько чьих-то несбывшихся надежд оплакал. С каждым годом человек все ближе и ближе подходит к линии огня. Как это бывает на войне с артиллерийским огнем. Недолет — перелет — попадание! Был недолет, был перелет, и вот уже я стал мишенью. Ау, смерть! Ау, дорогая! Не хочу тебя, но жду, жду и сумею встретить без страха. Ты ведь тот же пушечный снаряд, а я уже зажат в твоей вилке. Эх, только бы не помешала ты открыть мне Саятскую медь! Бекайдар и Гогошвили — они, конечно, орлы, львы, но ведь молодые, зеленые, а заступит им путь такой профессор Ажимов, и пошли у них крутиться головы. Ах ты черт, — недолет — перелет — попадание!

Он покрутил головой, улыбнулся и вдруг вскрикнул, ослепленный прямым и ярким лучом, направленным ему прямо в лицо.

— Тыфу ты черт! — шумно выругался Жариков, подлая. — Отыскал все-таки! Слушай, да ты что, сдурел, что ли? Что ты сюда забрался? Ты ведь и не пил ничего, кроме шампанского, я следил за тобой! Ищу, ищу — нет тебя... и след простыл.

— А что, что-нибудь случилось? — спросил Даурен, все еще не открывая глаз.

— Что, ослеп, что ли? Ну, прости, прости, ненароком вышло. Да нет! Что там может случиться? Просто вот хотел поговорить с тобой кое о чем. Пришел к себе, лег, пролежал полчаса с закрытыми глазами, чувствую — не усну, пошел к тебе, а у тебя постель не тронута — значит, думаю, где-то шатается, бродяга. Вот и пошел с фонарем искать. Как Диоген, так, что ли? Был такой? Ты же в этом собаку съел, а я, признаться..

— Был, был, Диоген, только тот днем с огнем искал человека, а ты ночью — разница! Эх-хех-хех, Афанасий Семенович! Вот стою и размышляю — шестьдесят лет, как одна копейка, а? Старость!

— А слышал, как сегодня твой ученик распелся? — засмеялся Жариков. — Лет до ста расти нам без старости.—

Это что, из Маяковского, что ли? Вот и давай, расти! У нас с тобой еще дел, дел... А что ты здесь, между прочим, делаешь? Вот тут крутизна — даст тебе кто-нибудь в спину... Ну и того...

Даурен вдруг рассмеялся и обнял Жарикова за плечи.

— Да, пойдём, пожалуй, отсюда,— сказал он.— Это, брат, целая история. Был когда-то такой народ: гунны. А у гуннов был такой обычай: если друг начинал сомневаться в друге, он приглашал его для переговоров, вот, примерно, на такой утес. Вставали они оба на краю, и он выкладывал ему все свои претензии, а дальше все шло по обстоятельствам — места, времени и действия, как гласит грамматика. Либо дружба побеждала, либо вражда. Но в обоих случаях вопрос решался окончательно. Вот и я привел на этот утес своего близкого товарища, чтоб поговорить с ним по душам.

— И что ж, поговорили? — криво улыбнулся Жариков.

— Поговорили. И видишь, оба живы. Ушел мой товарищ с поникшей головой. Надо думать, раскаялся.

— А может быть, он просто испугался? Ведь у древних гуннов уголовного-то кодекса не было. И статьи, карающей за убийство, тоже, поди, не было! Нет, дорогой, не те времена! Сейчас не сбрасывают врага с утеса, а просто пишут на него заявление. Так что будь осторожен и бдителен — ничего сегодняшней разговор на утесе не решил. Все, как было, так и осталось, помяни мое слово.

— Бдительность, бдительность — огрызнулся Даурен, — сразу видно бывшего пограничника. — Он знал, что генерал Жариков прав, но это и раздражало его.

— Ладно, это увидим — решил или не решил. А вот ты скажи, что делать-то будем! Ведь как ни ругай Ажимова, а формально он прав. Меди-то нет.

— Да-а,— сказал Жариков.— Да-а, нет меди, нет! — Несколько шагов они прошли молча.— Слушай, а ты полностью уверен, что она есть?

— Ну, конечно.

— Полностью?

— Говорю же, полностью! Да что в том! Штурмуем, штурмуем, а толку...

— Штурмуем! — засмеялся Жариков.— Значит, плохо штурмуем, друг ситный. Вот и все.

— А как еще штурмовать?

— А вот так. Нависла в 1942 году над нами одна высота. Там немцы установили артиллерию, ну и били нас

днем, как хотели. Носа нельзя было высунуть. Срам — да и только. Авиации не было. Танков не было, артиллерии не было, ничего не было. Так вот, решил я взять эту проклятую сопку голыми руками. Да где ж там? Пятнадцать раз ходили — и все безрезультатно. Половину личного состава там оставил. А делать-то что-то надо. Даже раненых и то не вывезешь. Сразу засекают, дьяволы. Вот запросил я у командования разрешения пойти в шестнадцатый раз. Разрешили, но смотри, говорят, если не возьмешь да живой, не дай бог, останешься — сразу под трибунал попадешь. «Ладно, — говорю, — пускай попаду».

— Ну и что?

— Ну и взяли, — улыбулся Жариков.

— Конечно, конечно, — задумчиво протянул Даурен, — конечно, взяли! Но вот на фронте-то тебе разрешили идти в шестнадцатый раз, а нам здесь кто разрешит?

— Алма-Ата, — быстро сказал Жариков. — Поеду в управление. Буду просить разрешения не сворачивать работ. А ты подготовь мне обстоятельную докладную — как ты на это смотришь?

Даурен вдруг остановился и обнял Жарикова. Они ничего не сказали друг другу, только простояли полминуты молча. Потом пошли к Даурену.

Они уже сидели друг перед другом за столом. Между ними стояла бутылка коньяку, и Даурен говорил, улыбаясь:

— Вообще-то все человечество мы привыкли разделять на три категории: удачников, неудачников, и что-то промежуточное — людей с обыкновенной судьбой, у которых в жизни и так бывает, и этак. Я вот не знаю, к какой из этих трех категорий меня отнести? Удачник — нет! Удачник — Ажимов, он и профессор, и член-корреспондент, и автор нашумевшей книги, и вообще человек с положением, а я в свои шестьдесят лет все тот же рядовой геологонзискатель — вот и все! Тогда неудачник? Тоже нет. Я искал и находил, доказывал и доказал — пусть не я сам доказал, пусть после меня и за меня доказали, но все равно ведь доказали? В меня стреляли и не убили, я умирал, но не умер, меня похоронили, а я явился к вам снова, был одиноким, и у меня вдруг оказалась дочь — да еще какая! А скоро, верно, и зять будет — вот тебе и семья, я об этом и не мечтал так. Какой же я неудачник? Так, человек с обыкновенной ровной судьбой? Тоже нет. Это вот у тебя ровная судьба: начал ты рядовым, кончил генералом,



у тебя вся грудь в орденах, и все они заслуженные — и жизнь у тебя, порой хоть была и тяжелая, но ровная, если так можно выразиться, плановая. Так все и должно было у тебя получиться. Жил, работал, служил Родине, вышел на отдых и опять продолжаешь то же, в другом только виде. Хотя, впрочем, не так уж и в другом — и там, и тут ты работаешь на разведку.

— Охрана не разведка, дорогой, — мирно сказал Жариков и налил по лафитнику, — не надо смешивать два эти ремесла. Есть тьма охотников — не будь из их числа, — видишь, заговорил, как твой любимый Ажимов, — цитатами. Так кто ж ты такой тогда, Даурен Ержанович, вот по этой твоей классификации, а?

— Да, пожалуй, если здраво разобрать, то или неудачник, которому везет, или удачник, которому не повезло. Ну, будем здоровы!

— Здорово! Блеск! — сказал Жариков и захохотал. — Эх, не знал я такой формулы раньше, а то был у меня такой сержант бедовый — из ваших краев! Жаканов. Молодой, красивый, стройный. На цыгана похож. Девки от него умирали! Так вот, у того тоже! Пойдет на охоту — обязательно повезет, без полной сумки не возвращается! Возвратится — обязательно на меня нападет, я ему губу дам! Как на губе посидит, обязательно к нему бабы бегут! Как бабы прибегут — обязательно их либо отцы, либо мужья засекут. Потому что уж ожидают! Как мужья засекут — я еще ему пять суток или десять нарядов вне очереди. Так и маялся до Отечественной! Ну, там меня не было, и ему повезло уже по-настоящему. Героя получил. Выпьем за его память! Эх, Жакып, Жакып, хороший был ты человек! Попался бы ты вовремя ко мне в полк — до сих пор небось на губе бы сидел. Ну, за его геройскую память! Молча! Стоя!

Они поднялись разом, выпили и разом стукнули лафитниками о стол.

— Так вот, видишь, — сказал Даурен, — и не поймешь толком, что такое хорошо, что такое плохо. Приходится и тут прибегать к теории моральной относительности. То есть, кто как чувствует. Для меня вот, например, счастье было пойти добровольцем, а для того, кто меня провожал да на дорогу посошок поднимал, счастье было остаться! Ух, много он мне, сволочь, крови попортил! Да и сейчас... — Даурен вдруг закашлялся и быстро сказал:

— Ну, еще, что ли, по одной?

Жариков мельком глянул на Даурена и молча налил по стопке, но пить не стал, а спросил:

— Ну и что он сейчас? Ты что не договорил?

Даурен поднял свою стопку и, сердито глядя на Жарикова, сказал:

— Да и сейчас, говорю, такие, как он, попадаются,— он поставил стопку на стол.— Что-то больше не идет! Нет, моя судьба, товарищ генерал, очень ровно сначала шла. Без сучка и задоринки. Учился я в нашем ауле, и не миновать бы мне медресе, если бы не Октябрьская! Февраль-то ничего почти не изменил! Как колотил нас мулла, так и продолжал лупить по плечам линейкой. А мне от него особенно доставалось. Я в те дни ему калоши гвоздем прибил к полу. А они у него хорошие были, азиатские, с эдакими носками. Как он их надел, так и растянулся.— Жариков довольно захохотал. Рассмеялся и Даурен.— Да за такое художество он меня в угол на колени поставил на всю неделю, а в руки дал по кирпичу. Держи на вытянутых и не опускай, как опустишь — он тебя линейкой. Это тебе, брат, не смех! Ну тут и ударили события. Занятий нет, приехал богатый купец — гуртоправ, собрал жигитов — и в степь. И наш учитель с ними. Больше я его не видел. Ну, а недели через две и я очутился в городе. Отец поехал узнавать, как и что, и меня с собой захватил. Мало ли на что парень понадобится? За лошадьми поглядеть, сбегать куда, то да се. А там в это время какая-то рисовальная студия возникла. Тогда, генерал, беда сколько этих студий возникало. И пластической гимнастики, и археологии, и изготовления шляп, и клуб анархистов и еще черт знает что! А я тогда бойко рисовал! Вот увидел мои рисунки сын хозяина трактира, где мы остановились, и свел в эту школу. А там заправляет учитель рисования женской гимназии — такой бойкий старичок. Он потом стал заслуженным художником республики. Посмотрел рисунки, похлопал по плечу: «Ну, говорит, будешь казахским Венециановым?».

— Венециановым? — удивился Жариков.

— Да, Венециановым — сам учитель наш рисовал картины из жизни казахского аула, и нас к этому приохочивал. Мол, ты казах, и как Венецианов открыл русскую деревню, так и ты должен открыть миру казахский аул. Но не вышел из меня Венецианов — нет, я ведь, сколько семью-восемь — не знал! Думал, что земля на сивом быке<sup>1</sup> стоит.

<sup>1</sup> В казахском старом понятии — земля покоится на кок-огызе: сивом быке.

Старичок был умный, заботливый — нашел какой-то рабфак, отдал меня туда. Ну и пошло. Рабфак, школа, двухклассная учительская семинария (были у нас в ту пору и такие), а потом университет — сначала здесь, потом в Москве. Вышел с дипломом, сразу отправили в степь. Все! Вот и вся моя жизнь. Трудновато, конечно, было порой, голодно, но ясно! Все до предела ясно! Ведь Советская власть до предела ясна! Правда, были и такие, которые хотели в нее туман напускать! Но я их всегда к себе на пушечный выстрел не допускал.

— И удавалось? — спросил Жариков. Он слушал очень внимательно, и у него было такое выражение, как будто он что-то старается себе уяснить.

Даурен вынул из кармана трубку, зажег, высек огонь, не торопясь закурил, затянулся и выпустил дым.

— В общем-то, да, — ответил он неторопливо. — Удавалось! Ну, а в частности, кое-кто из прохвостов и мне порою кровь портил. Но это не главное... Моя беда была в том, что я их всегда недооценивал. То есть, их способности я ценил слишком низко. Вот они мне и показали!

Жариков посмотрел на Даурена, тоже вынул свою трубку, намял в нее табак — он курил пахнущий медом турецкий, Даурен курил махорку и только марки «паровоз» — и сказал:

— Ты меня извини, если тебе неприятно — не говори, но вот я сколько раз замечаю, что ты что-то начинаешь и обрываешь. Я понимаю, может, у тебя есть какие-то глубокие личные причины... — он нарочно остановился.

— Да нет, нет! — крикнул Даурен чрезмерно громко, искренно.

— Ну, тогда отлично, — кивнул головой Жариков, — но если я ничего не нарушаю...

Даурен несколько секунд просидел молча.

— Видишь, — сказал он, — тяжело вспоминать об этом. Тяжело и, пожалуй, не к чему. Потому что почти фантастика, хотя дело очень простое. Прикомандировали ко мне в экспедицию парня из института материальной культуры. Ну, иначе говоря, археолога. А мы в то время по Жаркынским холмам лазили — медь искали. Там медь глубоко лежит, так что ни о каком энеолите думать не приходится. Вообще, я так и не понял, зачем его к нам прикомандировали. Ну прикомандировали — прикомандировали, — пусть за нами ходит. Ну, вот однажды он приходит ко мне в контору и спрашивает: «Могу я сейчас с вами поговорить?»

А у меня дел до черта! У меня машин нет! У меня с банком какая-то чертовщина! Зол я, как черт! «Приходи вечером»,— говорю. Сажу вечером, пью чай — заявляется он ко мне. А у меня голова трещит. Понимаешь, разламывается. «Садись,— говорю,— пей чай». — «Ну, это потом,— говорит,— сначала разговор». — «Ну ладно,— говорю,— давай разговор». Спрашивает: «Железные самородки бывают?» — и ждет ответа. «Нет,— говорю,— практически их почти не бывает. Во всяком случае много реже, чем золото». — «А могло быть железное оружие века меди и бронзы». — «Нет,— говорю,— это исключено. Технология слишком сложна». — «А ведь есть,— говорит,— такие находки, и в Египте есть, и у нас — как же так?» Я молчу. Смотрю на него, думаю, чего он хочет, а он мне и говорит: «Это метеоритное железо — первое железо упало на человека с неба». Ты знаешь, как-то это очень мне понравилось! Ну, додумался человек! Ну, додумался же! Первое на земле железо с неба! И ведь так! Действительно так — Даурен замолчал и сделал несколько затяжек.

— Ну и что? — спросил Жариков, не переждав его молчания.

— До ночи мы проговорили. Очень все оказалось интересным. Я через полчаса жену позвал. Она тоже историком была, в женском педагогическом институте работала! Ну женщины, знаешь, какие! Она так и ахнула! Да неужели, да как же... Только в час от нас парень ушел, а через неделю меня вызвали... — Даурен опять замолк.

— К кому? — спросил Жариков.

— К одному начальнику... А начальника того я знал, он хотел у меня диплом с отличием получить, а сам лекции не посещал. В общем, знал я его. На тройку еле-еле натянул. Как он в начальники попал, почему все время от загов в завыв скакал, — до сих пор не знаю, но была, очевидно, какая-то причина.

— Была,— кивнул головой Жариков,— была, конечно.

— Ну и я так думаю. Так вот: «Что вы знаете про Савельева?» (Фамилия того студента).

— Да ничего не знаю — работает у меня и работает.

— А то, что он говорит, что железо с неба упало, вы знаете?

Я засмеялся.

— Как-то вы странно об этом говорите, но это знаю.

— И не возражаете?

— А что тут возражать — если это правда?

Вскочил, покраснел, посинел.

— Как, правда?

— Ну так, железных самородков на земле почти не встречается, а в силу большого окисления...— Тут он, скотина, как трахнет по столу.

— А вы что тут мистику разводите! Это что же, аллах, что ли, с неба серпы да ножи послал? А что Энгельс говорит? Вы «Роль труда в очеловечении обезьяны» читали?.. Так как же она очеловечилась, если железо без всякого труда с неба падает! Да я вас с этим агитатором...

Ну что тут будешь делать, молод я был, горяч, тоже как хвачу кулаком по столу.

— Молчи,— говорю! — Недоучившийся студент! И надо мне было тебе, болвану, тройку поставить!

Повернулся, хлопнул дверью и ушел. Вот и все.

— То есть как, все? — спросил Жариков.— А потом что? С этим археологом что? — Даурен вздохнул.

— Отозвали от меня, а потом в его судьбу вмешались более серьезные люди, и отпустили. Сейчас большой ученый. Письма мне пишет. В Ленинграде живет. Недавно на съезд ученых мира ездил.

— А с тобой так и обошлось?

Даурен вздохнул.

— Так и обошлось. Только брату моему он жить не дал и дочку чуть в гроб не вогнал, а вообще, обошлось.

— А фамилия его как? — спросил Жариков.

Даурен снова затаился.

— Не знаю. То есть, забыл. Да к чему тебе его фамилия, если он умер. Давай спать, старик! Юбилей не юбилей, а завтра рано вставать,— он помолчал и вдруг окончил:

— Вот мы с тобой про неудачников начали говорить? Так я тебе сейчас про неудачника и рассказал. Про самого настоящего неудачника.

— Это того, чью фамилию ты забыл? — усмехнулся Жариков.

— Именно, именно! Редкий экземпляр. Ни фамилии у него, ни таланта, ни чести, ни стыда, ни совести — типичный вождь-неудачник, но злой, настойчивый, мстительный! Хорошо, что все же их были единицы, а не тысячи...

— А ты знаешь, в чем тут еще беда? — вздохнул Жариков.— Посредственность ведь и ищет себе подобных. Ей талант — это самая настоящая смерть. Ей обязательно нужны калеки от науки. Кто честен, трудолюбив, смел,

сметлив, с тем ей не по дороге. Нет, нет — она ищет, как бы его загнуть и оклеветать. Вот корни твоего конфликта...

— Да! — сухо сказал Даурен. — Давай спать. Пора! — потом он все же не выдержал и глухо проговорил: — Вот так получился мой конфликт с этим... неудачником Харкиным.

— А я думал, ты о Еламане...

— Нет, Еламан просто его тень, правая рука, его злая воля... Он тогда работал начальником... нашего геологического управления!

— Понятно, — сказал Жариков. — И этому Еламану нужны были тоже послушные «калеки от науки» — Ажимовы, а не Ержановы...

— Да, — сердито вздохнул Даурен и отвернулся.

...А Нурке Ажимов тем временем пришел в свою квартиру.

Только что Ажимов повернул ключ в двери, как кто-то вышел из темноты и прямо пошел на него.

— Кто это? — спросил Ажимов и вытащил браунинг.

— Свои, свои, — раздался из темноты спокойный, насмешливый голос, — спрячь свой пугач, все равно он пустой! Что было — по бутылкам расстрелял!

— А, это ты, — облегченно вздохнул Ажимов, но голос его все еще дрожал, и, когда он стал прятать браунинг, то не сразу попал в карман. — Ну как, прошел припадочек? А знаешь, здорово это у тебя получается. Смотрю каждый раз и удивляюсь — откуда это у тебя? Может, отец был артистом? Или это тоже требовалось по вашей работе? Может быть, может быть!

Они уже стояли в прихожей.

Еламан покачал головой.

— Вы сегодня такой веселый, что даже на радостях забыли, что припадочки-то у меня настоящие и притом очень тяжелые. Вот ведь! — и он показал на свой рубец.

— Да, саданули тебя, саданули, брат, — засмеялся Ажимов, — что говорить, от души саданули. Это чем же, графином, кажется? Наверное, графином, если бы пресс-папье, пожалуй, были бы ровные края, а у тебя, и правда, похоже на осколочное ранение, так что... — он остановился, не зная, что сказать еще. А сказать хотелось что-то грубое и насмешливое.

— Так что, — сухо сказал Еламан, — мой припадок пришелся очень к месту. Если бы не он, то вы бы услышали о

себе что-то очень-хорошее. И не только вы бы, а и все остальные.

Наступила снова пауза.

— Так! — сказал Ажимов. — А пришел зачем? Да еще ночью! Я же просил, если что нужно, приходи в контору.

— Разрешите, я сяду, — сказал Еламан примирительно. — В конторе неудобно разговаривать, люди, да постоянно это еще генеральское пугало торчит.

— Ну и нахал же ты, братец, — покачал головой Ажимов, — многих нахалов видел, но такого... Жариков не пугало, а твой начальник, и не торчит он, а руководит той экспедицией, где ты работаешь завхозом! Дошло наконец?

— Дошло, дошло, давно дошло, — добродушно ответил Еламан. — Дошло, что раньше экспедицию возглавляли вы, а теперь ее возглавляют Жариков и Ержанов. Раньше люди вас слушались, а теперь слушают их. Почему же не дошло? Дошло, дошло.

— Эх, был ты завхозом, завхозом и остался, — вздохнул Ажимов, — тебе бы только, чтоб слушались. «Рад стараться» — и все! Много ты понимаешь! А люди работают. Ищут медь. Вот как ты ищешь в своих сараях лопату или кирку.

— И найдут, а? — спросил Еламан.

— Да какое это имеет... — начал было Ажимов, но Еламан перебил его сухо и деловито.

— Очень большое! Так найдут или нет?

Ажимов вздохнул и прошелся по комнате.

— Ну нет, нет, — сказал он, — не найдут. Нет ее здесь. Ну что, тебе легче оттого, что ее нет?

— Ну мне-то, положим, все равно, а вот вам, наверное, будет легче, если они ничего не найдут, — уже не скрывая насмешки, сказал Еламан. — Потому что, если ее нет, то и доброго десятка тысяч государственных денег тоже нет. А вот, если она все-таки есть и найдет ее Даурен Ержанов после того, как вы, Нурке Ажимов, приказали прекратить поиски... Вот тогда что вы запоете?

— Слушай, ты!.. Завхоз!.. Я запрещаю говорить со мной таким тоном! — застучал кулаком и забрызгал слюной Ажимов. — Забрал себе волю! Только и делаешь, что сеешь свару между людьми, проклятый! И когда ты только сдохнешь?!

Еламан улыбался все благодущнее и благодущнее. Он даже развалился в кресле.

— И что ты тогда будешь без меня делать? — спросил

он добродушно.— Оставшись наедине с Дауреном и Жариковым? А? Ты хоть раз об этом подумал, а? Ведь это я, я тебя поднял. Я вывел тебя в люди! Я надавал тебе чинов и званий! И пока меня не съели, я все время отстаивал твой авторитет. Ну, а теперь тебя и отстаивать не надо, ты сам с усами и вот желаешь мне смерти. Что ж? Иного я от тебя и ждать не мог. Да и не ждал, конечно! Но я все-таки думал, что ты умнее! Честное слово, думал. Желать смерти такому человеку, как я... Нет, ты просто выпил лишнее или сошел с ума! Ты что, забыл, кто ты такой? Ты же посредственность! Самая обыкновенная посредственность! Даурен ошибся в тебе! Так же, как и я, впрочем...

Ажимов несколько раз прошелся по комнате, поднес руку к раскаленной щеке и охладил ее. Затем закурил и подошел к окну. Еламан молчал. Наконец Ажимов подошел к Еламану, положил ему руку на плечо и сказал:

— Ну, прости, пожалуйста, я действительно, наверно, перебрал, но только и ты тоже...

— Правильно,— охотно согласился Еламан,— я тоже. Я завожу тебя. Потому что ты трусишь и делаешь не то, что нужно. Мечешься от одного края к другому. Пойми: мы связаны с тобой одной веревочкой. Мы не то, что Даурен или Жариков. Даурен — талант, работяга, первый казах геолог, Жариков — боевой генерал, чуть-чуть не Герой Союза. А мы что? Мы ничто! И вот я теперь тебя второй раз спрашиваю, что будет, если Ажимов заверил правительство, что меди нет и десятки тысяч потрачены зря, а Ержанов медь найдет? Что тогда будет с нами? Я говорю с нами, потому что, если тебя ославят и снимут, то и меня держать не захотят. Но от авторитета твоего что тогда останется? Да ровно ничего! И сейчас народ валит к Даурену, а не к тебе! И сын твой тоже от этого Даурена не отходит ни на шаг. Что это, приятно тебе? А найдет он эту океанную медь...

— Да нет меди, нет! — крикнул чуть не в истерике Ажимов.— Понял, нет ее!

— А вот говорят, что есть,— тихо сказал, словно прошипел Еламан,— говорят, что есть. И Даурен с Жариковым ее обязательно найдут, тогда что?

— Хорошо, что ты предлагаешь? — резко спросил Ажимов, уже изнемогая от этого спора.

И тут лицо Еламана вдруг сразу поглупело.

— А что мне предлагать? — сказал он смиренно.— Вы же сами сказали: я завхоз, мое дело — кирка да лопата.



А вы профессор, в атом проникли. Без вас и ледоколы не ходят и станции не работают, так что решайте сами. Если есть медь, то вам здесь делать нечего, ее Даурен отыщет. Если же нет меди, то какой толк Саяту от Даурена? Он тогда только казенные деньги на ветер расходует.

Ажимов отошел от Еламана и вышел из комнаты. Там он что-то делал или искал, потом, очевидно, мочил голову, было слышно, как звенело ведро и лилась вода, а когда наконец возвратился, то сказал:

— Надо подождать снега! Тогда все кончится само собой.

— Э,— сказал Еламан,— до снега еще знаете сколько? Он до снега все свои дела провернет. Нет, действовать надо сейчас же, немедленно.

— Да как, как? — крикнул Ажимов.— Что ты каркаешь, как ворона, а по-человечески не говоришь. Если не хочешь говорить, то...

— Ладно,— смилостивился Еламан.— Скажу. Вот-вот начнутся заморозки — копать будет трудно, зимней одежды у нас нет или, во всяком случае, недостаточно. Но, скажем: совсем нет. Значит, выпускать людей на земляные работы не в чем. Ну, в общем, это уж мое дело, а ваше — дать телеграмму в центр. Пусть выезжает комиссия. Может быть, и акт составить о неоправданном распылении государственных средств... Хотя нет, акт рано, да и вас может это тоже коснуться. Ладно, посмотрим! Тут только слушайте меня.

— А что ты хочешь делать? Если уголовное дело подымать...

— Ну, уж выдумал! Против кого уголовное дело? Против тебя, что ли? Я же говорю: посмотрим! И только одного я от тебя требую, слышишь, требую! Держись крепко, не пугайся, не сдавайся, не колеблись — стой на своем. Слышишь!

— Слышу,— уныло ответил Ажимов,— слышу!

Подошел к шкафу и вытащил почти полную бутылку и две рюмки.

— Слышу, товарищ Еламан, слышу! — повторил он.

И невесело улыбнулся.

— Пропади все пропадом, пропади все пропадом! Все — пропадом! — бормотал Бекайдар себе под нос, пока не дошел до дома отца. В окнах горел свет. Он приник к стеклу

и увидел: отец сидит перед столом задумавшись, а на столе бутылка из-под коньяка и два пустых стакана. «Неужели опять Еламан приходил? — остро подумал Бекайдар. — Да нет, ведь с ним припадок был, разве после припадка можно коньяк пить? Впрочем, разве поймешь, что ему можно, что нельзя. Ему все можно!»

Он продолжал смотреть.

Отец встал и пошел по комнате, подошел к зеркалу, постоял, машинально провел рукой по волосам, приглаживая их, подошел к радио и включил его. Раздалась какая-то захватская русская мелодия, потом всхлип гармоника — он нахмурился и переключил приемник на новую волну.

«Расстроен чем-то сильно, — подумал Бекайдар, приглядываясь к его лицу. — Эх, опять попал не вовремя! Ну, да была не была», — он отошел от окна, приблизился к двери и постучался.

— Да, — раздраженно ответили ему из комнаты. Он открыл дверь. Отец стоял посередине комнаты и смотрел на него.

— Ах, это ты! — сказал он с облегчением. — А я-то думал... — Он не окончил.

«Думал, что это Еламан», — понял Бекайдар и сказал:

— Вот увидели, что вы ушли, и решил пойти за вами! Здравствуйте, отец.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой, — ласково ответил Ажимов, и лицо его разгладилось. — А молодежь все еще танцует?

— Кое-кто домой пошел, ну, а холостые, конечно...

— Беда с вами, с холостыми! — лукаво прищурился отец. — Ну просто беда. Ты куда это, между прочим, свою Дамели увел? Да еще при отце! Не отрекайся, я заметил: вы оба исчезли одновременно. Эх, молодежь!..

— Да, это всегда виноватая во всем молодежь, — вздохнул Бекайдар. — Ну, а вы опять пили с этим Еламаном?

— Выпил, старик, немного выпил, — ответил Ажимов, стараясь не замечать настроения сына. — Что поделаешь? В такие дни начальство пьет с подчиненными! Традиция, старик! Демократия!

— Так, значит, вы только из демократии пьете с этой сволочью!

— Эй ты, придержи язычок! — Ажимов сразу вспыхнул до корней волос. — Как ты разговариваешь с отцом?

Бекайдар развел руками.

— В том-то и беда, что я не знаю, как мне разговари-

вать с отцом,— сказал он задумчиво и просто.— Скажите, хотели бы вы, чтоб я походил на вас?

— Ну, дорогой мой, каждый отец хочет, чтоб сын походил на него,— сказал Ажимов смягчаясь.— Ну, конечно, чтоб был еще талантливее, умнее, красивее и...

— Порядочнее,— тем же тоном окончил Бекайдар.

Ажимов вздрогнул и дико посмотрел на сына. И тот повторил тем же тоном — кротким и беспощадным:

— Порядочнее? Да, отец?!

— Сейчас же убирайся вон! Сейчас же! — загремел Ажимов задыхаясь.

Бекайдар повернулся и молча пошел к двери.

— Стой,— опять крикнул ему Ажимов, когда тот уже переступил порог,— стой, тебе говорят! Ты можешь мне по-человечески объяснить, в чем дело? Что тебе надо? Во-первых, иди сюда! Так! Так в чем дело? Говори! Все!

Не отрывая глаз от пола, Бекайдар тихо ответил:

— После того как пошли эти подлые слухи о Дауке...

— Ах, вот в чем дело? — язвительно засмеялся Ажимов.— Ты наслушался этого сумасшедшего Хасена! Хорошо, хорош сынок! Ничего не скажешь. Хорошо! Вместо того чтобы прийти к отцу и спросить его, как было дело в действительности...

— Значит, в действительности-то дело-то все-таки было? — грустно усмехнулся Бекайдар.— Хорошо! Теперь второй вопрос: что у вас произошло с Дауке? Стойте, я сразу скажу, что знаю: когда Ержанов пропал без вести, а тут распустили слух, что он перешел на сторону врага,— у него остались труды. К ним имели доступ только вы... Вот, начните с этого места. Что было дальше?

— Дальше-то,— начал Нурке, но в это время резко и оглушительно захохотало и закричало радио.— Ах, дьявол! — радуясь отсрочке, он подошел и начал возиться с приемником, раздался пронзительный вой, он рос, заполнял комнату и словно закручивал и уносил на своих крыльях двух собеседников — отца и сына — куда-то в бесконечные просторы.

Ажимов все поворачивал и поворачивал винт, и вот словно голоса всей планеты хлынули в эту комнату и заполнили ее до потолка. Наконец все потонуло в каком-то торжествующем дьявольском визге. Он заглушил все звуки и был таким пронзительным, что Бекайдар даже поморщился. Ажимов выключил приемник.

— Меня вызвал начальник, и я сказал ему: «Нет, я отказываюсь категорически».

— От чего вы отказались категорически, коке? — спросил Бекайдар.

— Дело было так. Когда некоторые официальные и высокоавторитетные органы («Харкин, Харкин! Подлец и дурак Харкин!» — крикнул ему кто-то в уши) известили, что Даурен Ержанов является чуть ли не изменником родины, наше тогдашнее руководство потребовало, чтоб записка о Жаркыне была подписана только мной. А писали мы ее, конечно, вдвоем. Вот этого требования я и не выполнил. Мы расстались рассорившись. Тогда меня вызвали вторично.

— Ну и что...

И вдруг опять Ажимову, как и двадцать лет тому назад, стало нечем дышать. С пронзительной ясностью, доходящей почти до галлюцинации, он опять вспомнил все. Было ясное солнечное утро. Он вышел из квартиры. Твердый, негибкий, не способный на компромиссы. Шел по улице и повторял: «Ни за что, ни за что, ни за что!» Знал, твердо знал, что его не перешибешь, не переупрямишь, не запугаешь. Подошел к серому зданию, остановился, оправил галстук, строго кашлянул и вошел. Ох, какой каменный холод сразу обьял его в подъезде, едва за ним только бесшумно закрылась стеклянная дверь. Как сразу стало тоскливо и одиноко! Это был поистине крестный путь — дорога на четвертый этаж. Он до сих пор помнит, как он поднимался и как все меньше и меньше у него оставалось решимости, как у него «бледнел румянец воли». Так обязательно бы словами Шекспира определил его состояние сын, если бы он мог ему рассказать все без утайки. Он помнит, как невольно задержался на первом этаже. Здесь было шумно илюдно, как в любом советском учреждении тех лет. Много дверей, почти все они плотно закрыты — и на всех висят самые мирные обыденные дощечки: «Бухгалтерия», «Главный бухгалтер», «Учетно-статистический отдел», «Инженерный отдел». Двери то и дело распахивались и снова захлопывались с громким стуком. Без умолку звенели телефоны и стучали машинки. Жужжал арифмометр. На диванах, на табуретках, просто около дверей сидели и толпились люди.

Второй этаж уже был почти пустой. Только один человек встретился ему, но и он неподвижно сидел на стуле, крепко сцепив руки, и был так погружен во что-то свое,

что никакого внимания на него не обратил. Двери тут были большие, обитые черной кожей. Единственный отдаленный звук, который доносился из-за плотно закрытой двери,— это стрекотанье машинок. Как будто строчил пулемет: «Так! Так! Так!» И все-таки было тихо-тихо, сиротливо-сиротливо.

Вот и четвертый этаж. «Войдите»,— говорят ему в ответ на стук. Он входит в огромный кабинет, весь залитый солнцем. Окно во всю стену, и в нем тоже пустота — только небо и горящие облака, а глаза человека, сидящего за столом, холодны и неподвижны.

Ажимов вспоминает все это и говорит:

— Министр встал из-за стола и приветствовал меня стоя.

Ах, не был Еламан министром и не подумал он тогда встать из-за стола! Даже кивнул-то ему еле-еле и опять начал перебирать свои бумаги. Перебирал их, читал, что-то подчеркивал синим или красным карандашом и молчал. Молчал насупившись — недоброжелательный и загадочный. Потом вдруг поднял глаза, посмотрел, поморщился, увидел неожиданного посетителя и буркнул: «Садитесь, пожалуйста». Ажимов сел и в первый раз посмотрел на Еламана прямо и просто. У него с детства была привычка мысленно обрядить ненавистного ему человека в какую-нибудь странную или смешную одежду, представить его в каком-нибудь необычайном, унижительном виде.

Вот так и сейчас он смотрел на Еламана.

«А вот взять да вымазать бы тебя с головы до ног дегтем, как бы ты тогда выглядел?..— подумал он.— А то надеть бы тебе на голову женский кимешек, и будешь ты баба — злая, ядовитая стерва. Бьет мужа, тиранит детей. Баба, баба!»

И он невольно улыбнулся. И тут же услышал голос, беспощадно насмешливый и холодный.

— Ну так что, надумали?

Ажимов вздрогнул.

— Слушайте, Ажимов,— продолжал Еламан тем же тоном,— и так враг берет нас за горло, а вы из своего упрямства, глупой принципиальности, а вернее, беспринципности — видите, я выбираю самые мягкие определения — не хотите помочь нам использовать Жаркынскую руду, так?

— Вы знаете — я всегда к вашим услугам,— пробормотал Ажимов.

Но сейчас, когда Бекайдар смотрел на него и ждал, он свой ответ передал так:

— Я ему сказал: «Помочь может вам только Еркианов, я здесь сбоку припеку».

...— Отлично,— кивнул головой Еламан,— это все, что мы от вас требуем. Так вот, конкретно: отчет о результатах предварительной разведки вместе с докладной запиской я пересылаю в Москву. Вы начинаете работать на объекте. Даю вам на это год. По окончании этого срока должен быть готов технико-экономический доклад по вопросам освоения и разработки месторождения...

— Понятно,— ответил Ажимов.

— Авторская фамилия и на отчете, и на докладной записке должна быть только ваша...

— Но мы же вместе...— робко начал Ажимов.

— Слушайте, вы, геолог! Бросьте-ка валять дурака! — крикнул Еламан.— Я не советы вам даю, а директиву передаю. Слышите? И вы ее выполните, черт вас дери, хотя бы потому, что я не хочу из-за вас терять голову.

...— И вот осуждай меня, не осуждай, но требования министра я выполнил! Я знал, упорство мое ни к чему не приведет, кроме того, что вместо меня пошлют какого-нибудь полузнайку, который завалит все дело, и открытие отодвинется на много десятилетий. Да, я снял имя моего учителя в докладной записке.

Конечно, и эти соображения могли в то время прийти в голову Ажимову, но в том-то и дело, что пришли не эти, а другие — низкие и шкурные. «Изменник Родины», «сдался добровольно». Эти слова наполнили его душу таким ужасом, что он потерял всякую способность рассуждать.

«Ведь быть учеником такого человека и не отречься от него — это почти то же самое, что самому быть этим самым человеком, в особенности, если тебе предложили отречься и осудить, а ты отказался!» Но если бы дело было только в этом! Наряду со страхом, чувством все-таки по-человечески понятным, в его душу проникали и другие житейские, шкурные соображения. Он думал о том, что один первооткрыватель — это лучше чем два, а если этим одним первооткрывателем будет он, Ажимов, то и совсем хорошо. И он вычеркнул фамилию своего учителя и предпочел забыть о нем накрепко. На всю жизнь забыть. И даже тогда, когда правда могла быть полностью восстановлена, он ни разу не сделал попытку восстановить справедливость. Нет,

как раз наоборот! Он стал панически бояться возвращения своего учителя, бояться того, что где-то, в каких-то архивах отыщется тетрадка, рукопись, докладная записка Ержанова, и станет совершенно ясно, что профессор Ажимов — плагиатор, ворона в павлиньих перьях, попросту бесчестный человек.

...Жаркынский рудник был открыт в напряженнейшие месяцы войны, и имя Ажимова сразу стало известным и славным по всей стране. Вскоре после того, как были выданы первые пробы металла, Нурке перепечатал рукопись своего учителя, подновил в некоторых местах текст, заменил устаревшие фотографии и сдал монографию в печать. Вот тогда Еламан уже действительно встретил его стоя.

— Ну, дорогой мой,— сказал он, заключая его в объятия,— теперь могу сказать уже без дураков: утешил, утешил! Вот уж точно утешил!.. Профессура тебе обеспечена! Подожди: еще лауреатом будешь! А все почему? Потому что послушался меня. А все еще упирался, дурашка!

Потом он отпустил его, возвратился на свое место (как все это ясно стоит в глазах Ажимова и через двадцать лет!), сел и сказал:

— А дорогу мы тебе, друг, откроем! Зеленую улицу! Будь только достоин — не якшайся со всякой сволочью! Не забывай своих благодетелей! Помни: неблагодарность — большой грех!

И он, Ажимов, искренно ответил ему:

— Я вас, товарищ Еламан, никогда не забуду!

Вот все это он вспомнил сейчас, и его даже передернуло. Он вскочил с места и забормотал:

— Дорогу откроете! Зеленую улицу! У, сволочи! Открыли! Открыли, а голову сняли. У, сволочи!

И опять, как во сне или в бреду, представилась ему эта дорога. Он видел ее почти галлюцинаторно, и потом, вспоминая эти минуты, он думал, что все это прошло перед ним, как будто в кинематографе. Сначала эта дорога была длинным залом заседаний, окрашенным в золотисто-зеленый цвет. Стоят тяжелые кресла с фигурными спинками, сияет высокая дверь с золотой табличкой «Директор». Около нее много людей, это те, которые ждут приема: есть душистые расчесанные бороды, роговые очки и портфели, а есть и просто обветренные, посеченные солнцем и дождем лица, на коленях у таких полевые сумки и ящики с образцами. Он вошел и тихонько примостился на свободный стул у двери. И почти сейчас же дверь отворилась, и вышла

девушка, маленькая, кудрявая, из вечной породы личных секретарш.

— Товарищ Ажимов,— сказала она, глядя мимо него,— вас просят.

Он поднялся, и все обернулись к нему. А когда он через две минуты вышел из кабинета, шаги его были тверды и бесшумны, а голова горделива и неподатлива. На других посетителей он даже не посмотрел.

Это были его первые неправильные шаги по земле. Это была его первая недружелюбная улыбка. Он шел по зеленой улице, по большой дороге.

Так и сказал о нем некто, сидящий у самого входа: «Этому юноше теперь открыта большая дорога».

А ведь на большую дорогу, когда стемнеет, выходят разбойники! Как этого он не сообразил раньше!

...И пошла, и потянулась эта зеленая дорога. Он помнит: был ясный солнечный день. Он шел по зеленой тенистой аллее, играя тростью с набалдашником, перед ним было здание университета — маленькая лестница. Он поднялся по ней. Дверь как-то сама собой распахнулась настежь. Распахнулась и первая входная, и вторая стеклянная, и третья, обитая глухой черной кожей. На ней уже горела золотом новая дощечка: «Декан факультета геологии Н. Ажимов». Он скользнул по дощечке беглым взглядом, хозяйским жестом отворил дверь. Из-за стола навстречу ему поднялась секретарша. Она была все так же красива, молода и изящна, как и тогда, когда они впервые встретились в приемной шефа. Больших усилий стоило ему сманить ее, но он все-таки это сделал, и вот она почти его личная собственность.

— Нурке Ажимович,— сказала секретарша, поднимая какую-то телеграмму,— вас приглашает Москва! Совещание в Академии наук.

Нурке пробежал глазами телеграмму, кинул ее на стол. Потом обнял секретаршу. Радость переполнила его до краев.

Ведь это сегодня он первый раз вошел в этот кабинет как хозяин.

...Еще одно — уже малоприятное воспоминание: это было примерно через месяц после того, как он занял деканский кабинет. После обеденного перерыва он подошел к своему письменному столу и увидел: поверх почты лежит стеклянная дощечка, совершенно подобная той, которая прибита к его двери. Только написано на ней: «Декан гео-



логического факультета Даурен Ержанов». Нурке бешено нажал звонок. Вошла секретарша. Он повернулся к ней бледный от злости.

— Слушайте, Катя,— сказал он, называя ее на вы,— я думал, что вы смогли бы избавить меня от этих штук. Как это опять сюда попало?

И он швырнул дощечку под самые ноги девушки, так, что полетели только брызги. Секретарша взвизгнула. Он подошел к ней, сжимая кулаки.

— Меня этими шуточками не возьмешь,— сказал он сипло,— поняла? Собери осколки!

...И вот еще одна зеленая улица. Огромные, высокие, почти триумфальные тополя, целая аллея таких пирамидальных тополей. Он вышел из машины. На пиджаке его сверкал орден Красного Знамени. Он подошел к парадной лестнице дома и остановился. Он знал: сейчас его встретят. И, действительно, по лестнице быстро сбежало несколько притких молодых людей. Они окружили его, и он даже слегка растерялся от их рукопожатий и поздравлений. До того они искренне звучали. И тут, медленно и тяжело стуча по ступенькам палкой, спустился высокий, совершенно седой человек могучего телосложения.

— Здравствуйте, мой дорогой друг!— сказал он и обнял его за плечи.— И все сразу замолчали. Это был академик, имя которого знал весь мир. И вот они вместе поднимаются по лестнице, а все остальные почтительно следуют за ними.

...Еще кадр из воспоминаний и на этот раз опять неприятный.

Большой зал заседаний. Жужжат прожектора, несколько киноаппаратов. Очень много людей. Взрыв аплодисментов. Раскланиваясь направо и налево, прижимая одной рукой к груди букет, а другой — большой тяжелый альбом с вытисненной золотом надписью, он сходит со сцены. А ему еще и еще подносят цветы, и он опять и опять кланяется во все стороны и отвечает на приветствия. И вдруг он вздрагивает. Перед ним — Еламан. Он стоит и смотрит ему в глаза с мучительной улыбкой. Ажимову тогда показалось даже, что Еламан что-то хочет сказать ему, но он слепо двинулся на него, и Еламан исчез, как будто растворился.

Еще кадр — где это и когда? Кажется, в Москве, в номере гостиницы. Все завалено цветами. Цветы стоят в вазах. Валяются на столе, на подоконнике, просто на полу.

Он, злой и изнуренный, лежит на постели с закрытыми глазами, а в углу рта все время бьется какая-то нервная жилка. Рядом в розовом пеньюаре сидит все та же Катя. Она изрядно пьяна и покачивается. Перед ней на ночном столике лежит тяжелый юбилейный альбом. Женщина лениво листает его, временами шумливо хмыкая, и летят, летят его фотографии: он — рабочий, он студент, он на первой лекции, он с практикантами.

— Боже мой, какая скука! — говорит женщина, зевая (может быть, притворно). — Какой же ты был неинтересный до встречи со мной!

С этой женщиной он прожил десять лет и, кажется, прогнал ее именно в этот вечер. Уж слишком его взорвали ее слова. А может быть, он и не в этот вечер ее выгнал, а в другой — это теперь не имеет значения. «Где она сейчас, бедная? И не жива, наверно, уж! Где уж там! Война, эвакуация, болезни. Она сильно, говорят, пила последнее время и болела. Впрочем, она и при мне уже пила, а я не останавливал. А потом что было?» Кинематограф вдруг прекратился, и полезли слова, одни слова, вернее даже не слова, а названия: «директор», «депутат горсовета», «депутат Верховного Совета», «проректор», «ректор», «лауреат» — всем этим он был и все эти звания носил. И как не правы те, кто называет его эгоистом. Он всегда, если мог, помогал людям. Разве вот он не помог Еламану? Кто протянул ему руку помощи, когда он лишился работы? Разве не он? Его отговаривали, а он не послушал, его пугали, а он не испугался. Не испугался — и все! Он бы и больше ему помог, если бы... Если бы не своя карьера. Неужели он и впрямь сейчас клонится к закату? А кажется, похоже, похоже. Вот взять бы хоть этого сопляка. Пришел ночью и требует ответа. Как ты прожил жизнь? В чем можешь покаяться? В чем себя признаешь виноватым! Да кто ему дал право задавать такие вопросы отцу? От-цу! Вот уж действительно настали времена, когда яйца учат курицу. Или он хочет меня приобщить к своей вере! Старого коня превратить в жеребенка?! Боже мой, чего только не забили себе в голову эти, так называемые, разгневанные молодые люди?!

Бекайдар подошел к радиоприемнику и выключил его. В комнате наступила тишина. Нурке вздрогнул и словно проснулся. Он искоса посмотрел на сына. Тот сидел молча.

— А ты ведь доктринер. Мальчишка, родившийся чуть ли не в год войны, хочет обвинить старика во всем том, что породила война. Даже военный трибунал признает

смягчающие вину обстоятельства, а ты вот и слышать об них не хочешь. Виноват — и все! А я ведь был в те годы твоих лет и тоже хотел выбиться на широкую дорогу,— только не было у меня отца, который убирал бы с нее камешки, чтоб я не зашиб ногу. Да и вообще никого не было. Вот в этом все и дело. Ну, конечно, я блуждал, кривил душой, иначе и быть не могло, но...— Он не закончил и махнул рукой.— А! Разве ты поймешь!

— Отец,— сказал Бекайдар осторожно,— вот вы сказали про блуждания. Но есть блуждания и есть поиски. Поиски своей дороги, своей собственной. Вот ее то вы искали?

— Что ты хочешь сказать?— спросил Ажимов, у него кружилась голова, и он в самом деле плохо соображал, о чем его спрашивает сын.

— Я вот что, коке, хочу сказать,— произнес Бекайдар, и Ажимов с благодарностью поглядел на него: ведь он опять употребил это нежное сыновье слово «коке».— Я хочу спросить вас, какую дорогу вы искали? Свою собственную или просто удобную? И по какой вы сейчас идете — по своей собственной или по какой-то другой?

— Здорово,— вздохнул Ажимов, у него уж не хватало сил сердиться.— Ты признал меня виновным, даже не поговорив. Ну, сынок, ну, дорогой мой...

— Отец, ну к чему тут ирония?— поморщился Бекайдар.— Чему она поможет? Да ровно ничему! Я же люблю тебя, отец! Люблю — понимаешь? Разве иначе мне было бы так тяжело? Эх, не сорок первый год сейчас! Ушел бы я на фронт кровью искупить твою вину — и делу конец! Так всегда делали дети согрешивших отцов. Тогда и в глаза Дамели и ее отца мне смотреть было бы не совестно, а сейчас...

Он махнул рукой. И такая искренняя боль и скорбь превзвучали в этих словах, что Нурке стало жаль сына.

— Так ты что, настолько уверен, что я преступник, что даже и выслушать меня не хочешь?— спросил он.

— Да наоборот,— я все время жду от вас слова, а вы молчите.

Ажимов встал и заходил по комнате. Страшное, как будто предсмертное томление овладело им вдруг. Ему уж не хотелось ни лгать, ни притворяться. Если бы он был один, то, верно, застонал бы от боли.

— Хорошо, я виноват,— сказал он.— Да, я в известный момент струслил и согласился — слышишь ты? Согла-

сился, но не больше! Поверил в то, что Даурен, если и не сдался в плен добровольно, то, во всяком случае, струсил, и не сражался до последнего патрона. Я слушал без возражения и сам повторял эту клевету за другими. В этом моя вина! Единственная! Стой, слушай дальше. Обстановка была такова, что иначе себя я вести не мог. Дело шло о моей голове. А значит, и о твоей голове тоже, мой принципиальный, смелый сын. Сейчас, когда ты вырос, тебе легко обвинять меня в малодушии и даже нечестности. Посмотрел бы я, как ты бы заговорил тогда и намного ли бы ты был храбрее меня? Ох, как бы я желал посмотреть! Милый мой, ты вырос под отцовским крылышком, и ничто нехорошее тебя не коснулось. Я! Я за этим следил день и ночь. И тебе можно быть чистым: все удары за тебя принял опять-таки я. Но сказать ли тебе? Был мир и за пределом твоей детской комнатки, и в этом мире, порой, не только друг отворачивался от друга, но и сын отрекался от отца. Так бывает в мире иногда, дорогой, и не я в этом виноват! И последнее: ни своей трусостью, ни своей подлостью — назови это хоть так — я Даурену повредить не мог, потому что реально его не существовало. Вот это и все. И не клейми меня, пожалуйста, как преступника, я не хуже, чем все.

— И все-таки это клеймо,— сказал Бекайдар, добросовестно подумав,— человек при всех обстоятельствах должен...

— Э, заладил, заладил!— с досадой махнул рукой Ажимов.— Что значит при всех обстоятельствах? Каких именно? Истина всегда конкретна! А знаешь ли ты, что даже в уголовном кодексе есть статьи о крайней необходимости и о праве обороны. Знаешь? Люди часто вместо того, чтоб идти прямо, плутают. Почему? Потому, что ли, что человек так устроен, что ему не нравятся прямые дороги? Чепуха, дорогой! Бураны, да грозовые ночи сбивают его! Если я и заблудился, то, поверь, не по своей воле. Земля только для астрономов и геофизиков — ровный шар, а для остальных — это очень бугристое место. И на нем конь, с четырьмя ногами, да и то спотыкается. Помни, пожалуйста, эту пословицу!— и он разгневанно заходил по комнате.

— Хорсию,— сказал Бекайдар, все продумав,— на первый вопрос вы мне ответили. Вы поступили против своей совести, потому что время было трудное. Я об этом судить не имею права, потому что ничего подобного не переживал. Ладно! Остановимся на этом. Теперь второе, о чем я слышал,— Бекайдар подошел к полке и достал книгу в

толстом черном дерматиновом переплете.— «Геологическое прогнозирование,— прочел он громко.— Опыт изучения Жаркынских хребтов».— Эта книга принесла вам мировую славу. Написали вы ее после открытия рудников. Так вот, ходит разговор, что это произведение не ваше, а Даурена Ержанова, что вы воспользовались его докладом и тем материалом, который он вручил вам, уходя на фронт. Скажите, есть во всем этом хоть слово правды?

Нурке устало махнул рукой.

— Вот это называется убил бобра! Никаких записок он мне не оставлял, а доклад этот составил я лично, и он у меня есть. Я завтра его тебе покажу. Им я действительно воспользовался и довольно широко, но, честное слово, ни к твоему Дауке, ни к кому иному это отношения не имеет. Разведывали Жаркынское месторождение мы с Дауреном вместе, и поэтому совершенно не исключено, что он, как и я, догадывался об его огромном значении. Вероятно, даже определенно догадывался. Поэтому вполне возможно и то, что в каких-то работах Даурена, опубликованных в то время, попадутся общие с моими названия, ориентиры, цифры, отдельные соображения. Но это и все! Слушай!— Ажимов положил на плечо сына ладонь и дружески наклонился над ним.— Он просто старый неудачник и завистник. Только и всего. Он вместе со мной бродил по этим хребтам, вот ему сейчас и кажется, что это он их открывал! А ты слушаешь его, мотаешь на ус, не боишься обвинить отца в настоящем преступлении. Ах, как это нехорошо!

Пока Ажимов говорил, он совсем успокоился: так его всегда гипнотизировали звуки собственного голоса, уверенного, спокойного, с округлыми лекторскими интонациями. Кроме того, он знал: отрекаясь от всего, он ничем не рискует. Тайна известна только одному Еламану, а он скорее умрет, чем расскажет правду, «расколется», как выражался он. Что ж касается того, что сын ему бросил в лицо такое обвинение, то ведь он ждал его давно и ответ свой подготовил тоже давно, и хорошо, наконец, что такой разговор состоялся. Теперь сын не может уже сказать, что он от него уклонился. И, сообразив все это, Нурке добавил:

— Нет, уж если ты во всей этой истории хочешь отыскать преступника, то лучше всего обратись к самому Даурену. Вот он — настоящий преступник.

— Как это? — вскочил Бекайдар.

— А так, дорогой! — очень просто, ласково и ядовито ответила Ажимов.— Натравлять отца на сына — это одно

из самых тяжелых преступлений на свете! Ты, надеюсь, хоть этого-то не станешь отрицать, а! И кто же идет на такие преступления? Да вот такие старые неудачники, причем и ему обидно, что другим повезло. Ведь они как рассуждают? Раз мне плохо, так и всем пусть будет плохо! Раз у меня нет, то отними, боже, это же и у другого. И отнимают чужую славу, чужое открытие, чужого сына.— Голос Ажимова вдруг обрел силу.— А ты, друг мой, надо тебе сказать, ведешь себя далеко не как мужчина, а тем более, не как жигит. Собираешь силетни, ввязываешься в интриги против отца! Врываешься ночью в его дом с какими-то глупыми подозрениями! Требуешь ответа на какие-то чрезвычайные вопросы! Разве так поступают мужчины?! И кто тебя толкает на все это?! Девчонка, которая тебя же публично отхлестала по физиономии! При доброй сотне друзей отхлестала! Уйти со свадьбы! Боже мой! Да такого в казахской степи не слышали триста лет! И ты не только простил, ты допускаешь, что эта красивенькая стерва вконец поссорит тебя с отцом. Да что поссорит! Прикажи она меня зарезать — ты зарежешь! Уверен, зарежешь и не задумаешься! А этот старый прохвост, эта колымская лиса, сволочь эта...

И Ажимов вдруг так ударил кулаком по столу, что задребезжала посуда.

— Ложь это!— крикнул Бекайдар и вдруг расплакался.— Ложь, ложь, ложь... и как вы можете!..— И он бросился из комнаты, хлопнув дверью.

А Ажимов вздохнул, покачал головой и зашагал по комнате. Он чувствовал себя очень твердым. Жив Даурен или нет, будет ли он молчать или не будет, но единственный первооткрыватель Жаркынской меди — Нурке Ажимов, и переиграть этого никому не удастся! В этом он был уверен.

### 13

Но точно ли, что так уж никому? Через три дня после юбилея Жариков выехал в Алма-Ату. Как прекрасна столица Казахстана ранней осенью! Солнце по-прежнему сияет с голубейшего прозрачного неба, но уж нет той тяжелой иссушающей жары, которая нависает над городом в июле и августе. Легкий ветерок гуляет по просторным улицам, и кажется: это кто-то шелковым платком провел по твоему лицу. А кругом багрянец и золото. Деревьев много — они все высокие и стройные. Разноцветные листья их — лимон-

но-желтые, карминно-красные, насыщенного винного цвета — так и горят на солнце. Но особенно хороша Алма-Ата утром. Солнце еще не встало, и длинные прямые улицы как бы наполнены легчайшим голубым туманом. И, как через прозрачное стекло, встают высокие багровые каны, золотисто-красные листья винограда, алые и белые розы, кремовые, лиловые, желтые астры.

Взглянешь на эту роскошь цветов, оттенков и форм — и сразу становится радостно на душе: Город еще спит, магазины закрыты, но все богатство осени рдеет на его витринах. Огромный расписной апорт, весь в кровеносных жилках, пятнах и подтеках, кисти желтого, зеленого и лилового винограда, горы арбузов — полосатых, как зеленые зебры. Кажется, идешь не по городу, а по сказочному царству, где все дома пряничные и карамельные.

«Хорош, хорош, однако, город ранней осенью! — После саятских пронизывающих ветров и мертвенно-серых безжизненных пустынь Алма-Ата показалась Жарикову чудесным садом. — Да, вот какие еще места бывают на свете, — подумал он, — я то...»

Именно в этот ранний час он вышел из гостиницы «Казахстан» и пошел по городу. В учреждение ему надлежало явиться ровно в десять, но он решил прогуляться. Прошел оба парка, посидел в затененных аллеях, посмотрел на гигантские белые акации с огромными кроваво-бурыми лакированными иглами, дошел до резвой Алмаатинки, посмотрел, как она грохочет по камням и бьет фонтанами около порогов, послушал, как журчат арыки, посидел около памятника Абаю. Он очень красив, когда на него смотришь несколько издали: тогда фоном ему служат горы — сизые, голубые и белые вершины Алатау, поросшие горными лесами, а точно в назначенный час он взбирался по той самой лестнице, которая однажды в недоброе утро так запомнилась Нурке. Только теперь лестница эта была иная, и все вокруг нее было иным: ступени, покрытые ковром, стены небесно-голубого цвета, распахнутые в прохладное алмаатинское утро окна — все было иное. Людей было уже достаточно, и они разбрелись по всем этажам. Около каждой двери стоял диван, и на каждом диване сидели люди. Жариков легко взбежал по лестнице. Он генерал, но он очень редко делает что-нибудь солидно и медлительно — только когда знает, что на него смотрят со стороны, а так движения его быстры и раскованы — он легок и стремителен, как юноша. «А все-таки безобразно, что здесь нет лифта, — по-

думал он, останавливаясь на четвертом этаже, глядя наверх,— и лестница какая неудобная! Крутая, с мелкими ступенями».

Нужную дверь он нашел сразу. Она была обита красным дерматином, и на ней висела дощечка «Управляющий трестом». Дощечка черная, а буквы легкие, голубые. Во времена Еламана дверь была черная и буквы черные. Еламан не любил легкомысленных тонов. Все в его кабинете должно было походить на хозяина: мебель, обои, надписи.

По кабинету гулял легкий утренний ветерок. Прямой луч солнца лежал на паркете и казался прозрачной лужицей света. Жариков поднял голову и встретился с глазами Ленина. Слегка прищурясь, вождь смотрел на посетителя и улыбался. Он был очень прост — этот вождь простых мужественных людей, и почти так же прост был и человек, сидящий за столом. Он поднялся и пошел навстречу Жарикову. На нем был легкий костюм из серого коверкота («Не забыть спросить, где он покупал такой,— быстро подумал Жариков,— если в Москве или Ленинграде, напишу друзьям, пришлют») и голубая сорочка с расстегнутым воротом. И на ногах что-то очень, очень легкое, почти домашние туфли. А волосы у человека были густые, пышные, как их раньше называли — поэтические.

— Генерал Жариков? — спросил человек и ответил на его протестующий жест. — Ну как же не генерал? Если в форме, то генерал (Жариков, пожалуй, и сам не заметил, что для этого важного визита он надел форму и нацепил всю колодку орденов). Позвольте представиться — Есенин, — и, заметив, как приоткрылся рот у Жарикова, добавил: — Даже больше: Сергей Есенин. Только вот не Александрович, а Петрович, — он засмеялся. — Вот такие глаза, как у вас, я вижу у всех, кому я назову свое имя и фамилию. Что делать? Отец пошутил. Видно, думал, что стану поэтом, а я вот, видите, в геологию ударился.

«В геологию-то в геологию, — подумал Жариков с опаской, — а стихи-то, верно, все равно пишешь», — и сказал: — Да стихи, это... конечно... Только вот специальности-то у нас не больно поэтические...

— Почему? — удивился Есенин. — А вот недавно ко мне приходил ваш молодой геолог. Так вот такие стихи пишет!

— Кто же это такой? — спросил Жариков.



— Да вы знаете его. Знаете. Он от вас в полном восторге. Бекайдар Ажимов, сын вашего научного руководителя. Что так на меня смотрите?.. Разве вы...

— Да-а,— сказал Жариков, садясь на придвинутое ему кресло,— правильно говорят: век живи — век учись. Знаю я этого парня. Очень даже хорошо знаю, но таких талантов за ним...

— Значит, он вам ничего не читал? А вы попросите — он прочтет. Одно, посвященное любимой, хоть сейчас в «Новый мир» или в «День поэзии» отсылай. А Шекспира наизусть по-английски шпарит! Вот как! Нет, геология — наука поэтическая!

«Эх, опять забыл поговорить с ним насчет Дамели,— подумал Жариков,— я ведь обещал Даурену, обещал. А стихи ты, друг хороший, все равно пишешь! И не дури мне голову!»

— Что ж, вспомним на будущее,— сказал он,— у меня первый завет — изучать свои кадры, и вот, как видите, изучаю...

— Ну, не знать, что ваши работники, пишут стихи, это еще не самое страшное,— засмеялся Есенин.— Геолог-то он, кажется, талантливый, свои мысли есть. Вот дошли с вами наконец и до геологии. Скажите, из разговора с ним я понял, что отношения в экспедиции между участниками складываются не совсем, как бы сказать, удачно?.. В чем тут дело?

— Дело в меди, Сергей Петрович,— просто ответил Жариков.— То есть она, окающая, то нет ее. Вот и спорим и ругаемся. А кроме того...

И Жариков в нескольких словах рассказал о цели своего прихода. Есенин слушал и хмурился. Потом он пошел и сел на свое место за стол.

— Да, Афанасий Семенович,— сказал он наконец,— вопрос о Сяте — это очень трудный вопрос. Трудный и сложный, и тут мы с вами за столом его, конечно, не решим. Шла, шла медь с севера на юг и вдруг пропала. Как, почему — непонятно. Вот на днях к вам приедет специальная комиссия из Министерства — она и решит. А Даурена Ержанова я знаю хорошо. Еще по Дальнему Востоку знаю. Ну как же, мы же вместе работали. Он открыл несколько очень значительных месторождений и первого металла и второго. Это наши Дальстроевские термины. Читал и некоторые его статьи. У нас в библиотеке есть сброшюрованный экземпляр их. Видно, кто-то специально

этим занимался. Слышал я и то, что вы сейчас сказали: пропал без вести, и все его бумаги оказались у Нурке, а тот... Ну, и так дале. Но ведь это все слова, Афанасий Семенович. Фактов-то нет, следы утеряны...

— Неужели так-таки и утеряны?

— Так-таки и утеряны. Бумаги Даурена поступили, как это видно из журнала входящих, к некоему Курманову — кстати, мы разговариваем как раз в его кабинете, а того, конечно, и след простыл.

— Пойдите,— чуть не вскочил с места Жариков. — Курманов? Еламан Курманов? Работает у нас такой!

— Да, совершенно правильно,— пораженный, кивнул головой Есенин.— Еламан Курманов. Значит, вот он где притаился... А ведь, знаете, мы его искали. Он у нас много чего накалечил, я наводил справки. Оказывается, отсюда, из этого кабинета, он сбежал на фронт. Буквально сбежал, иначе бы ему несдобровать. А на фронте он был... Ну да посмотрите вот сами, чем он там занимался. Как раз эти бумаги я сегодня собирался отправить в архив,— и он вынул небольшую синюю папку. В ней было всего около десятка документов, но, прочитав их, Жариков сказал:

— Значит, вон оно что!..— и попросил разрешения закурить.

— Да, это самое, Афанасий Семенович,— сказал просто Есенин,— печально, но, как говорится факт, и против него, видно, уже никуда не погрешь. Сам Курманов нам был недоступен — мы даже думали, что его нет в живых, а он вот где выплыл! Но дела мы его знали. Конечно, только в самых общих чертах, но и этого было предостаточно. С Ажимовым, конечно, дело много сложнее, и тут я пока ничего говорить не буду, но то, что честь открытия Жаркынского месторождения он, по крайней мере, пополам должен разделить с Дауреном Ержановым,— это представляется нам сейчас совершенно бесспорным. Разные разговоры об этом ходили и раньше, но.. вы ведь знаете, как не любит шутить уважаемый профессор Ажимов.

— К тому же Харкин...— пробурчал Жариков.— Он слышал это имя и от Хасена, и от самого Ержанова.

— А, и вы знаете эту фамилию,— засмеялся Есенин,— правильно, правильно, Афанасий Семенович, к тому же и Харкин, вернее харкины, этих подлецов, к сожалению, всегда появляется предостаточно, как только начинает доставать людей...Э, да что там говорить!— Есенин махнул рукой и целых полминуты просидел неподвижно.— Вы

извините, я всегда завожусь, когда говорю об этих харкиных. Я ведь, знаете, воспитывался у дяди, брата матери... — Он еще помолчал, подумал, потом выдвинул ящик, вынул пачку сигарет и закурил.

— Да-а,— сказал Жариков, присматриваясь к его лицу.— Да, Сергей Петрович...

Есенин быстро и глубоко затянулся несколько раз, потом бросил папироску в пепельницу.

— Ладно! — сказал он.— Это все сантименты, но мы с вами администраторы, и давайте рассуждать административно. Даурен и Нурке работают в одной экспедиции. Даурен подчинен Нурке. А тут еще Курманов! Ничего доброго из этого, конечно, выйти не может. Это, кажется, ясно.

— Ясно,— сказал Жариков.— Ясно.

— Но чтоб вам совершенно было уже все ясно... — сказал Есенин и нажал кнопку. Вошла секретарша.

— Пожалуйста, ту папку, что нам прислали по моему запросу из прокуратуры,— сказал он ей.— Ведь тут совсем недаром все время всплывает этот деятель Харкин.— Ох, недаром! Вот сейчас увидите, что он натворил!

...Еламан сидел бледный и растерянный. Жариков с ним говорил ровно, не повышая голоса, но ничего не спрашивал, а только утверждал. Так, он утверждал, что все бумаги Даурена Ержанова были в свое время переданы Курманову, и теперь он должен сказать, где они находятся. Далее он утверждал, что среди этих бумаг должна быть докладная записка о Жаркынских хребтах, пакет с фотографиями, папка со стереоспектрограммами и анализами образцов.

Еламан к этому разговору был подготовлен. То есть, теоретически он всегда допускал, что такой разговор может состояться, и поэтому отвечал спокойно, точно, и, как бы сказал Ажимов, великий любитель истинно русских выражений, «не растекаясь мыслью по древу». Кроме того, у него было свое собственное золотое правило: «Знаю — это тысячи слов, не знаю — одно».

— Афанасий Семенович,— сказал он,— на том месте, о котором вы меня спрашиваете, я просидел около десяти лет и прочитывал иной раз до полусотни бумаг в день. Ну, судите сами, что я могу вспомнить через двадцать лет о какой-то одной бумаге? Могу только заверить, что все выходящее из ряда вопию помню. Такие же документы, о которых вы говорите, мне в руки не попадали вообще.

— Это точно?— спросил Жариков.

— Это точнее точного, Афанасий Семенович.

— Значит, если бы вам в руки попали такие бумаги, вы бы их обязательно запомнили? Так? Ведь вы хотя бы по роду своей службы должны были бы обратить внимание на такого геолога, как Ержанов, правда?

Еламан сделал вид, что ему очень скучно.

— Вы меня ловите, что ли, Афанасий Семенович?— спросил он с легкой насмешливой улыбкой.— Ребенком считаете? Ну к чему? Раз вы уж так подробно изучили мою биографию, то должны бы уж знать, в каких органах я работал.

— Знаю,— твердо кивнул головой Жариков,— но учитывайте, что я пограничник.

— И поэтому разговариваете со мной, как с задержанным шпионом? Не выйдет, Афанасий Семенович. Я не шпион и не перебежчик. Я такой же честный гражданин Советского Союза, как и вы. И если вы охраняли внешние границы республики от наших общих врагов, то я делал то же внутри страны. Вот и все. Партия мне доверяла.

— Так,— сказал Жариков, и в глубине его глаз на мгновение вспыхнули и сейчас же угасли какие-то огоньки.— Так, значит, с неугодным Дауреном Ержановым вы справились. С его братом Хасеном тоже... «Почему твой брат не застрелился?»— это ваши слова или Харкина? Или вас обоих? Ну, что ж вы молчите?

Еламан сидел, опустив голову, потом вдруг поднялся и спросил:

— Вам что, генерал, угодно надо мной издеваться?

— Нет, только спрашивать и пытаться получить ответ. Ладно, вот еще один вопрос. Я смотрел некоторые ваши личные документы. Из года в год вас неизменно повышали. В чем дело? Какие такие особые качества имел Еламан Курманов, чтоб так скакать через ступеньку? Или опять Харкин, а?

Еламан злобно усмехнулся, и на мгновение Жариков увидел перед собой не лицо, а звериную морду с волчьими складками около носа и оскаленными мелкими желтыми зубами. Это было почти страшно.

— А что вы меня спрашиваете? Вы спрашивайте тех, кто меня назначал. Они вам ответят.

— Спасибо за совет. Спрашивать мне уже не надо. Я сам все знаю.

— А раз знаете...— Еламан пожал плечами и поднялся со стула.

— Сиди!— крикнул вдруг Жариков и сразу побледнел.— Сиди... Ах ты...— он проглотил какое-то слово.— Ведь, кроме зла, от тебя никто ничего не видел. Разве ты по лестнице взбирался? Ты по чужим трупам лез. Свое счастье строил на несчастье других. Только ждал, когда над головой человека соберутся тучи, чтоб поджечь его дом. Не я, а молния, мол, сожгла! И весь разговор. Молния с неба. Ах ты черт!— дрожащими руками Жариков вынул трубку и стал ее набивать.— Вот уже верно говорят: гром не из тучи, а из навозной кучи! Ладно! Об этом пусть с тобой господа Харкины вспоминают! Говорят, что еще жив твой прохвост, где-то до сих пор с палочкой болтается, в преферансик играет и тоже о своих боевых заслугах, мерзавец, рассказывает! Есть, есть у него «боевые заслуги!» Сидел на фронте в одном хорошем месте, пока нас не осчастливил! Итак, я повторяю вопрос: «Что вы знаете о бумагах Даурена Ержанова?» Вспомните.

Еламан пожал плечами.

— А что мне вспоминать? Не знаю — и все.

— Не знаете?

— Нет.

— Хорошо. Вот вам заверенная выписка — ваша канцелярия получила докладную записку за подписью Даурена Ержанова и Нурке Ажимова. Смотрите, графа «содержание»: «О геологической разведке в Жаркынском ущелье». Теперь вам ясно, что не все следы утеряны. Где эта докладная?

Еламан пожал плечами.

— Не знаю, не помню.

Наступило молчание.

— Слушайте, Еламан,— сказал наконец Жариков,— я ведь думал, что вы умнее. Вы понимаете, что происходит? Следы привели нас к вам вплотную, и мы вас уже не оставим. Вы будете отвечать, и не по закону тех времен, а по нашему сегодняшнему закону. Вы и ваш проклятый Харкин. Я даю вам последний шанс, покайтесь, заглавьте свою вину хотя бы частично. Расскажите все честно. Вы уничтожили эти бумаги?

— Я уже вам сказал,— ответил Еламан,— я ничего не знаю и ничего не трогал. Что ж касается всего остального, то, дорогой генерал, я работал на победу, и страна победила. С меня хватит. Больше я ничего не хотел и не хочу.

— Ой господи, страна победила! — вздохнул Жариков. — Из-за вас она пришла, победа? Сколько лишней крови вы, харкины и курмановы, прибавили к неизбежной. Насколько легче было бы победить, если бы не вы. Ладно, не об этом разговор. Разговор идет о том, что вы до сих пор еще стараетесь пакостить, что вы так ничего и не поняли за эти десятки лет?! До сих пор вы все двери предпочитаете открывать воровскими отмычками, а не ключами. Ну ладно, тут вы скажете, что, во-первых, вы были только орудием, а действовали совсем другие люди, и, во-вторых, что тогда вы были убеждены в том-то и в том-то, и если делали зло, то не ведая, что творите, так? Я бы мог вам на это, конечно, ответить, что не только вы были орудием, но и сами других людей превращали в свои слепые орудия.

— Вы можете привести примеры? — спросил Еламан. Ему страстно хотелось, чтобы Жариков назвал сейчас Ажимова. Вот тогда бы разговор сразу принял другой оборот, но Жариков спокойно ответил:

— Пока воздержусь. Я только хочу спросить: «Хотите вы перейти на настоящий человеческий путь или нет?»

— Я на нем и стою, — усмехнулся Еламан.

— Тогда кончим, — сказал Жариков и поднялся, — но помните: вы оттолкнули руку, которую я вам протягивал.

...Осенние заморозки ударили внезапно. Вслед за холодными дождями вдруг выпал пушистый обильный снег. Работы прекратились. Сезонники получили расчет. Остались только специалисты. И Нурке, и Даурен понимали, что настала пора полного открытия расчета. И Ажимов затаился перед последней схваткой. Она должна была вот-вот наступить.

Как раз в это время Еламан выехал в Алма-Ату. Ему крайне необходимо было посоветоваться с давнишним другом и покровителем и решить, как следует вести себя в дальнейшем.

А в тот вечер Харкин сидел за столом и бросал карты. Ему опять вчера не повезло, и он оставил что-то около пяти рублей. Деньги не такие уж и большие, но если подумать, что он проиграл и вчера, и позавчера, и еще на той неделе, а до пенсии осталось еще — ого-го! — полмесяца, то есть почему быть не в себе. А тут еще жена!.. Вчера она сказала, что не зря его, ханыгу, уволили в отставку. В общем, он был очень расстроен. В это время дочка и сказала ему, что пришел Курманов. Сначала Харкин даже рассердился: ну-

жен ему сейчас какой-то Курманов. Но потом подумал, что зря этот завхоз не ходит, значит, есть дело.

— Сейчас выйду,— сказал он дочке и собрал карты.

Еламан ждал в прихожей около вешалки. Он был в сером дорожном пыльнике.

— Здравствуйте, товарищ Курманов,— сказал Харкин, улыбаясь.— Ну хорошо, что застали. Еще пять минут — и меня бы не было. Пошел бы в подшефную школу (никакой подшефной школы у Харкина, конечно, не было), что расскажете хорошенького?

Еламан, строгий и неулыбающийся, слегка наклонил голову в знак приветия и сказал:

— Если вы разрешите, я немного провожу вас.

Харкин снял с вешалки плащ и мягкую шляпу, оделся, взял палку и сказал:

— Ну, пойдете! Минут десять у меня есть. Посидим в садике! И пока они спускались (дом был ведомственный, пятиэтажный, с лифтом), Курманов сказал:

— Позавчера меня третий раз вызвал наш начальник — генерал Жариков.

— Ну и что?— спросил Харкин.

— Спрашивал о вас,— ответил Еламан.

— О чем же?

— Да о вашей деятельности вообще...

— А что вы знаете о моей деятельности!— огрызнулся Харкин.

Еламан пожал плечами.

— Я так ему и ответил.

Харкин к подобным разговорам был приучен давно, но все равно его покорило; он был из тех службистов, кто мог легко вмещать в себя два противоречивых начала, два абсолютно отрицающих друг-друга понимания. Абсолютная, чисто кондотьерская беспринципность и бессовестность делали это совмещение даже легким. С одной стороны, как человек не полностью глупый, он совершенно ясно и точно видел и знал, что все, что он делал в последние годы, было обманом, ложью, фальсификацией, цепью нарушений и преступлений; знал он и то, что пользы от его работы нет ровно никакой, а вреда... впрочем, о вреде он не думал. Не его это было дело! И в то же время (это и была другая сторона) он чувствовал себя незаменимым и необходимым, а жертв своих искренно считал врагами, и тут сомнений у него не было: раз он, подлец, меня обманывает, раз не хочет подписывать того-то и того-то, а мне это

нужно, раз он, негодяй, заставляет меня, майора Харкина, проводить с ним дни, а я бы мог отлично использовать это время для себя, раз он не желает понять, что мне нужна еще одна благодарность в приказе, значит, он подлец, коварная тварь, а следовательно, враг мой и государства, которое меня поставило на это место. Но прошел сначала Двадцатый съезд, потом Двадцать Второй, и оказалось, что ставило его на это место отнюдь не государство, а люди, и поэтому героем он ни в коем случае быть не может. Он и с этим согласился бы, но по-настоящему сбивало его с толку и даже просто травмировало другое: стали вдруг появляться люди, которых он считал уже покойниками. И, наперекор всему, они жили и работали. Каждое появление сопровождалось для него припадком тоскливой злобы, унижительным страхом, а иногда вызовом в прокуратуру. Но до каких же пор можно писать «я не знаю, я верил», хотя всем было ясно, что он ни во что не верил и знал все. Но никогда ни один червячок не шевельнулся в его хорошо натренированной душе и ничто не зазрило его абсолютно непробиваемую совесть. Из всех чувств, которые он испытывал по этому поводу, самое сильное было сожаление, то есть, почему он был так глуп, что выпустил их живыми? Ведь возможности его в этой области были безграничны.

Вот все это он и испытал сейчас, когда слушал Еламана.

— Так чем же он интересовался еще? — спросил он.

— Да все о деле Ержанова спрашивал, — сказал Еламан, — и все о тех его бумагах.

— Странно! Мы же вам их возвратили, — пожал плечами Харкин.

— Ну да! Но они у нас в комитете раньше прошли по регистрации и исчезли, и вот...

Он не dokonчил, потому что понял, что говорит глупость — Харкин ни в том, ни в этом случае ни при чем. Бумаги Ержанова он отдал, ничего интересного там для него не было. Из рассуждений о кембрии многого не извлечешь!

— Вот дурак, — сказал Харкин. — Бумаги! Ну насчет бумаг вы уж сами с ним решайте! А еще что?

— Комиссия! — угрюмо буркнул Еламан. — Комиссия по проверке дел экспедиции! Сидят у нас! Председатель — академик, секретарь — из народного контроля. Опять меня таскали.

— И все о том же?

— Все о том же самом!



— Та-ак! — протянул Харкин. — Та-ак! — Ну-с что вам комиссия? Вы лицо подотчетное, руку в кассу не запускали...

— Нет, клянусь, — быстро сказал Еламан, — никогда! Ни одной казенной копейки, я...

— Ну так вот, чего же вам бояться? — зевнул Харкин. — А за экспедицию в ответе все те же Ажимов и Ержанов, вы то при чем, если меди нет?

— Да ведь есть медь. Есть! Есть! — страдальчески поморщился Еламан.

— Это как же? — поглядел на него Харкин и подумал: «Новое дело! Есть медь, а говорили — нету! Это что ж, они меня в сообщники берут? А куда они ее раньше прятали!»

— Землетрясение, что ли, там, оказывается, было, — продолжал Еламан все с той же страдальческой гримасой. Большой сброс породы произошел! Вот медь на юге и ушла в землю — слои там перепутались. Вот и все. А ниже сплошь, сплошь медь!

Харкин ничего не понял, но сказал:

— А-а! Вот оно в чем... граниты! Сброс!

— Да-да, в этом. Даурен привез сейсморазведчиков. Они определили, что там произошел какой-то типичный разлом и сброс породы. Я их потом отвозил до железной дороги — они мне и рассказали все. Уже добыты образцы. То есть Даурен добыл что-то подтверждающее и сейчас разбирается, в чем дело. А медь есть, есть там.

— А! — повторил Харкин. — А-а! Вот оно что! Как говорят, у бедного Ванюшки все по дороге камушки.

Дело это уже абсолютно его не интересовало. Нашли — не нашли медь, какое его дело? Пусть уж Ержанов и Ажимов ломают себе головы. «А я бы вот их обоих снял бы и посадил бы, — подумал он быстро, — за вредительство, и не отвертелись бы. Где казенные деньги? А этого шустряка вон со службы! И без права работать на хозяйственных должностях! Вот и все!»

— И вот получается, — продолжал уныло Еламан, — прав Ержанов. Он настаивал: поиски надо продолжать, есть все признаки меди, а Ажимов сказал: нет, довольной! И так уж плакали государственные денежки.

— А денежки эти ухлопал сам Ажимов? — спросил Харкин. — Еще до Ержанова ухлопал? Да?

— Ну! — ответил Еламан сердито.

Харкин поднял голову и с любопытством поглядел на Курманова: такие ситуации он любил и уважал. Криминал

был налицо. Теперь Ажимова можно привлечь, снять, заставить дать любую подписку.

— А много денег? — спросил он с любопытством.

— Много! Десятки тысяч!

— Десятки тысяч! Он хотел уйти ни с чем, а медь все же была? Какое твоему Ажимову! — с удовольствием выговорил Харкин.

И он щелкнул пальцами: ему всегда было приятно говорить это слово «ка-юк!». Ведь именно оно его и делало всемогущим.

Но Еламан поглядел на него, как на глупенького, и сказал:

— Это что же? Значит, Ажимова долой, а на его место Ержанова? Что ж хорошего? Они с генералом такой шум поднимут.

— С каким генералом? — спросил Харкин.

— Да с начальником экспедиции, генералом Жариковым. Ух, тот пес! Только крови и жаждет. Дай им подняться — они всем тут головы поотрывают. И вас затронут!

— Что? Меня? — спросил Харкин высокомерно. — Я то тут при чем, товарищ Курманов? Я этого Ержанова давненько в глаза не видел. А что брата его вызывал, ну так надо было узнать, как и что. Узнал и отпустил, сажать я его не собирался. И стращать не больно стращал (он выговаривал «тращал»).

А сам подумал: «Посадил бы, конечно, если бы он не догадался! Сбежал, пес! А подсовывал мне этого юродивого, между прочим, вот этот самый приятель! То-то он и дрожит теперь! Напомнить ему разве?!»

Еламан сидел опустив голову.

Наступила пауза. Наконец Харкин строго кашлянул, поднялся и поправил шляпу; у него были длинные поповские волосы, да и шляпа походила на поповскую — поэтому он, проходя по улицам, чувствовал себя очень интеллигентным, и, пожалуй бы, действительно выглядел так, если бы не плоский нос с широкими жабьими ноздрями, но все равно — зря, зря жена называла его дураком и ханьгой!

— Ну, я пошел, пожалуй, — сказал он, — уже запаздываю. А вам тревожиться незачем: есть медь, нет ее — не вашего ума дело! А Ажимов сам как-нибудь вывернется! Не маленький. Ордена имеет!

— Боюсь я за него,— задумчиво протянул Еламан,— плох он стал! Очень плох! Собой не владеет, кричит без толку. А тут еще с сыном нелады.

— А что с сыном? — живо спросил Харкин по старой памяти. Он очень любил такие истории, когда отец и сын, муж и жена, брат и сестра не ладят: тут и третьему есть что делать!

— Да плохо! Очень плохо! Я же вам рассказывал. Невеста его осрамила, со свадьбы ушла, а она и есть дочь этого самого Даурена! Ей там что-то Хасен Ержанов про отца-то напел! Ну, про всю эту историю: с пленом и то, как я его вызывал и как вы вызывали. Если все будет в их руках — беда!

«Да,— подумал Харкин,— да! Это, пожалуй, так! Они люди шустрые, а тут еще пограничник! Генерал!» И спросил:

— А что Даурен?

— А что Даурен? Даурен — герой! Возвратился! Спас Ажимова от смерти на охоте! Помирил жениха с невестой! Нашел медь! Не отступил и доказал! Что еще нужно?

«Да,— подумал Харкин,— да!» И спросил:

— И что ж, он знает о том, что медь есть? Это что, официально медь найдена или так — одни разговорчики!

— Да пока разговорчики,— ответил Еламан.— Даурен пока ничего никому не говорил, и докладной сейсмика тоже еще нет. Вот ждем совещания.

— Ну что ж, пусть собрание и решает,— вздохнул Харкин,— общественность! Без нее нельзя! Но и вы не дремите. Вы говорите! Что они там нашли — это еще совсем не факт! Может, об этом и разговаривать нечего! Это еще когда-когда что будет доказано. А вы свое гните! Меди нет, деньги истрачены, вот и все! Вопрос ясный! А раз ясный, то и говорить нечего: закрывай лавочку и давай казенные деньги на бочку. А денег у них сейчас нет! На этой самсологии (Харкин помнил, что это то, от чего земля трясется, но само слово не выговаривал, да и вообще никаких ученых слов не помнил), на этой самой самсологии далеко не уедешь, и пусть собрание выносит резолюцию, но не о том, что когда-то будет, а о том, что вот сейчас есть. Денег нет и меди нет — вот и все.

— Так,— сказал Еламан.— это правильно.

— И Ажимову так своему скажи. Пусть не тушуетя.

Никакой там самсологгии! Вот и все. Пусть не страшат! — Скажу, — ответил Еламан. — Денег нет и меди нет. Это вы правильно! Скажу! Спасибо!

14

«Такая история раз уже была, — думал Бекайдар, спокойно шагая по отлогой вершине холма, — и мне ее Дамели не зря напомнила: история Монтекки и Капулетти. Так же враждовали отцы, и так же любили друг друга их дети. Кончилась эта история смертью влюбленных, а отцы-то помирились! Хм, неутешительная штука!»

Он остановился и посмотрел вниз. Уже смеркалось, легкие туманы неслись над окрестностью, цепляясь за камни, за редкие кусты, за сучья одинокого, мучительно изогнутого по направлению ветров дерева. «А завтра, пожалуй, будет дождь, — равнодушно подумал Бекайдар. — Да! Монтекки и Капулетти! Но то было во времена феодализма, а мы ведь советские люди, значит, должны найти какой-то разумный выход кроме родового склепа. Впрочем, разумный конец, вероятно, будет один: Дауке уедет и дочку увезет! Вот и всей сказке конец. И, надо сказать, самый естественный конец, потому что, если два медведя оказались в одной берлоге, то кому-то из них несдобровать, и лучше уж разойтись подобру-поздорову. И опять-таки лучше иметь откровенного врага вдали, чем коварного друга вблизи. Да, конечно, Даурену лучше всего уехать, но ведь он — говорит Васильев — и дочку заберет. Ах, дьявол! Ведь если я ее сегодня не увижу...»

Вчера Бекайдар чуть не целую ночь проходил под окнами Дамели. Дамели весь день провела у отца, а пришла домой только поздно вечером, а потом она, очевидно, что-то писала или просматривала тетради или что-то делала еще, потому что только часа в два погас в ее окне огонь. И Бекайдар, уставший, озябший, вяло поплелся домой. Он готов был пойти на все: на любую огласку, позор, осмеяние, только чтобы снова увидеть Дамели и поговорить с ней. После того как Васильев сказал ему о том, что Ержанов только ждет комиссии из центра, а потом уедет и дочь увезет, в нем что-то словно хрустнуло, и он потерял последнее самообладание. Стал суетливым, подозрительным, недоверчивым, боязливым. Он совершенно лишился покоя — его все время терзала одна мысль, мучительная и

навязчивая, как мания: а вдруг Дамели исчезнет внезапно, и он ее больше никогда не увидит! Ведь он тогда сойдет с ума! Просто по-настоящему сойдет с ума! Так он думал, ворочаясь на кровати, так он думал, засыпая, так он думал, вставая с постели, идя в столовую, так он думал в столовой, когда услышал о том, что завтра в пять часов вечера состоится сбор на клубной площадке. Он посмотрел на часы: была уже половина пятого. Он стал спускаться с вершины холма.

А у холмика все уже собрались — пели, смеялись, кто-то даже забренчал на балалайке, а Дамели не было. Правда, его успокаивало, что не было еще нескольких девушек, ее ближних подруг — Маши Стахановой, красавицы Даши Бойко и Розы Оразбаевой, но все равно он чувствовал себя прескверно: не мог усидеть на месте, не ходил, а почти бегал по площадке, на вопросы отвечал невпопад, и все над ним смеялись. И вдруг он услышал голос Дамели. Она пела. У нее было редкое сопрано, и ее голос можно было узнать из тысячи. Он так и застыл на месте. Из-за камня показалась группа девушек. Дамели шла в центре. Сегодня она выглядела очень яркой и красивой: на ней было голубое платье и поверх него красная кофточка. На голове круглая шапочка из золотой парчи, черные смоляные косы она не заплела вокруг головы, и они падали на плечи. Идет ровно, плавно, пожалуй, медлительно. И вдруг откуда-то вынырнул высокий худощавый Ведерников, что-то сказал, и девушки засмеялись, а Дамели запела (ее сразу же поддержали подруги).

Для лебедя вне глади милых вод  
И лето золотое нестерпимо;  
Кто любит, тот от милой не уйдет —  
Пусть даже ссора ляжет между ними.

«Да,— подумал Бекайдар,— вот это в самый раз. Спасибо тебе, Дамели».

И вдруг он вздрогнул. Она шла не одна, держа ее осторожно под локоть, с ней шествовал — а иначе не назовешь его походку — высокий худощавый юноша. Он был хорош, курчав, черноглаз. Такие девушкам должны нравиться особенно. Недаром все смотрели только на эту пару. А они шли спокойно, переговаривались. На Бекайдара она даже и внимания не обратила. «Ну, держись, старик,— приказал он сам себе,— тебе сейчас будет очень плохо. Ты черт знает что выдумываешь, а Дамели на тебя даже и не

смотрит. Ты, конечно, этого никак не ожидал. Держись, старик, хогя это и чертовски трудно». Но как Бекайдар ни был огорчен и даже убит, он все равно сейчас же вспомнил Шекспира: «Ревность — чудовище с зелеными глазами». И вдруг Дамели, которая до сих пор шла только со своим партнером, глядела только на него, слушала только его, выскочила из толпы подруг и схватила Бекайдара за руку.

— Ыклас! — крикнула она своему кавалеру. — Иди знакомься: это тот самый жигит, о котором мы с тобой говорили. Бекайдар! Знакомься: мой двоюродный брат по матери, великий поэт Ыклас Арыстанов.

Как ни сдерживался Бекайдар, какой равнодушный вид он на себя ни принимал, но тут он чуть не подпрыгнул от радости! Двоюродный брат! Это совсем меняет дело!

— Я очень, очень рад познакомиться с вами, — сказал он и так горячо сжал руку поэта, что тот не выдержал и засмеялся. Он ведь был поэт и понимал многое. Искоса он взглянул на свою сестру: та после своего отчаянного поступка вдруг покраснела и совершенно потерялась. А он смотрел на нее дружелюбно и ласково — совсем по-братски. Ему нравилось, что у его сестры такой жених. С ним в любой компании показаться не стыдно.

Скоро начались танцы, танцевали под свирель, а когда музыкант уставал и свирель падала ему на колени, просто сидели обнявшись и пели. Потом танцевали снова. А когда уже стемнело, вдруг выступил Толя Ведерников.

— Ну, товарищи, — сказал он, — попели, поганцевали, повеселились — это все хорошо. В здоровом теле — здоровый дух. А теперя я предложу вам другое. Такого занятия мы еще не проводили. Среди нас молодой поэт Ыклас Арыстанов. У него уже есть две книжки. В Саят он приехал специально, чтоб познакомиться с нами. Он пишет поэму о молодых геологах. Впрочем, об этом он лучше всего расскажет сам. Ыклас, прошу тебя.

Голос у Ыкласа был мягкий, певучий, а улыбка белозубая, обаятельная, и вообще был он так красив, что все девушки загляделись на него. Он почувствовал это и улыбался еще ласковее и смущеннее.

— Ну что ж тут рассказывать? — сказал он. — Вот Анатолий правильно сказал — пишу поэму о современниках, о таких же хороших ребятах, как и вы. Вот и приехал к вам в гости. Поживу с вами немного, если не прогоните.

Засмеялись. Маша Стаханова спросила:

— А героиня в вашей поэме будет?

— Ну а как же? — весело изумился поэт. — Какая же поэма без героини? Не бывает ни реки без рыб, ни поэмы без девушек.

Все опять засмеялись, а Бекайдару вдруг почему-то стало неуютно, тоскливо, скучно, и он тихонечко встал со скамейки, и медленно пошел прочь. Он прошел мимо экспедиционной кухни — линялого брезента, через который уже просвечивал огонь и звенело что-то металлическое, мимо груды камней с надписями зеленой масляной краскою: «Петя, Люда», «Петя+Люда=любовь». «А я тогда останусь при чем?» — и вышел к избушке на курьих ножках. Была эта избушка ветхая и черная, как застигнутая первым снегом поганка, и стояла на опушке крошечной рощицы. В ветреные дни в ней все гудело и шаталось, в дождь текло, в ведро рассыхалось и трещало. Никто не знал, кто эту избушку поставил, зачем она столько здесь стоит. Зато не было вернее и надежнее приюта для свиданий, выпивок, чем эта древность. И сейчас на ветхих ступеньках ее кто-то сидел и курил: в темноте вспыхивал и гас круглый огонек. Бекайдару никого не хотелось видеть, и он повернул было обратно, но тут очень знакомый голос сказал из темноты:

— Ты что ж, молодой человек, уж и здороваться не хочешь?

«Жариков!» — почему-то вдруг очень обрадовался Бекайдар и пошел на огонек.

— А я ведь и не узнал вас, Афанасий Семенович, — сказал он. — Здравствуйте! Что это вы тут одни?

Жариков потеснился, освобождая место.

— Да вот голова что-то не того — не свежая, — сказал он раздумчиво, — не то по дороге затрясло, не то трубка! Я ведь до того только папиросы и махорку дул, не то еще что, но только вот сел за отчет, пишу и чувствую: не варит башка, ну как деревянная! Плюнул, вышел на улицу, пришел сюда и сижу по-стариковски, а тут смотрю: ты идешь! А что это ты, брат, бродишь по степи один, как молодой олень, а?

— Да так что-то! — пробормотал Бекайдар.

— Ах, и ты тоже что-то! Здорово выходит, — засмеялся Жариков.

Помолчали.

— Молодой олень — это что? Из Пушкина? — спросил вдруг Жариков.

— Из Пушкина, Афанасий Семенович.

— Из него, из него! — серьезно подтвердил Жариков. — У нас в армейском клубе ставила самодеятельность «Скупого рыцаря» — вот это оттуда. Очень хорошо играли пограничники. Декорации, костюмы, музыка! Ну! Вот у вас такого не посмотришь: только танцы да доклады. Что, и сейчас идет небось какой-нибудь доклад?

— Даже целая беседа, — улыбнулся Бекайдар. — Приезжий поэт беседует о любви!

— О любви?! — Жариков так удивился, что даже повернулся к Бекайдару. — Что же он вам такое может о любви сказать новое?

Бекайдар пожал плечами.

— Не знаю. Я ушел.

— Что ж не послушал? — усмехнулся Жариков. — А я-то думал, что это специально для вас, для тебя и Дамели, такого беседчика прислали! Уж больно-то вы люди ненадежные и неустойчивые. А Дамели там?!

— Там! — усмехнулся Бекайдар. — Поэт — ее двоюродный брат. Ничего, кажется, парень.

— Ну пусть тогда послушает, может, и поумнеет! — согласился Жариков. — Эх, брат, не беседы бы вам, а палку хорошую, или еще лучше: ремень красноармейский с пряжкой! Разве у нас раньше так было, что невеста беседы о любви слушает, а жених ее по степи шатается, а?

— Да раньше и того, пожалуй, не было, чтоб невеста от жениха со свадьбы уходила, — горько усмехнулся Бекайдар.

— Не было! — горячо согласился Жариков. — А почему? Да кто б ее, такую красивую, отпустил? На это только один распрекрасный Бекайдар Ажимов способен! Только он, только он!

— А что ж я, по-вашему, должен был делать? — обиделся Бекайдар.

— Почему по-моему? Нет, почему только по-моему? — зарычал Жариков. — Бежать за ней ты был должен! Хватать ее! Тащить! Вот что ты должен был делать.

— Так что ж я феодал, что ли? — слабо усмехнулся Бекайдар и беспомощно развел руками.

— Что-что? — грозно нахмурился Жариков. — Феодал?! Дурак ты хороший, вот кто ты! Ты же ее любишь? Да?! Ты же с ней жить собираешься, так? Так какого же черта ты так от нее запросто отказываешься? Ушла — и ушла, и аллах с тобой, нальем, ребята, по новой за покой ее души? Кто ж так делает! Бекайдар Ажимов, да?



— Похоже, что так! — грустно усмехнулся Бекайдар. Речь старика совершенно валила его с ног и не согласовывалась ни с чем. В то же время он чувствовал в ней ту простоту и ясность, которой так не доставало ему во всей этой мути.

— Да ты не смейся, не смейся! — крикнул старик. — Тут и полсмеха нет! Ведь не она, выходит, а ты кругом, кругом виноват! Ну как же так? Раз ты ей даешь уйти со свадьбы неизвестно почему, неизвестно куда, неизвестно к кому, ничего тебе не объяснив, значит, и без объяснений все понятно. Ведь так должны были понять люди! Я вот, например, только так и подумал, когда мне весь этот балет пересказали! Значит, знал парень, за что его так оконфузили, по делам, значит, вору и мука. Вот как я решил. Только потом, потом, после разговора с Дауке, я уже кое-что понял. А она ведь, наверно, до сих пор так и думает.

— Нет, — ответил Бекайдар, — сейчас она уже так не думает.

— Ну, слава тебе богу, хоть сейчас так не думает, — сердито усмехнулся Жариков, значит, все-таки поговорили.

— Да.

— И выяснилось все до конца?

— Нет.

— Как нет?

— До конца — нет!

— Вот, черт возьми, народили мы деток! — вздохнул Жариков. — Прямо у них во рту языки-то, как чугуны! Вон как у того Царь-колокола в Кремле? Слово сказать бояться! Что ж ты молчишь, а? Ну почему твой отец тогда смолчал — я понимаю. Ему больше ничего и делать не оставалось, как отмалчиваться, но ты-то...

— Только не надо про отца, — попросил Бекайдар. — Очень, очень вас прошу, не надо!

С минуту оба промолчали.

— Курить будешь? — спросил Жариков.

— Буду! — ответил Бекайдар, и некоторое время они молча сидели и курили.

— Человек может и должен отвечать только за себя, — вдруг изрек Жариков. — Вот! За себя! Не за свата-брата, а за самого себя.

— А как же тогда: «Скажи мне, кто твои друзья, а я скажу, кто ты?»

— Не городи, тут это ни при чем. Отца, например, себе не выбирают! Значит, сын за него не отвечает. Ну, а если твой друг пакостит, а ты его скрываешь или, не дай бог, еще пользуешься чем-нибудь от этих пакостей, то тогда — да, его грехи — твои грехи, а ты за них отвечаешь так же, как за собственные. Вот на этой ответственности и стоит все, мой дорогой: и ты с Дамели, и мы с тобой, и наше государство, и все прочее. Каждый отвечает сам за себя. И если в мире еще много пакостного, то это потому, что ответственности у нас маловато! Вот когда родится у тебя сын, ему жить будет много легче, потому что ответственность за себя у людей возрастет. Неизмеримо возрастет, понял? А вы все действовали без всякой ответственности! Каждый думал только о себе и все решал сам по себе! Эгоисты были вы, мои друзья, — вот что! А значит, и трусы.

— Даже трусы? — удивился Бекайдар.

— А как же? — тоже очень удивился Жариков. — А разве ты видел когда-нибудь храброго эгоиста? Он потому и трус, что эгоист. Я, конечно, не про отпетых говорю. Тут уж другое, а вот про таких обывателей, какими вы себя, друзья дорогие, тогда показали, разве непонятно?

— Понятно, — усмехнулся Бекайдар, — спасибо за урок.

— Ну вот! — успокоенно и даже как-то смущенно сказал Жариков и опять полез в карман за трубкой.

— Нет, в самом деле спасибо! Вы многое мне пояснили! Может быть, я еще не полностью, так сказать, все понял, но когда-нибудь я и все пойму!

Жариков выбил трубку и встал.

— Пойдем, — сказал он, — наверно, там уж кончают! Отца давно не видел?

— С полмесяца.

— Так, так! Ну пошли, пошли! А то мне завтра рано вставать, опять с этим отчетом, будь он неладен...

— Так, может быть, я чем-нибудь могу вам помочь? — спросил Бекайдар, хотя понимал, что Жариков никого к этому отчету не допускает.

— Да ты уж сам себе помоги! — усмехнулся Жариков. Что, Дамели-то еще там? Ну пойдем, пойдем! Только ты сейчас не убегай. Есть у тебя эта плохая манера! Сейчас был — сейчас нет! Под ногами, конечно, не вертись, но и далеко не отходи, слышишь?

И только они вышли к площадке, как увидели Дамели. Она шла к ним навстречу.

— Ну вот, — сказал Жариков успокоенно. — Ну вот!

...Свадьбу решили сыграть в Октябрьские праздники.

А между тем, в Саяте шел снег, дули холодные ветры, а по утрам выпадал иней. Кончилась неприветливая степная осень и начиналась зима. Полевые работы прекратились, началась камеральная обработка. Только один Еламан не сидел у себя в бараке, он был постоянно в разъездах, поисках, хлопотах, командировках. Заготавливал продукты, проверял наличность инвентаря, придирчиво осматривал экспедиционные машины. Мелкий ремонт производили на месте, в механических мастерских, для капитального ремонта отправляли в Алма-Ату. Все это тоже требовало времени. Вот в это время и нагрянула ревизионная комиссия. Председателем ее был академик, членами две женщины: одна — работница ЦК, другая — преподавательница геологического института, представитель Комитета народного контроля. Пока его товарищи знакомились с делами экспедиции, академик бродил по поселку, заходил в бараки, палатки и разговаривал с людьми. Никогда ничего не записывал, но все держал в памяти. В первый же день приезда он заинтересовался Еламаном, вызвал его в контору и два часа говорил с ним наедине. О чем — так никто и не узнал, но потом люди заметили: нет уже у заведующего хозяйством ни прежней хватки, ни прежнего зычного голоса.

А через неделю однажды утром академик пришел к Ажимову и сказал, что хочет осмотреть места работ, особенно ту долину, где были пробурены последние шурфы. С ним вместе были — остались ждать на улице — Даурен и Жариков.

И вот эту последнюю свою поездку Ажимов позже вспоминал, как бред, навязчивый и неизвестно откуда на него нахлынувший: уж слишком были напряжены нервы.

Трудно выдумать что-нибудь более мрачное, проклятое и вместе величественное, чем эта каменистая пустыня. Она была как бы другой планетой. Здесь все было особое. Голые, отшлифованные ветром до блеска прямые красные скалы, покрытые желтыми и зелеными пятнами лишайников. Круглые глыбы и пирамиды величиною с дом, круглые обрывы и склоны, камни, накренившиеся над пропастью и готовые вот-вот рухнуть. Ни дерева, ни кусточка, ни травинки. Заходило солнце, тоже большое и красное, и окрашивало все в зловещие беспощадные тона заката.

— Вот чертова долина, — сказал Жариков подавленно. — Никогда я не был здесь в это время.

Он поглядел на спутников, но они оба молчали. Не в силах выдержать тишину, генерал сделал вдруг из рук рупор и крикнул:

— О-го-го-го!

Ему ответило эхо, сначала одно, потом другое. Гулко и протяжно что-то крикнула в ответ ночная птица.

— Вот чертова долина! — повторил Жариков. Даурен по-прежнему молчал. У него было суровое и замкнутое лицо, а шаги тверды и уверенны. Он, верно, чувствовал себя хозяином этих мест. Его ничто не могло ни пугать, ни удивлять.

И вот покинутый пустой шурф. Около него валяется какая-то заржавевшая деталь. Большой отвал. Невдалеке зияло круглое отверстие. Все трое остановились.

— Вот первая скважина, — сказал Ажимов тоном экскурсовода. — Она покинута в прошлом году, стояла недорого. Запишите: три тысячи.

Даурен молча стоял над скважиной, потом наклонился и взял обломок керна, посмотрел и отбросил.

— Стоила бы еще меньше, но на этих кварцитах сломались две буровые коронки, — сказал он. — Идемте ко второй.

А солнце между тем спускалось еще ниже. Еще резче стали контрасты теней и предметов.

Вторая скважина — ее прокладывали меж огромных глыбин. Впечатление сумрачности, таинственности и запретности, во всяком случае, чего-то очень необычайного овладело ими.

— Кажется, здесь обязательно должны водиться драконы, — улыбнулся академик.

Одна из глыбин стояла так косо, что образовала грот. Когда геологи сделали несколько шагов, из него выскочила и стремительно пронеслась около их ног какая-то черная тень: не то волк, не то лиса, не то просто одичавшая собака. Жариков вздрогнул и инстинктивно схватился за карман, но Даурен отодвинул его, прошел вперед, вынул из кармана фонарик, безбоязненно подошел к гроту и осветил образовавшуюся пещеру. В зеленых водянистых наплывах света стали видны неровные влажные известковые своды, все в каких-то блестках, кристаллах и искрах. Вылетела и косо запорхала огромная летучая мышь.

— Тут их целое гнездо, — наконец спокойно сказал Даурен и потушил фонарь. — Надо будет сказать Хасе-

ну,— он обернулся к своим спутникам и сказал прежним тоном: — Так вот, это вторая скважина, она тоже еще не очень дорогая, что-то около четырех тысяч, но породы такие, что коронки ломались здесь, как спички, вот посмотрите,— он кивнул на керн.— Идем дальше.

Третья скважина была на самом краю оврага, ее почему-то проложили на ровном, слегка возвышенном месте. На фоне ясного золотистого неба была видна гора отвалов, вынутых из недалеких шурфов, да около скважины что-то вроде небольшого навеса.

— Очень дорогая скважина,— сказал Даурен.— Здесь породы были подходящими, и мы прошли немного больше.— Трое молча постояли над скважиной, потом Жариков взял из отвала камень и бросил его в скважину. Звук был такой, как будто камень упал в воду.

— Дальше не стали бурить,— сказал Ажимов.— Здесь около ста пятидесяти метров. Идите дальше, туда,— он показал на вырубленные ступеньки, ведущие в глубину оврага.— Осторожно, здесь бьют ключи.

И они начали спускаться.

С этого момента Ажимов опять все помнил ясно и точно. Все свои мысли и переживания. Они шли к машине. Он шел впереди и освещал дорогу фонариком. Академик сосредоточенно молчал и думал о чем-то своем.

«Интересно,— вдруг пришло в голову Ажимову.— Он пошел смотреть мои шурфы и скважины. Мои пустые скважины и бесполезные шурфы. На глубинные скважины Ерманова его что-то не потянуло! Да, это неспроста».

Он оглянулся и поискал глазами Даурена. Его не было.

Он остановился и крикнул:

— Эй, Дауке, где вы!

И сразу же вспыхнул фонарик, и донесся спокойный голос Даурена:

— Иду, иду.

«Ну что ж, старик,— подумал Ажимов, вздыхая.— Видит аллах, я не хотел этого, но что ж мне делать? Ты ни с кем, ни с кем не считаешься. Ты остался человеком довоенным, геологом тридцатых годов, и нам придется сцепиться по-настоящему. Поверь мне. Это очень тяжело, но Еламан прав: тут уж ничего не поделаешь».

Когда они подошли к автомобилю, вдруг взошла луна и всё вокруг стало нежным, ясным и призрачным, а скалы как будто вылитыми из голубого стекла.

— А ведь хорошо! — сказал вдруг академик растроганно. — Боже мой, какая красота! Вот живешь в городе и забываешь, какие места есть на свете, — и совсем уже ослабленным голосом добавил по-стариковски: «Аллах, аллах».

То, что произошло потом, было и смешно и, пожалуй, по-настоящему ужасно. Ажимов чего-то не сообразил и сказал шоферу (а сейчас за рулем сидел не Еламан, а молодой парень):

— Братец, а ну-ка провези нас по нашей обычной дороге.

— Слушаюсь! — ответил шофер.

Они вылетели на дорогу, и тут показался первый щит: «До Саят — 1—30 км».

— Как в пионерском лагере, — улыбнулся академик.

Но сейчас же мелькнул второй щит, и он сказал: «А ну-ка постойте, это любопытно».

На щите саженными буквами было написано: «Дадим высококачественную медь! Здесь производит работу геологоразведочная экспедиция профессора Ажимова».

— Любопытно, — сказал академик, — экспедиция не под руководством профессора Ажимова, а просто экспедиция его имени. Великолепно!

И еще через сто метров он задержал машину и прочел: «Туристский лагерь по дороге налево», «На сегодняшний день общая глубина скважин достигла...»

И наконец самая крупная надпись: «Здесь будет заложен поселок городского типа — Медногорск».

— Здорово, — сказал академик. — А вы говорите теперь, что не верите, что здесь есть медь? Так что ж с этими анонсами-то делать? Куда же Медногорск девать, — и добавил про себя:

— Действительно, империя Ажимова.

...Неделю комиссия просидела в Красном уголке, изучая состояние дел экспедиции, а в воскресенье объявила о том, что сегодня будет заслушан отчетный доклад начальника экспедиции Афанасия Семеновича Жарикова. Задолго до назначенного времени помещение было набито до отказа. Кое-кто стоял.

Жариков сделал краткий обзор работ за все прошедшие годы. Рассказал, как возникла экспедиция, как работала, с какими трудностями встречалась, каких успехов достигла. Про успехи, увы, говорить приходилось пока очень скромно, ощутимыми результатами похвастаться было не-

возможно. Все надежды возлагались на будущее. Правда, перспектива обнадеживающая, но... Но факты — вещь упрямая, и медь промышленного значения до сих пор в Саяте не обнаружена.

— Извините, — перебил представитель Комитета народного контроля, — а какое у вас основание говорить о перспективах? Да еще об обнадеживающих! Что, собственно говоря, вас обнадеживает-то?

Жариков пожал плечами.

— Тут я должен буду предоставить слово для ответа товарищу Ержанову: это он прогнозировал медь в Саяте еще в конце тридцатых годов. Очень сильным аргументом — это и я, не специалист, могу подтвердить — является также то, что медь в Саяте была уже раз найдена, а потом утеряна. В Археологическом институте Академии наук республики Саят представлен блестящей коллекцией энеолитических находок. Найдено также большое количество медных шлаков — все это говорит, что медь здесь была и была в достаточном количестве. Во всяком случае, древний человек несколько тысяч лет тому назад эту медь находил просто на поверхности земли. Сейчас, ввиду каких-то тектонических или иных катастрофических причин, она, так сказать, будто провалилась сквозь землю. Чтоб обнаружить ее вновь, надо применить новые методы, ибо наши обычные шурфы и мелкие скважины тут не подходят. Таково в самом кратком и неквалифицированном изложении мнение старейшего геолога Казахстана Даурена Ержановича Ержанова. Он здесь присутствует и сам будет говорить после меня, тогда он изложит все это более мотивированно.

— А какое мнение научного руководителя экспедиции? — снова спросил тот же член комиссии.

— Ну, — ответил Жариков, — профессор Ажимов тоже находится здесь и тоже сам изложит свое мнение. То есть, свое последнее мнение, ибо предпоследнее нам хорошо известно. В заключительной главе своего известного труда «Геологическое прогнозирование», — Жариков открыл книгу, — он пишет о Саяте так: «Подведем итоги. Итак, Саяту, вероятно, суждено быть вторым Жаркыном. Запасы руд здесь богатейшие, а ассортимент их очень разнообразен. Но больше всего здесь, конечно, опять-таки меди. Думается, что будет достаточно самой незначительной разведки, чтоб это предположение превратилось в научную аксиому». Кажется, предельно ясно. Вот именно, для того чтобы

превратить предположение в аксиому, и была создана эта экспедиция. Сейчас профессор Ажимов стоит на противоположной точке зрения: «Меди здесь нет»,— говорит он. Основания для этого утверждения, надо сказать, тоже очень весомы. Два года работы экспедиции под руководством такого специалиста, как сам профессор Ажимов, никаких следов этого металла не обнаружили. Ему возражает Даурен Ержанов. Он считает, что медь здесь есть, и ее много,— соображения его я вкратце уже приводил,— а не найдена она по чисто методологическим причинам: искать ее надо не так, как искали до сих пор.

— Но и эти ваши новые поиски тоже ничего не дали! — крикнул кто-то.

— Ну, не знаю, так ли это,— спокойно ответил Жариков.— Недавно в Алма-Ату мы послали очень обнадеживающие рудные образцы, взятые из трех скважин. Это запад Саята. Подождем результата.

— Но на сегодня результатов еще нет? — спросил академик и посмотрел на Жарикова, который собирал бумаги со стола.— Несмотря на прямое и честное заявление Ажимова, что его прежний прогноз ошибочен, работы все-таки продолжались. Вот мне было бы интересно узнать — в надежде на что? Сколько потрачено средств непосредственно самим Ержановым?

— Пятьдесят тысяч рублей.

— То есть, в переводе на старые, полмиллиона,— покрутил головой академик.— Ой-ой-ой! Действительно, есть над чем призадуматься. Товарищ Ажимов, вы что-нибудь скажете?

— Я, если разрешите, потом,— поднялся Ажимов.

— Хорошо. Потом! Так кто хочет выступить по докладу товарища Жарикова? Дело-то серьезное и касается оно нас всех. Ну, кто смелый? Вы, товарищ? Ваша фамилия? Еламан Курманов? Очень хорошо! Должность? Заведующий хозяйством и член месткома! Еще лучше! Послушаем представителя общественности. Итак, товарищ Курманов, прошу вас на трибуну.

— Извините,— сказал Еламан, вставая,— мне отсюда сподручнее. Так вот, товарищи, я, конечно, не специалист. Специалисты скажут после — по-умному, по-ученому, а я простой человек и скажу вот что: что там голову дурить? Нету меди тут — и все. По-всякому мы разведку вели: и по методу Ажимова, и по методу Ержанова, и шурфы копали, и канавы прокладывали, и скважины бурили — не



простые, а глубинные, и ровно ничего не нашли. По науке, конечно, то есть, по предположению Ержанова, медь должна быть, а ее нет и нет. Видно, не все предположения, даже самые ученые, сбываются. Вот капиталисты, те тоже предполагали, что нам придет крах и в 1917 году, предполагали и в 1919 году, когда на нас шла Антанта, предполагали и в 1921, когда был голод, и в 1929, когда мы начали проводить коллективизацию, и в 1941, когда на нас попер Гитлер,— видите, сколько было у них предположений? А в результате пропадает не мы, а эти самые предсказатели. Так ведь, товарищи? Кто это сказал: «Если жизнь не соответствует моей теории, то тем хуже для жизни?..» — он оглянулся, кто-то смеялся.— Нет-нет,— заторопился он, словно отвечая на чей-то вопрос,— это не Ержанов сказал, это какой-то другой мудрец, не то греческий, не то римский, не помню. Наш Дауке так не скажет. Он идет вперед и жизнь тащит за собой. Вот только одна беда — жизнь-то не баран. Нет, не баран. Барана тащишь — он идет. А жизнь — штука упрямая: она сопротивляется, головой мотает, в землю всеми ногами упирается — не хочет идти за Ержановым. Нет, не хочет. Вот и получается: предположения-то предположениями, а деньги деньгами.

В зале опять засмеялись, а Еламан вдруг прикусил губу и сделался совершенно серьезным, все шутовское, глумливое исчезло с его лица, губы поджалась.

— А смеяться здесь нечего, дорогие товарищи,— отчеканил он.— Взяты сотни тысяч из государственного кармана, то есть из нашего с вами, а сколько их еще потребует товарищ Ержанов — неизвестно, так что, если над этим смеяться, то, пожалуй, и просмеешься. Вот что я хотел сказать. Если что не так — извините.

И он сел. Речь Еламана произвела впечатление.

— Да-а,— сказал кто-то значительно.— Да-а! — И тут вдруг раздался звонкий голос Бекайдара:

— Товарищ председательствующий, могу я задать один вопрос только что выступившему товарищу?

— Пожалуйста,— кивнул головой председатель.

— Товарищ Еламан, какое вы имеете отношение к геологии? — спросил Бекайдар.— Вот вы сказали, что скважины бурим не простые, а какие-то глубинные. Так что это такое? Так все-таки, какие же они? Ведь вы против них как будто возражаете? Так против чего вы возражаете? Вот вы говорите: «предположения Ержанова»? А что за предположения, в чем их суть? Вы это знаете?

— Ой, да тут, моя душа, не один вопрос, а целых четыре. пощадите несчастного завхоза,— комически замахал рукой Еламан.

Раздался снова смех.

— А если вы сами себя не считаете специалистом...— крикнул Бекайдар, вскакивая.

И тут раздался спокойный голос Ажимова:

— Товарищ председатель, разрешите мне слово.

Тот кивнул головой.

Ажимов встал и прошел к трибуне.

— Видите ли, я сейчас выступать не хотел,— сказал он,— но этот последний выкрик побудил меня попросить слова. Вот мой сын... К большому сожалению, этот недисциплинированный и бойкий юноша — мой сын. Вот он спрашивает: какое имеет отношение товарищ Еламан к геологии? Отвечаю ему: самое прямое и близкое. Он работает со мной здесь уже третий год, тогда как Бекайдар здесь всего первый сезон. Так, пожалуй, и не годилось ему задавать такие вопросы, а? И еще одно: зайдя в дом в первый раз, не лезут на хозяйское место, а ждут, когда и куда тебя посадят. Вот так-то. Теперь по существу вопроса. Тут я полностью поддерживаю мнение товарища Курманова. Существо дела он уловил правильно. Мы таскаем воду решетом, ловим щуку в лесу. Сотни тысяч рублей — считаю с начала экспедиции — мы потратили на то, чтоб иметь право сказать: «меди в Саяте нет. Это очень печально, но это так. Ну и все. Пора и честь знать, перестать государственные деньги зарывать в землю. Вот что сказал заведующий хозяйством — товарищ Еламан. И я, профессор, тоже подтверждаю это. Счастье, что мы живем в нашей стране, а любой бы предприниматель на Западе давным-давно засадил нас за решетку. Доходит ли все это, хотя бы в слабой степени, до моего сына?

— А виноват кто? — крикнули из задних рядов.

— Я! Только я! — Ажимов даже ударил себя в грудь кулаком. — Ни товарищ Ержанов, ни Жариков не ответственны за это — один я несу ответственность. Я должен был понять, что Даурен Ержанов все еще находится в плену своей старой теории тридцатых годов — принципа соответствия и сопутствий — и не давать ему тратить государственные средства. А я дал! Увидел дорогого человека, потерял голову и разрешил делать ему все, что он захочет, — и вот видите результат!

— Извините, профессор, — поднялся Жариков. — Если

вы и сделали это, то отнюдь не из любви к своему учителю, а потому, что сами думали так же, как он. Я же прочел выдержки из вашего труда. Правда, не из последнего издания его, заметьте! Так что, Ержанов, пожалуй, ни при чем.

— А я и говорю: он ни при чем,— отпарировал Ажимов.— А насчет моей книги вот что: к геологии, как к любой науке, следует подходить не метафизически, а диалектически. Если вы поймете это, то поймете все. Мое предположение насчет Жаркына оправдалось полностью. Мы ждали того же от Саята, но переносить метафизически геологические признаки сопутствия с одного объекта на другой, конечно, невозможно. Подобие совсем не есть тождество. Мы это позабыли и за это наказаны. Очевидно, за познанными нами закономерностями соответствия таятся другие закономерности — отрицательные; вот их-то мы еще не только не познали, но и не увидели. Отсюда и ошибки в нашей прогностике. Конечно, наука эта появилась еще совсем недавно и даже не сумела сформироваться в особую отрасль, поэтому пока просчеты очень возможны. Вот и все.

— Так это не наука, а лото,— сердито усмехнулся со своего места Ержанов.— Если не так, то иначе, если не иначе, то так, если не так и не иначе, то никак. Что-то не о том мы писали в своем труде.

— Как раз о том,— добродушно засмеялся Ажимов.— Только вы его не прочли. Но хоть заглавие-то вы помните? Первое слово подзаголовка «Опыты». А раз опыты, то никаких целиком законченных и научно апробированных теорий от меня вы ждать не в праве. Я закладываю основы и экспериментирую. Да и писалась она двадцать лет тому назад. А диалектика не лото, а алгебра всякой революции. В том числе и научной. Когда ею пренебрегают, то происходят пренеприятные истории. Вот вроде той, что произошла сейчас. А произошло вот что: приехал к нам наш уважаемый профессор Ержанов, мой учитель и, в свое время, один из самых даровитых геологов. Я говорю: в свое время. Так вот, первая моя ошибка была в том, что я оценки того времени автоматически перенес на сегодня, не внося в них никакого поправочного коэффициента. Это было, конечно, в корне неправильно. За этой ошибкой последовала другая — уже чисто деловая. Мы, поговорив между собой, сразу же назначили Даурена Ержановича начальником отряда. Мало того: отправляясь в длительную командировку,

я оставил его за себя, то есть сделал главным геологом экспедиции. С этого все и началось. Я хорошо знал прежнего Ержанова, но совершенно не разобрался в настоящем. А ведь все течет, все меняется, товарищи. А человек-то больше всего! А я об этом не подумал. «Бытие определяет сознание» — эту истину мы твердим все, но только что твердим, а делать из нее выводы еще не умеем. Мужества, наверное, не всегда хватает! Даурен Ержанович последние годы провел в тайге, в условиях вечной мерзлоты, в устьях колымских рек. Как он там жил, ну, об этом мы можем только догадываться. Во всяком случае — славы он там не добился, а ему ее хотелось. Ох, как хотелось! И вот старый геолог — один из самых скромных и доброжелательных людей на свете — ожесточился. Он стал считать себя несправедливо обиженным и, конечно, непризнанным талантом. Поверьте, я полностью понимаю его чувства, но разве от этого легче? И встретив меня, своего ученика, который ему очень многим обязан...

— А вы часом еще не забыли этого? — крикнул кто-то.

— Будьте уверены, не забыл, иначе и не каялся бы, — ответил Ажимов. — Так вот, встретив меня, он подумал по старой памяти: «Э, мальчишка, что ты знаешь, что ты умеешь, мальчишка? Медь есть, да ты ее не достал, а вот я, Даурен Ержанов, достану! И все увидят, что знаменитый геолог я, а не ты!» И как только я уехал, Ержанов отдал приказ: бурить глубинные скважины. Ну, что ж? Он научный руководитель, его послушались, в результате улетели еще десятки тысяч! Кто виноват? Я виноват.

— Нурке Ажимович, — перебил оратора академик, — нам от этого «виноват, виноват» толку мало. Вот вы два месяца как вернулись, а глубинные скважины, которые вы признаете порочным методом, закладывались вплоть до заморозков. В чем дело? Почему вы не прекратили этот род работ, раз он бессмыслен?

— А как тут прекратишь, когда вся экспедиция только и кричит об этих скважинах, а санкция дана из Алматы? — зло повернулся к нему Ажимов. — Я написал докладную записку в центр, вот и все, что я мог сделать.

— Итак, меди нет? — в упор спросил академик. — Работы надо сворачивать?

— В западном направлении Саят — безусловно, — твердо кивнул головой Ажимов, — в других можно еще подождать.

— Отлично, так и запишем, — кивнул головой акаде-

мик.— Ну с вами разговор ясен. Теперь вы, Дауке, может быть, что-нибудь скажете?!

— Скажу! — ответил Даурен, пошел через зал, подошел к столу президиума и, всходя на трибуну, повторил: — Скажу! Так вот, товарищи, я тоже начну со своих ошибок. Они по сути те же, что и ошибки моего коллеги профессора Ажимова. Он правильно сказал: я пришел сюда не тем, что был. Был я горячим, нетерпеливым, строгим к людям, а потом узнал много горя, увидел много трудностей и научился прощать. Товарищ Курманов, чтоб эти слова не оставались просто словами, я обращаюсь к вам. Ведь вы тоже говорили обо мне, ну да так будет мне позволено ответить тем же. Да и когда же говорить друг о друге, как не сейчас, при людях, но я верил и верю, что человек может что-то осознать и измениться к лучшему. В отношении вас этого, к сожалению, однако, не случилось, — каким вы были, таким вы и остались. Да, совершенно таким же... — Даурен говорил медленно, спокойно, как бы раздумывая, и, когда он остановился, Бекайдар вскочил с места и крикнул:

— Говорите, говорите, Дауке, пусть они знают, пусть они все знают, кого здесь пригрели.

— А ну, помолчи, молокосос! — крикнул бешено Еламан. — Я не спал ночами, чтобы ты спокойно спал в своей кровати! Я чекистом был, щенок ты эдакий!

— Вы были чекистом! — вдруг взорвался Даурен с трибуны. — Постыдились бы говорить такое! Чекисты уходили в драных шинелях на кронштадтский лед, получали по двести граммов хлеба, работали день и ночь в нетопленных конурах! Я красноармейцем дежурил в комендатуре ЧК и помню это. А вы? Что сделали вы...

Еламан что-то хотел сказать и стал было подниматься.

— Замолчите! — крикнул Даурен и махнул рукой так, что тот, словно сраженный, не сел, а упал на свое место. — Если бы вы были чекистом, и разговора такого бы не было. Вот сидит ваша жертва. До какого состояния вы его довели! Ведь он мог быть настоящим ученым, а вы лишили его всего — мужества, веры в себя, радости творчества. Вы растоптали его волю и честь! Вы его превратили в слепое орудие ваших же махинаций. Вы и вы!

— Товарищ председатель, я прошу, — вскочил Ажимов... — Что же это такое!

— Это разговор начистоту, Нурке Ажимович, — сказал строго председатель. — Сейчас Даурен кончит, и я...

— А, что там, — махнул рукой Даурен. — я кончил! Вся

беда в том, что я запоздал: приди я к Нурке раньше, в первый год открытия Жаркынских приисков, возможно, все было бы иначе, и Нурке был бы другим человеком. И я тоже вел себя неправильно, недостойно: все отмалчивался — просто язык не поворачивался бросить в лицо своего ученика то, что он заслужил. А сейчас, наверно, и говорить уже поздно. В этом тоже моя вина. Почет, уважение, довольство — они же затягивают, как болото. Двадцать пять лет славы не прошли даром. Сейчас мой ученик готов любому сломать шею, кто посягнет на его место в жизни.

— Товарищ председатель, я же прошу вас наконец... Это черт знает что такое! — крикнул Ажимов.

— Э, да что там! Я же говорю, что кончил! Все! — Ержанов уже хотел сходить с трибуны, когда его взгляд снова упал на Еламана. — А вас я ненавижу, — сказал он негромко, — ненавижу за то, что я растил этого человека, а вы его погубили. Я не мог вмешаться в борьбу, иначе вместо одного врага вы имели бы двух и никогда бы здесь не работали. Ведь чтоб работать в науке, надо иметь чистую совесть. А вы? Бездарный чиновник, руководитель посредственностей, выгнанный со всех мест и лишенный всех чинов, что вы из себя представляете?! Вы вор, укравший мои бумаги, разбойник, задумавший похитить мое честное имя, убийца честных патриотов, вот кто вы такой и чем еще держитесь вы на земле?..

И тут кто-то крикнул:

— А его и в зале давно нет! Укатил на мотоцикле!

В зале зашумели.

— Нет, правда?

— Вот что значит совесть нечиста!

— Куда же он теперь?

И тут поднялся академик.

— Товарищи! — сказал он негромко, и сразу все смолкли. — Мне вас не перекричать, — продолжал он со слабой улыбкой, — поэтому будьте уж потише! Так вот какое дело, товарищи. Наука, которая изучает закономерности распределения месторождений и дает оценку перспектив, носит название металлогения. Мы можем гордиться. Родилась металлогения в Казахстане, и одним из первых, кто стоял у ее колыбели, был Даурен Ержанович. А первым практическим испытанием этой науки было открытие геологом Ержановым Жаркынских медных руд. — В зале произошло какое-то неясное движение, кто-то воскликнул: «Даурен!»,

кто-то начал: «Да как же тогда...» — да и не кончил вопроса, а кто-то твердо сказал: «Понятно!»

— Да, да, товарищи, я не ошибся. Даурен Ержанов, сидящий тут между нами, открыл Жаркын. Скоро об этом вы получите информацию, а пока разрешите перейти ко второй теме. Вот спор двух этих геологов, ведь это только с внешней стороны кажется, что дело идет о меди — есть она или нет ее. Окончательно это покажет дальнейшая работа, свертывать мы ее пока не собираемся. Есть все основания утверждать, что медь есть, а идет она действительно к югу, как и предполагал Даурен Ержанович. Вся беда в том, что порядок залегания пластов резко изменен. Когда-то здесь очень давно произошел — утверждают сейсмологи — уникальный грандиозный сброс и сдвиг пород. Медь буквально ушла под землю. Еще глубже ее закрыл толстый слой сдвинутых коренных пород. Сейчас мы имеем довольно ясную и точную картину этого. Так вот, дело идет никак не о меди. Вернее, никак не об одной только меди. Нет, дело идет о столкновении двух мировоззрений, двух взглядов на науку, успех, славу и свой долг перед человечеством. Кто вышел победителем? Тот, у кого сердце чище и выше! Что побеждено в этой схватке? Корысть, спекулятивное отношение к науке. Не удивляйтесь, Даурен Ержанович, и не спрашивайте меня, откуда я это взял, если до сих пор об этом вы не говорили ни слова. Две недели в Министерстве заседала комиссия, и предварительные итоги ее работы готовы. Доклад у меня в кармане. Все остальное займет некоторое время, но трудностей уже не представит. Теперь о вас, Нурке Ажимович. Вы сделали один неверный шаг — и видите, куда он вас привел. Нельзя, никак нельзя истины касаться грязными руками. Любую истину — научную, моральную, политическую, художественную — не взять грязными руками... А вы...

И тут Ажимов увидел, как Бекайдар опустил голову, стремясь спрятать раскаленное от стыда лицо, увидел потупленный взгляд Даурена, и поток небывалой ярости ослепил его. Он вскочил и закричал:

— Лжете! Лжете, уважаемый! И вы клеветник! Я знаю, кто вас послал сюда! Знаю, знаю, знаю!!! Все вы враги, завистники, подхалимы! Нет! Мое честное имя вам не запятнать! Не выйдет! Вот он истинный преступник, — он ткнул пальцем в Даурена. — Ну что ты притворялся овечкой, смиренник? Посмотри мне в глаза! Не отводи лица.

перебежчик! Уже к сыну моему подобрался! Вставай, вставай — нечего сидеть да помалкивать!

Даурен медленно поднялся, провел рукой по лицу, кашлянул, встал и спокойно пошел к Ажимову. Он шел медленно и твердо — не побледнел, не изменился в лице, прошел один ряд скамеек, остановился, пожевал губами, изумленно поглядел вокруг и вдруг пошатнулся, хотел схватиться за спинку скамейки, но рука соскользнула, и он рухнул плашмя на пол.

Когда к нему подбежали, глаза у него были закрыты, едва-едва угадывался пульс.

Он умер в больнице через два дня, не приходя в сознание. Над ним стояли Бекайдар, дочь, Хасен, тетя Маша, Жариков, старый счетовод. Он никого не видел и ничего не слышал. И люди плакали громко, не таясь, зная, что ничего до него уже не дойдет.

...Похоронили Даурена посередине поселка на самой большой сопке. Пока тут стоит только столбик с фамилией покойного и датами рождения и смерти. Через год, когда земля осядет, из Алма-Аты привезут обелиск из белого мрамора, и будет на нем написано:

**Даурену Ержанову,  
первооткрывателю Жаркынских месторождений, одному из создателей  
науки металлогении**

Весь поселок был на похоронах, только Ажимова не было. Хасен напрямик сказал комиссии по похоронам: «Если этот подлец явится, ждите скандала».

И вот Ажимов сидел один, ерошил волосы и все поглядывал и поглядывал на шкаф, где у него стояла бутылка коньяку. Но пить он не решался. Придут люди с кладбища, увидят его пьяного, подумают: запил с горя и унижения. Уж лучше было бы убежать, как Еламан, но он и на это, подумав, не решился, потому что, во-первых, куда бежать? А во-вторых, еще скажут: сбежал от позора.

К закату все прошли мимо его дома. Заплаканную, едва державшуюся на ногах Дамели поддерживали Бекайдар и Жариков. Хасен шел сзади. Он ни на кого не обращал внимания, шатался, бормотал что-то под нос, разводил руками. Был он страшный, почерневший, растрепанный, с красными слезящимися глазами: всю эту последнюю ночь он просидел у гроба, и теперь его шатало. Печальная процессия подходила к Красному уголку. Там был установлен поминальный стол и собрались все друзья покойного. И тут



вдруг все увидели, что Хасена нет. Все время шел впереди и вдруг пропал с глаз. И никто не заметил, как он направился к дому Ажимова.

...Они стояли в дверях и смотрели друг на друга, и Ажимов не мог отвести взгляда от этих страшных, мертвенно пустых и в то же время сверкающих глаз. От этих страдальчески запекшихся губ, от сильных хищных рук этих с длинными пальцами, по-наполеоновски сложенных на груди. Оба мучительно молчали. Наконец Ажимов выдохнул:

— Говори же!

И голос у него был страдальческий, сиплый.

Хасен шагнул вперед, взмахнул рукой, закусил губу.

— Я скажу...— начал он звонким от злости голосом,— я тебе скажу...

И замолчал, звучно дыша и раскачиваясь.

— Ну,— сказал Ажимов спокойно,— говори, я слушаю. Что ты мне можешь сказать такого, что я уже не сказал себе до тебя?

— Ты? — высокомерно удивился Хасен и даже поднял брови.— Ты что-то сумел сказать себе? Эх ты! — он презрительно махнул рукой.— Шел сюда, думал придушу тебя, как зайца, а увидел тебя...— он плюнул.— Вот и слов на тебя тратить не хочется! Живи, проклятый!

— Обожди,— вдруг сказал негромко Ажимов, когда Хасен был уже на пороге.— Пстой, я тебе говорю.— Ковыляя, он подошел к письменному столу и взял какую-то бумагу.— На! Возьми, покажешь там! Пусть все прочтут! Телеграмма из центральной лаборатории! Во всех образцах медь! И какая медь! Очень высокого содержания! Саятская степь полна меди! Даурен прав!

— Что? — вскрикнул Хасен и подбежал к нему.

— Возьми, возьми,— уже почти автоматически повторил Ажимов.— Медь! Всюду медь! Саят полон меди! Возьми! А я...

Он сунул телеграмму в руки Хасена и слепо пошел мимо него, из поселка, в степь, в сопки и дальше — в горы. Он двигался безмолвный, прямой, автоматически быстрый. И глядя на него, Хасен сказал:

— Тень! Как есть тень!

Так, с телеграммой в руке, сурового, строгого, его и нашли Жариков и Бекайдар. Он молча стоял и смстрел в ту сторону, куда надоело, а может быть, навсегда скрылся Нурке Ажимов.



Co.  
512

476 m. 00

